

Евгений Витковский

ГРАД

БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ

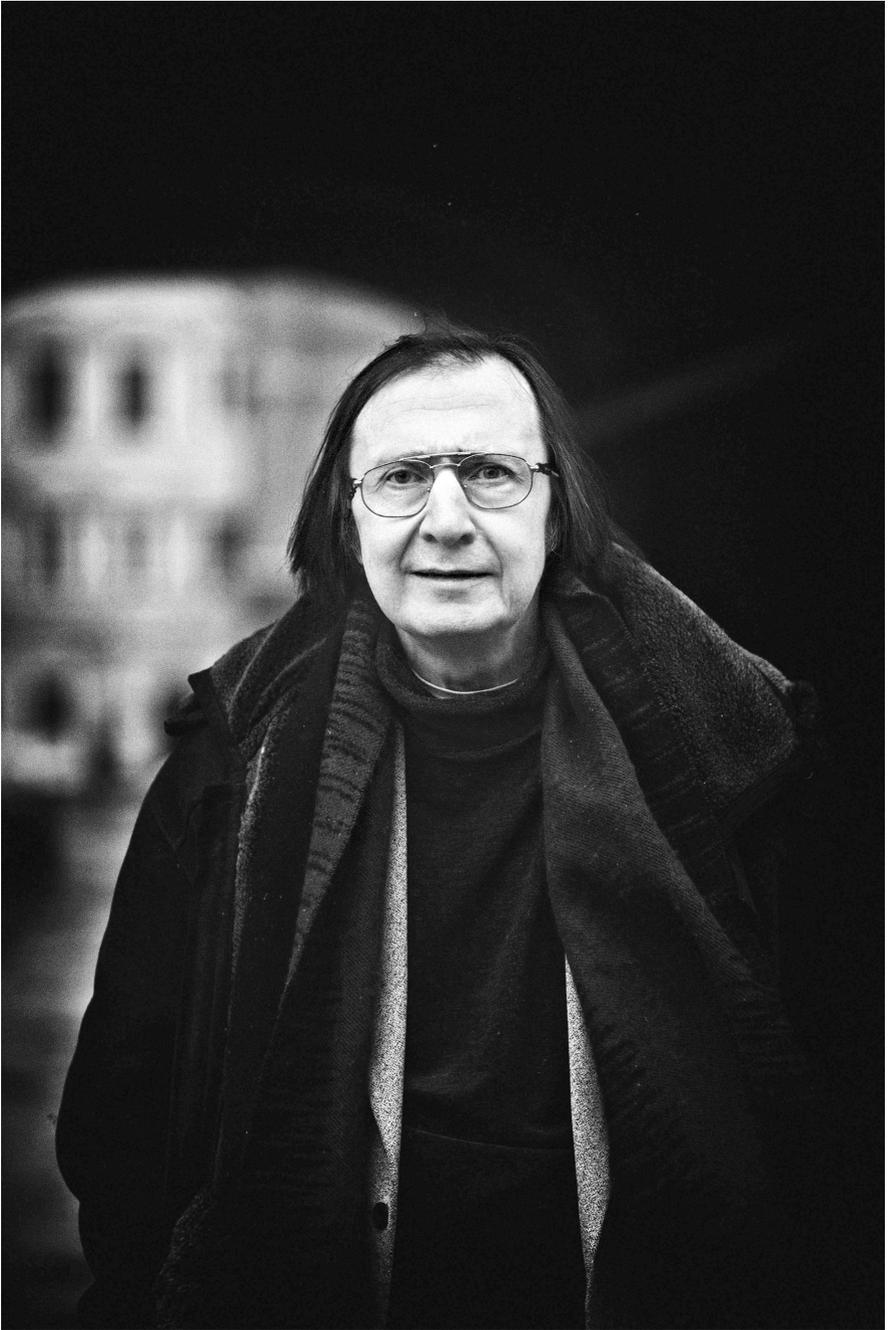
1500-2000

РОМАН В НОВЕЛЛАХ



ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ
ГРАД БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ
1500–2000
этический цикл





Евгений Витковский

ГРАД

БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ

1500-2000

ЭПИЧЕСКИЙ ЦИКЛ



**ВОДОЛЕЙ
МОСКВА
2018**

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
В54

Оформление *Марины и Леонида Орлушиных*

Витковский Е.В.

В54 Град безначальный. 1500–2000: Эпический цикл. – М.: Водолей, 2018. – 596 с.

ISBN 978–5–91763–431–9

До недавнего времени Евгений Витковский (р. 1950) был известен читателям почти исключительно как поэт-переводчик и писатель-фантаст. Лишь в 2016 вышел первый сборник его стихотворений «Сад Эрмитаж».

Новая книга – «Град безначальный» – эпический цикл, поэтический роман в новеллах, написанных в жанре баллады-биографии. 500 лет российской истории раскрываются на 600 страницах этой небывалой книги в 250 сюжетах – портретах, историях, зарисовках, событиях, запечатленных в редкостных, безупречных стихах. По широте исторического охвата, числу сюжетных и временных измерений («плоскостей» или «парусов», по выражению Хлебникова) книга Е. Витковского в сущности перерастает роман, обретая черты нового эпоса. Для его создания в полной мере оказалась задействована палитра возможностей автора – писателя, поэта, переводчика, искусствоведа и, наконец, просто знатока истории, мифологии, нравов старой Москвы, – настоящего «московского наблюдателя» – обитателя Садового кольца.

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

ISBN 978–5–91763–431–9

© Е. Витковский, 2018

© М. и Л. Орлушины, оформление, 2018

© Издательство «Водолей», оформление, 2018

УВЕРТЮРА

Неизвестное место, неясная дата,
непонятная личность без точных примет,
тот, которого все позабыли когда-то,
тот, о ком документов и сведений нет.

Тот, кто канул в былое и сгинул во мраке,
кто навеки ушел неизвестно куда,
тот, кто каждый обычно, но все же не всякий,
и который нигде не оставил следа.

Тот, чей облик исчез меж намеков туманных,
тот, кто в нетях пропал и утратил черты,
тот, о ком никаких не имеется данных,
с кем не стоит на вы и неловко на ты.

Тот, на коего даже не выдана квота,
тот, кого, как цунами, накрыли века,
и о ком нам сегодня известно всего-то
только то, что осталась его ДНК.

Тот заложный покойник, тот выморок лярвин,
тот в кипящую ночь наведенный мираж,
та нелепость, которую выдумал Дарвин,
но, однако же, предок, и вроде бы наш.

Кто сиротствует, право на имя утратив,
то ли выигрыш в кости иль просто в лото,
лишь один из пятнадцатияуродных братьев,
то ли даже и вовсе неведомо кто.

Кем ты все-таки был, неизвестный прапрадед?
С кем ты жил и кого повидал на веку?
Даже вечность с тобою, похоже, не сладит,
если я о тебе напишу хоть строку.

Нарекли тебя как-нибудь матушка с батей,
вот и жил ты, в безвестную даль уносим,
то ли Влас, то ли Гурий, а то и Кондратий,
то ли некий Потап, то ли некий Максим.

Родословных твоих за века не облазим,
да и надо ли рыться в твоей-то судьбе:
то ли сволочью был, то ли числился князем,
то ли то и другое мешалось в тебе?

Может, имени-отчества вовсе не дали,
чтоб не ведал про мать и забыл об отце?
Мы-то знаем, что все, что бывает вначале,
не всегда интересно тому, что в конце.

Монумент не всегда и не каждым заслужен,
где заслуга, что выпита чаша до дна?
Тот, кто вовсе никто, – поколеньям не нужен,
ну, а если хоть кто-то, – к чему имена?

Беспощадно звенит о монетку монетка.
Кто бессмертия просит, – едва ли умен,
и представить непросто далекого предка,
уносимого темной рекою времен.

ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ ВХОДИТ В РОССИЮ. ОММАЖ ИВАНУ ГОЛЛЮ.

Смиренно вверившись немилосердью Божью,
забыв, где параллель, а где меридиан,
в степи оголодав, идет по бездорожью
в бор обезлесевший царевич Иоанн.

Здесь небеса пусты, здесь пасмурно и сиро,
у воздуха с водой, да и с землей разброд.
И масло кончилось, и нет ни крошки сыра.
Царевич грустно ест без хлеба бутерброд.

Коль скоро цели нет, – не может быть азарта,
Коль все разрешено, – не отменить запрет.
А двести лет назад составленная карта
расскажет лишь о том, чего сегодня нет.

О странная страна, ты смотришься угрюмо:
Орел, где нет орлов, Бобров, где нет бобров,
Калач без калача с Изюмом без изюма,
Ершов, что без ершей, Ковров, что без ковров.

Одно отсутствие царит по всей округе,
сплошная видимость, встречаешь без конца
без шуки Щукино, Калугу без калуги,
Судак без судака, Елец, что без ельца.

И город Ракобор, не поборовший рака,
и Губино, село, стоящее без губ,
и древний Рыбинск, тот, где за рыбешку драка,
и дуба давший град, старинный Стародуб.

Без каши в Кашине тоска неисцелима,
без гуся в праздники грустит Хрустальный Гусь,
Воронеж без ворон, Налимск, что без налима:
Русь безначальная, таинственная Русь.

Разбились времена, и не собрать осколки,
и вечно большинство в полнейшем меньшинстве,
и грезит о своем давно сбежавшем волке
царевич без царя в усталой голове.

Нигде не зазвучит беззвучная музыка,
бесплотное зерно не переполнит кадь,
и сотня языков глаголет безъязыко,
что ничего тут нет, и нечего искать.

У края бедного кто знает, кем отъяты
освобожденные для пустошей места,
исчезли даже те святые пустосвяты,
которых создала святая пустота.

Приостановлен рост березок малорослых,
осины чахлые закутаны во тьму,
видать, ушел народ на бесконечный послух,
и некого спросить, – куда и почему.

И странно только то, что здесь ничто не странно,
что если волка нет, то ни к чему овца,
и некому венчать на царство Иоанна,
затем, что царства нет, а значит, и венца.

Фигуры смазаны, и позабыты лица,
осыпались холмы и выровнялся лог,
и все окончено, – лишь бесконечно длится
неслышный прошлого с грядущим диалог.

ПЕТР ФРЯЗИН.
СПАССКАЯ БАШНЯ. КОНЕЦ СВЕТА. 1492

Вольно истории переставлять фигурки!
Вольно считать людей за липких лягушат!
В Константинополе хозяйничают турки,
зато в Испании Гранаду потрошат.

Такой вот странный год: ужель Земля – сфероид?
Тому не верили, а вот выходит, – зря:
не ждали, что Колумб хоть что-нибудь откроет,
но ждали Страшный Суд к началу сентября.

Коль дикость на Москве, – возьми да одомашни.
Великие князья не сгубят твой талант,
Солари-Фрязинец, строитель Спасской башни,
выходит, что прочал тебя Медиолан.

Со скрипом движется безумная эпоха,
при Сфорцах город стал, что воровской притон.
Немало из того, что там лежало плохо,
в Московию с собой увез архитектор.

Испания – кипит и спереди и сзади,
евреев из страны старательно изгнав.
Любой еврейский нос еврею Торквемаде
нахально говорит: мол, ты не скандинав.

Уж лучше б взятки брал, чем вякать вероломно:
он в каждую башку забраться норовит.
Через Атлантику перебираться стремно,
зато к Пасифике стремится москвит.

И кряжистой Москва, да и куда курносей,
однако сплетнями язык не натруди.
Звездицы здесь кует и диски Амвросий,
такого мастера еще поди найди.

О Красной площади не стоит волноваться,
в срок не уложишься, так разве что побьют.
Пусть мастер изменил стране Джангалеаццо,
страна Василия ему дала приют.

Здесь лавр не вырастет, не даст плодов олива,
и ночи здесь длинны, и холодна земля:
увидеть потому, пожалуй, справедливо
недалний Страшный Суд во торжестве Кремля.

Да, смертный приговор положен за измену:
но исполнение, глядишь, перенесут:
посмотрят всадники с небес на Ойкумену
и на семь тысяч лет отложат Страшный Суд.

События 1492 года:

Колумб открыл Америку.

Год предполагаемого конца света, основанного на предсказании Византийской православной церкви, что «сей мир сотворён на 7000 лет».

Год окончания реконкисты, на Пиренейском полуострове занята последняя арабская крепость – Гранада.

Пьетро Антонио Солари (Пётр Антонин Фрязин) полностью достроил Спасскую башню Кремля.

КНЯЗЬ СЕМЕН КУРЬСКИЙ. ПУСТОЗЁРСК. 1499

Россию холодом пугать – что девку парнем!
...Река для воинства надежнее дорог.
Где место выбрано, – дымиться кашеварням
и спорым розмыслам сооружать острог.

Попробуй хоть на миг не думать о наказе,
но князю видится, что здесь, у озерца,
завяжется клубок величия и мрази,
тщеты и святости, начала и конца.

Однако что за прок загадывать загадки?
Москве ни до чего печали никакой:
ей важно, что песец и соболь тут в достатке,
власатый элѣфант и бегемот морской.

Умолкли топоры, все, стало быть, готово,
не важно – сколько рук, а важно мастерство.
Внушительен острог у озера Пустого:
уж выберет Москва, – зачем и для чего.

В резонах княжеских не разберешься толком,
клепай, что говорят, на все один ответ, –
столицей сделают, объявят ли поселком,
но город выстоит четыре сотни лет.

Отсюда полетит великая крамола,
что писано пером, – то прогремит, как гром.
Однако ж и страна! Еще и нет раскола,
но тень грядущая маячит над костром.

Ну ладно, в будущем не смыслим ни бельмеса.
Что мы построили? Больницу ли, тюрьму?
А глянуть в прошлое, – там черная завеса,
и глупо пялиться в дымящуюся тьму.

Потеря имени – печальная утрата,
и, сколько почестей и лавров ни стяжай,
прославишься не ты, а внук родного брата,
известный князь Андрей, сваливший за Можай.

Острог среди снегов стоит холодной стенью, –
хоть ужас будущий родиться не готов,
но край приговорен к святому запустению
в высоких пламенах сгорающих скитов.

Одни лишь звезды здесь, и нет другого света,
Печора вечности меж пальцами течет;
и слышен тихий треск, и каждый знает: это
Господня лестовка заканчивает счет.

ХОЗЯ КОКОС. ДИПЛОМАТ. 1501

Задом по судьбе не проелозя,
не отыщешь в оной перекося.
В Кафе жил благорассудный Хозя,
дипломат по прозвищу Кокос.

В этом факте – никаких диковин,
никаких невероятных благ.
То ли персонаж наш был жидовин,
то ли караим, не то крымчак.

Над Бахчисараем гордо взреяв,
в непоспешной череде годов
славилась династия Гиреев
тем, что опиралась на жидов.

Хозя был не то чтобы проныра,
но его татарские хрычи
знали от Бельбека до Салгира
и от Тарханкута до Керчи.

В династическом бреду плутая,
не желая помереть никак,
все вокруг ордушка Золотая
превратила в форменный бардак.

Пребывала публика в тревоге,
о пощаде Господа моля
от феодосийской синагоги
до соборов древнего Кремля.

Даже и престол со страху бросив,
хан обязан соблюсти закон.
Хозя был, понятно, не Иосиф,
но и хан – отнюдь не фараон.

Кто тут патриот и кто изменник?
Кто тут первым будет, кто вторым?
При посредстве венецийских денег
Пригласить Москву придется в Крым.

Хан в Бахчисарае независим,
но в Москву, коль ты в своем уме,
не пиши древнееврейских писем,
в этих буквах там ни бе ни ме.

Впрочем, дипломат не унывает,
он сумеет не попасть в полон.
На него всемерно уповает
город Кафа, новый Вавилон.

Взятку не давай, руки не вымыв,
и могилу никому не рой:
на жидов и прочих караимов
не попрется Баязет Второй.

И менять не стоит хрен на редьку,
ставить лыко всякое в строку:
ну и спас ты Курицына Федьку,
ну и чем поможешь дураку?

То, что жулик ты, – известно точно,
воробей, а все-таки орел!
Чудо дипломатии челночной
уж не ты ли, Хозя, изобрел?

Хан и князь доделали работу,
через очень краткие года
превратилась в золотую роту
Золотая древняя орда.

Что там прежде, нынче или после?
Кто герой, кого попрут взашей?
И благословляет не Кокос ли
каждого из крымских торгашей?

Ни мацы, ни манны, ни амброзий
не найдешь, кусая чебурек,
и печально, что с разумным Хозей
расплевались московит и грек.

Вечность о престиже не хлопочет
и не поспешает никуда,
потому как Крым и знать не хочет,
кто на нем пасет свои стада.

ИВАН ТЕЛЕПНЕВ-ОВЧИНА-ОБОЛЕНСКИЙ. ОТЕЦ ВЕРОЯТНЫЙ. 1539

Не помнит чина русская пучина.
Россию очень трудно удивить;
ты истинный мужчина, князь Овчина,
за то тебя и надо отравить.

Ты хай теперь не затевай вселенский!
Ты попросту попался, как болван,
князь Телепнев-Овчина-Оболенский
с простым еврейским именем Иван.

И повара страшишь, и хлебореза,
и это хуже встречи с палачом:
сиди теперь, закованный в железа,
и жди отравы неизвестно в чем.

О том обычно говорить неловко,
по-своему любой мужчина слаб:
зачем тебе прекрасная литовка, –
иль мало на Руси цветущих баб?

Цветут они в России повсеместно,
в которую ни загляни дыру.
Понятно, переспать с царицей лестно, –
а ну как не проснешься поутру?

Иль совладать не смог с мужскою сутью?
Как раз об этом лучше не брешу.
Царица в бане надышалась ртутью,
а ты теперь хоть вовсе не дыши.

Об этом неприятно думать на ночь,
но говорит народное чутье,
что сын есть у тебя – Иван Иваныч,
а что Иван Васильевич, – вранье.

На свете есть ли большая отрада,
чем слушать «Со святыми упокой»?
Россия знает только смерть от яда,
и более не знает никакой.

Из муромцев, козельцев, ярославлян
за все века никто не дал ответ:
хоть кто-то хоть когда-то не отравлен, –
а просто умер в девяносто лет?

Сидят на ядах ангелы и черти,
отравлены ерши и караси,
и только вариант голодной смерти
от яда избавляет на Руси.

Не утолится голод людоедский,
и вышивки не хватит в кабаке,
а гибель ваша – просто праздник детский,
в сравненьи с тем, что будет при сынке.

Фаворит Елены Глинской, второй жены великого князя Василия III, матери будущего Ивана Грозного. Под конец ее правления был главным советником правительницы. В 1538 правительница скорпостижно умерла, как выяснено уже в наше время, – от отравления ртутью. На седьмой день после её смерти были схвачены Иван Телепнев-Овчина-Оболенский и сестра его Аграфена. Овчина-Телепнев-Оболенский умер в заключении от недостатка пищи и тяжести оков. Предположительно князь являлся отцом будущего царя Ивана IV.

КНЯЗЬ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ШУЙСКИЙ. ЧЕСТОКОЛ. СКЛОЧНИК. 1543

Чванство в России – великая сила,
если держаться своей конуры.
Что же за муха тебя укусила,
нешто Литва безопасней Угры?

Ни от кого не укроешь измены,
нечего плакать, скулить и страшать;
зря полагаешь ты, что у Елены
есть настроенье кого-то прощать.

Ты ль не знаток политических ягод,
ты ль не игрок, и не ты ль потому
славой взлетал то на месяц, то на год
и регулярно садился в тюрьму.

Льком тиуны царицы не шиты,
с Глинской не справишься, как ни хитри.
Сколько в Литву втихаря ни спеши ты,
но посиди-ка ты годика три.

Налиты злобой, потянутся тяжело
годы в темнице впустую, зазря;
сдохнет царица, а следом Ивашка,
но не учтешь ты мальчишку царя.

Каждый торгуется, каждый шпионит,
мелким изветом Москву забомбя.
Псков голосит или Новгород стонет, –
всякий копает, милок, под тебя.

Все, что найдешь, волокни в теремочек,
с грохотом сталкивай лбы воевод,
думай, что царь – безобидный щеночек,
только царю-то – тринадцатый год.

К трону почти, ну почти подползая,
веруй, что долгой окажется жисть, –
но изготовилось свора борзая,
чтобы тебя по команде загрызть.

Пламя никак не удержишь в щепотях,
злобу цареву – поди усмири,
будешь валяться в кремлевских воротех,
взяша тебя и убиша псари.

Степь ледяная окрасилась в сурик,
черная кровь закипела в котле, –
княжит Иван или царствует Рюрик, –
бедной давно безразлично земле.

Сон прибывает, пурга завывает,
век наступающий гол как сокол, –
и еженощно палач забивает
в гроб Честокола осиновый кол.

Дед царя Василия Шуйского. Дважды вместе с братом Иваном намеревался сделать карьеру («отъехать») у князя Юрия Дмитровского.. По приказу Елены Глинской в 1534 году брошен в тюрьму и освобождён лишь после её смерти. Наместник Новгорода, позднее Пскова. Вернувшись в Москву, возглавил борьбу за влияние при дворе. После смерти и убийства Ивана Бельского встал во главе боярского правительства в мае 1542 года. Принято считать, что «потакал всем низменным страстям Иоанна». В сентябре следующего года Андрей Шуйский и его единомышленники на глазах 13-летнего великого князя Ивана Васильевича избили боярина Федора Воронцова. 29.12.1543 Иоанн Васильевич собрал бояр и объявил им о хищениях и «неправдах», творимых Шуйскими, но заявил, что казнит только одного князя Андрея, которого приказал схватить псарям, и собаки растерзали его.

ПРОТОПОП СИЛЬВЕСТР. ДОМОСТРОЙ. 1560

Лапшу и котлому готовит Домострой,
ориентируясь на правила реестра,
расписывает пост и ладит пир горой
возвышенная мысль священника Сильвестра.

При этом знать дает, сколь бесполезна дурь,
что тело требует, а что угодно Богу,
народу черному твердит рецепты тюрь
и собирать велит крапиву на вологу.

Хоть древен сей закон, зато для всех людей,
в нем важно правило, заметим мимоходом,
на стол бы меньше двух не ставить лебедей,
и по два сухаря оставить нищевродам.

Священник списком яств потомству насолил,
чревоугодия не ведавший по жизни,
при том что в мясоед зело благоволил
к юрме и стерляди, мозгам и головизне.

Он лишь предписывал заботу и уход,
чтоб не пустела клеть, и наполнялся улей,
чтоб сад плодоносил, сверкая, что ни год,
можайским яблоком и драгоценной дулей.

Ничто не кончилось, – не кончится и впредь,
подумай, рассуди в терпении смиренном:
удержат на плаву, дадут не помереть
капуста, огурцы, горох и редька с хреном.

Да хрена ли роптать? Смотри, дружок, не спать,
что пост, что мясоед, – и то, и то неплохо.
Там, где растет горох, – он вырастет опять,
так в мире повелось со дней царя Гороха.

«Домострой», насколько можно понять, единоличным творением протопопа Сильвестра не является. Однако по меньшей мере одну версию, дополненную знаменитой 64-й главой, он определенно редактировал. Об этой главе – «Письме сыну Анфиму» – следующее стихотворение.

НАСТАВЛЕНИЕ АНФИМУ.

1565

Павлину, журавлю, птенцу струфокамила
дано бокалом плыть на царское застолье.
Давно доказано: что дорого, то мило,
а что наоборот, – доказано тем боле.

Анфим, утешься ты простым грибом вареным,
лебяжье крылышко обгладывай в сторонке,
и к родичам не лезь волчищем разъяренным
за то, что в прошлый пир пропали две солонки.

Коль отобедали, Анфим, избу проветри,
гостей не уличай во многих злополучьях,
зане обожрались любители осетрий
в шафранном соусе, а также ксеней щучьих.

В людскую отошли богату кулебяку,
содей трапéзу там и радостну, и сочну,
а восходить к жене в ночь можешь не во всяку,
лишь в понедельникну, равно и в четверточну.

Поварню соблюдай во неизменном благе,
не то содеются в единый день поганы
братины, мерники, чумички и корчаги,
корцы, ставцы, ковши, извары и кумганы.

Коль нечто укупил, то в торге будь смиренек,
и с лютым должником не обращайся злостно,
но привечай его и дожидайся денег,
как светлых праздников мы ждем великопостно.

Но ежели, Анфим, ты не мудрее бревен,
и разорить себя позволишь, как разиную, –
то, значит, грешен ты, и потому виновен.
А дальше думай *сам*; я ж ныне зааминю.

КАРСТЕН РОДЕ. ГОСУДАРЕВ ПИРАТ. 1570

Пируэт, кувырок, и опять пируэт,
и умение шарить в чужом огороде.
Двадцать два корабля и полгода побед, –
вот и все достижения Карстена Роде.

Торговал он когда-то, отнюдь не скучал,
но торговец грабителю польскому лаком.
На поляков датчанин весьма осерчал
и решил отомстить неразумным полякам.

И к чему бы такой затевать маскарад?
Заявился в Россию вполне самозванно
этот склонный к легальной работе пират,
этот личный пират государя Ивана.

Для пирата удача – балтийский туман,
в этой мути таится немало навару.
В слободе Александровской царский фирман
без особых стараний достался корсару.

Глянь: купецкие флаги в полоску и вкрапь,
и в квадратики, и в разноцветные пятна.
Всех поляков, которых изловишь, ограбь,
ну, и шведов не менее грабить, приятно.

Не настолько-то стал он в веках знаменит,
не настолько по темным легендам задержан,
чем какой-нибудь Дрейк и какой-нибудь Кидд,
чем какой-нибудь Флинт и какой-нибудь Морган.

Раньше времени все же, пират, не ликуй,
государь ожидает плодов поединка.
Для Балтийского моря негоден ушкой,
но как раз подойдет трехмачтовая пинка.

Поднимай паруса и орудий веслом!
И норд-осты помогут тебе, и зюйд-весты.
Изумрудный штандарт с двоеглавым орлом
заплескался на мачте «Веселой невесты».

Благородное дело во славу царя,
скажем так – дипломатия без диалога.
От начала весны до конца октября
двадцать два корабля – это все-таки много.

С Копенгагеном все же тягаться не след,
на суде хоть молчи, хоть дойди ты до крика.
Ты выкладывай выкуп, московский сосед, –
так решил окончательный суд Фредерика.

Только царь не предвидел подобных затрат,
да и вовсе затрат не любя некоторых,
так что сам виноват, что попался, пират,
так сиди при заветных своих луидорах.

Вот и плаванья более нет кораблю,
сгинул капер, к свободе уже не готовясь.
Царь еще предлагал отступных королю,
только тут обрывается грустная повесть.

На ветшающих ряях стоят мертвецы,
облекается в темень Балтийское море,
и в легенду уходят корсары-купцы,
а не только могильщик и принц в Эльсноре.

ГЕНРИХ ШТАДЕН. ОПРИЧНИК. 1572

Императору в Прагу, секретно и лично.
Пресветлейший венгерский и чешский король!
Много лет я сражался за войско опрично
и теперь отчитаться об этом позволю.

Но прошу мою просьбу не счесть за причуду,
о письме не рассказывать впредь никогда:
у великого князя шпионы повсюду,
коль прочтут они это, случится беда.

Я проник в государство, покрытое мраком,
основательно рылся по всем тайникам.
Чем отдать этот край мусульманским собакам,
так уж лучше прибрать его к нашим рукам.

На страну эту выдвинуть войско непросто,
ибо здешние очень коварны места:
хоть живет москвит, как собака бесхвоста, –
но для драки ему и не нужно хвоста.

Нужно двести баркасов и двести орудий,
и еще десять тысяч по десять солдат, –
и сдадутся немедленно здешние люди,
и Европу немедля возблагодарят.

Состраданье сколь можно подальше спрятав,
надо твердо идти на Москву напрямки,
там казнить и князей, и других аманатов
и развесить на сучьях вдоль Волги-реки.

В отдаленную местность покуда не лазя,
не идти на Казань, не соваться в Сибирь;
но поспешно, поймавши великого князя,
сделать графом и сразу спихнуть в монастырь.

...Здесь ученость подобна бесплодной пустыне,
здесь не читан ни Ветхий, ни Новый завет;
здесь не знают по-гречески, ни по-латыни,
по-еврейски и вовсе понятия нет.

Я описывать жуликов здешних не стану,
каждый мытарь чинит превеликий разор,
но никто не противится князю Ивану
от которого Курбский свалил за бугор.

Чуть не так – под секиру главу ты положишь,
право древнее в этой стране таково:
если грабить не хочешь ты или не можешь,
то убьют и ограбят тебя самого.

Право, в мире земли не сыскать непотребней,
пребывает в великой печали страна;
здесь пусты погреба, и поварни, и хлебни,
ибо в них не везут ни вина, ни зерна.

Слишком много здесь рабской и подлой породы,
но как только повергнем сей тягостный гнет,
богомерзкую схизму в короткие годы
европейская вера за пояс заткнет.

Чтоб Европе не ведать великого срама,
я советником быть добровольно берусь,
и покуда никто здесь не принял ислама,
надо срочно спасти эту бедную Русь.

Император, ты знаешь, сколь благостны войны!
Припадает к стопам твоим в горькой тоске
прозябающий в бедности аз недостойный.
Дальше подпись, число и сургуч на шнурке.

В письме от 1579 года бывший опричник Генрих Штаден предложил императору Рудольфу II «План обращения Московии в имперскую провинцию», прибавив сведения о стране и ее правлении и свою биографию, обмолвившись в ней

о том, что «за получение от меня такого описания король польский очень много дал бы мне, когда я был послан в Польшу», умолчав при этом о том, что этот план захвата Московии он разработал вначале для немецкого пфальцграфа Георга Ганса и обсуждал его с ним. В автобиографии, посланной императору, Генрих Штаден прямодушно рассказывает, какой он удачливый мальчик, как он, сумел обвести вокруг пальца своих друзей и противников и каким будет императору бесценным советником по вопросам будущей провинции Московии.

МИХАИЛ ВОРОТЫНСКИЙ. ВЗЯТИЕ КАЗАНИ. СПАСЕНИЕ МОСКВЫ. 1573

Не особенно юн, не особенно стар,
не умелец кропать мемуары,
не любил Михаил Воротынский татар,
и его не любили татары.

От лихих басурман защищая Москву
матюгов на врагов понабуркав,
неизменно любил заносить булаву
на татар, на ногаев, на турков.

Был в бою воевода отнюдь не бахвал,
но, врагов замотав и замаяв,
постоянно с охотой большой убивал
всяких турков, татар и ногаев.

Воевода был прям в выраженьях и груб,
никогда не искал компромиссов,
да к тому же держал выдающийся зуб
на монголов и на черемисов.

...То ли старый Сахиб, то ли юный Девлет
был раздолбан в бою бестолковом.
Тут за ним Воротынский помчался вослед, –
и на поле догнал Куликовым.

Десять лет для России со скрипом прошло,
и для прочих прошло как в тумане.
Князь подумал-подумал, вздохнул тяжело
и явился под стены Казани.

К многодневной осаде готовился князь,
тут явились послы от чувашей,
и, за быстрой победой отнюдь не гонясь,
он чувашей не вытолкал взащей.

Но, поскольку властитель казанских судеб
не хотел уступить полюбовно,
воевода содеялся очень свиреп
и Казань раздербанил на бревна.

Только сила возрастала в Крыму у врага,
о казанских радевшего братьях.
У татар оказались большие рога,
и пришлось очень долго ломать их.

Все по кругу пошло через несколько лет,
засверкало татарское жало:
под Москвой появился кровавый Девлет
и прибрал все, что плохо лежало.

Ты унялся бы, хан, коль тебе повезло.
Быть тебе, негодяй, бездыханну!
Воротынский на хана взъярился зело
и устроил мочилово хану.

Надоел Воротынскому Крым, как комар,
князь как следует всыпал Девлету,
для Девлета Москва превратилась в кошмар,
а Девлет – превратился в котлету.

..Все по морде получишь, куда ни ударь,
вдруг последние силы пропали.
Долго бороду князя терзал государь:
Михаил оказался в опале.

Не откинешь державного гнева покров,
даже сердце владыки растрогав,
не пройдешь между двух исполинских костров
и не выдержишь черных ожогов.

Вот и кончено всё. Ни рыданий, ни слез.
Стихнул ветер и небо беззвездно.
Так всегда: начинается все не всерьез,
а кончается очень серьезно.

**ЯКОБ УЛЬФЕЛЬДТ.
ГОРЕ-ДИПЛОМАТ. 1578**

Ну и холод же в этой стране окаянский!
Европейцу такое – ложись-помирай!
Мы, похоже, прогневали Хольгера Данске,
что притопали в сей отмороженный край.

Здешний царь – это очень серьезная птица,
мы намучились только и ездили зря:
с нами землями Русь не желает делиться,
все забрали себе воеводы царя.

Никого не женив, никого не просватав,
уезжаем, за это себя не казня,
но уж если не слушают здесь дипломатов,
то придется Европе послушать меня.

Здесь ничто завершиться не может удачей,
здесь послов и торговцев берут на измор,
а когда говорить начинает подьячий, –
то похож на шипенье его разговор.

Подменяют крещение потением банным,
и в обычае здешнем, того не таю,
расписным поклоняться ужасным чурбанам
и считать христианством неправду свою.

Тут нельзя продохнуть от чесночного смрада,
россиянину всякая дрянь хороша,
и душе его истины вовсе не надо,
потому как заполнена ложью душа,

Тут царю ни к чему ни жена, ни царевна,
перед ним вся держава повержена ниц;
здесь ликует народ, ибо царь ежедневно
по традиции портит по сорок девиц.

Да, Россия Европой изучена худо;
без письма моего не проведали бы,
что народ там не пашет, не доит верблюда,
но столетьями сушит и солит грибы.

Стерлядь – лучшая рыба, но прочих дороже;
на пирах там огромных едят осетров,
красноперку и всякое прочее тоже,
только в нашу-то честь не давали пиров.

Там бывает порой, что трясешься со страха,
кабана повстречав или дикого пса;
говорят, что в лесах там живет россомаха,
потому не ходили мы в эти леса.

Там различные водки наместо обедов;
на закуску морковь да капусты кочан.
Убивают в России всех более – шведов,
но, когда подвернутся, то бьют и датчан.

Я завидовать каждому стал домоседу,
повидав этот край нескончаемых бед:
я за званье барона туда не поеду,
и за графское тоже, наверное, нет.

Словом, как ни старались, – пришлось отступиться.
Царь не хочет добром уступить города.
Ну, а ежели он вот такой вот тупица,
так зачем было даже кататься сюда?

Якоб Ульфельд – датский государственный советник, посетивший Россию в 1578 году во главе посольства, целью которого было возобновление русско-датского договора. Для Ульфельда эта поездка была крайне неудачна. Мало того, что во время пребывания в Московии он чувствовал себя больше пленником царя, чем его гостем, Фредерик II отказался ратифицировать обновленный договор, в результате чего все усилия послов оказались напрасны.

ЭЛИЗЕУС БОМЕЛИЙ. ЖЕРТВА ИСКУССТВА. 1579

Отнюдь не знахарю, что хочет только денег,
не лекарю, что мнит бесценным опыт свой,
я посвящаю жизнь: порукой в том дербенник,
поименованный людьми плакун-травой.

Болезней имена – как жернова для слуха,
как старые глаза, они слезоточат:
чудовищен столбняк и тяжела желтуха,
и чуть не хуже всех – мучительный камчат.

Расперстица, рватва, надута в сердце жаба,
иные признаки болячек и туги:
заушница, окорм, водянка и расслаба,
нутрец, падучая и тяжкий дух цинги.

Весь обратись во слух, гляди пристрастно в оба,
свои познания как бы смешай в горсти:
на все отыщется лекарство и лечоба,
коль не поленишься аптеку запасти.

Запомни список трав отнюдь не для забавы,
напротив, следуя науке непростой,
ты сыщешь для всего целительные травы,
на коих сделаешь декокт, или настой.

Полны что лес, что луг разнообразных зелий,
следи, чтоб твой больной от должного вкусил:
корень марьино толки с молитвой велей,
булгасову траву, осот и девясил.

Забудь потворствовать солдатам и купчинам,
к которым близок тать, крадущийся в ночи,
их помещай в катух над паром чепучинным
и жаркой банею томящихся лечи.

Ползучей немочи отнюдь не будь потатчик,
горчичники лепить не почитай за труд:
не смей пренебрегать взрезанием болячек,
кровобросанием и алчностью гируд.

Но только помни – смерть, она с тобою рядом,
царь нынче, что ни день, заказывает яд;
и тут уж все равно, – кого ты травишь ядом,
иль сам готов принять, иль принял час назад.

Царь гостогонствует, и он не чужд веселий,
задуть любую жизнь он волен как свечу,
а виноват ли тот Элизеус Бомелий,
то вовсе не врачу решать, а палачу.

В том сумрачном краю, где властвует кося, где
память брошена в темницу тишины,
слова, лишь изредка печально воскресая,
спать в подземелиях веков обречены.

Заботиться ль о том, чтоб вовсе не истлели?
Кому они нужны? царю? – и то навряд.
Уйдет в небытие, что было в самом деле,
останется лишь то, что люди сочинят.

Последней милостью судьба не осенила,
единой глоткою ревет народ как зверь,
и все дописано, и высохли чернила,
и обух бердыша высаживает дверь.

Есть серьезные основания предполагать, что личный врач Иоанна Грозного Элизеус Бомелий был оклеветан, ибо стал жертвой своего же ремесла: «Злобный клеветник Бомелий составлял губительное зелье с таким адским искусством, что отравляемый издыхал в назначенную тираном минуту» (Карамзин) – чем он, несомненно, занимался по приказу царя. За год до смерти царь, справедливо полагавший, что лекарь знает слишком много, приказал зажарить его живьем.

ДЖЕРОМ ГОРСЕЙ. ЯХОНТЫ РУССКОГО ЦАРЯ. 1584

Эфиопский владыка, зовущийся негус,
или кесарь российский, известный тиран,
одинокой дорогой на ветхих *tilegos*
удаляются в темень, в туман и буран.

В мемуарах ревниво хранятся улики:
в томе лжи есть и правды хоть несколько слов.
Царь московский и прочий, *соуколд char' veliki*,
у себя принимает английских послов.

К нраву царскому с явным усиьем прилаяться,
даже малый поклон почитая за труд,
за тяжелую дверь в государеву кладезь
два Джерома без лодки неспешно плывут.

Царь плывет впереди, сразу следом – *charowich*,
богомolec, наследник царева жезла;
допускать ли бояр к созерцанью сокровищ,
царь не знает, – однако допустит посла.

Может, старость, а может, и просто чахотка
разморила царя, и блюдет караул,
чтобы слуги его аккуратно и кротко
опустили теперь возле ряда шкатул.

Пусть Европа ответит на эдакий вызов,
всё расскажут послы, как вернутся назад;
ухмыляется деспот над горстью туркизов,
между пальцев держа дорогой заберзат.

Что ни камень, то слюнки восторженных судий,
царь не зря попирает наследственный трон.
Сундуками – тумпаз, августит и нефрудий,
антавент, и белир, и прозрачный тиран.

Здесь не властен ни сглаз колдуна-домочадца,
ни возможность подохнуть в угаре хмельном,
только здесь и решается царь утешаться
корольком, калайгом, бурмицким зерном.

И хорошего вам, господа, понемножку,
полагается помнить про здешний устав.
Царь, ни слова не бросив послам на дорожку,
pochivated желает, смертельно устав.

За серебряный рубль расплатиться полушкой, –
такое любому в Москве по уму.
Говорят, что царя удушили подушкой,
только это неважно уже никому.

Век уходит за веком, сомнения сея,
сколько было их в мире, так все и прошли.
Огорченно твердят мемуары Горсея
про великую славу русской земли.

Не крестись, если в доме не видишь иконы,
о величии собственном лучше не лги:
кто в Москве побывал, тот запомнил законы
подступившей к границам Европы тайги.

Это ж надо, – дожить до подобной години,
чтобы ездить впустую за десять земель?
Много ль толку рассматривать тут альмандины,
если их убирают обратно в кошель?

Не желает страна затевать лотереи,
и не ждет дорогих из Европы гостей.
Лучше дома сидеть, чем смотреть на трофеи,
что нахально плывут из английских сетей.

Накануне своей смерти Иван Грозный пригласил английских послов Джерома Бауска и Джерома Гордея в свою сокровищницу, о чем Горстей оставил подробные воспоминания.

«...Каждый день царя выносили в его сокровищницу. Однажды царевич сделал мне знак следовать туда же. Я стоял среди других придворных и слышал, как он рассказывал о некоторых драгоценных камнях, описывая стоявшим вокруг него царевичу и боярам достоинства таких-то и таких-то камней. <...> «Магнит, как вы все знаете, имеет великое свойство, без которого нельзя плавать по морям, окружающим землю» <...> Он приказал слугам принести цепочку булавок и, притрагиваясь к ним магнитом, подвесил их одну на другую. «Вот прекрасный коралл и прекрасная бирюза, которые вы видите, возьмите их в руку, их природный цвет ярок; а теперь положите их на мою руку. Я отравлен болезнью, вы видите, они показывают свое свойство изменением цвета из чистого в тусклый, они предсказывают мою смерть. Принесите мой царский жезл, сделанный из рога единорога, с великолепными алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями. <...> Найдите мне несколько пауков». Он приказал своему лекарю <...> обвести на столе круг; пуская в этот круг пауков, он видел, как некоторые из них убежали, другие подыхали. «Слишком поздно, он не уберезет теперь меня. Взгляните на эти драгоценные камни. Этот алмаз – самый дорогой из всех и редкостный по происхождению. Я никогда не пленялся им, он укрощает гнев и сластолюбие и сохраняет воздержание и целомудрие; маленькая его частица, стертая в порошок, может отравить в питье не только человека, но даже лошадь». Затем он указал на рубин. «О! Этот наиболее пригоден для сердца, мозга, силы и памяти человека, очищает сгущенную и испорченную кровь». Затем он указал на изумруд. «Этот произошел от радуги, он враг нечистоты. Испытайте его; если мужчина и женщина соединены вождедением, то он растрескается. Я особенно люблю сапфир, он сохраняет и усиливает мужество, веселит сердце, приятен всем жизненным чувствам, полезен в высшей степени для глаз, очищает их, удаляет приливы крови к ним, укрепляет мускулы и нервы». Затем он взял оникс в руку.

«Все эти камни – чудесные дары Божьи, они таинственны по происхождению, но однако раскрываются для того, чтоб человек ими пользовался и созерцал; они друзья красоты и добродетели и враги порока. Мне плохо, унесите меня отсюда до другого раза».

Далее Горстей пишет о смерти царя: «...Он был удушен и окоченел». Видимо, Горстей оказался последним иностранцем, который видел Ивана Грозного.

ДЖАЙЛС ФЛЕТЧЕР.
ПОЭТ ОБИЖЕННЫЙ, 1588

Все никак не развалится эта страна,
непонятная сила у здешних молений.
Европейскому взору с границы видна
беспроторица нищих российских селений.

Что ни шаг – то погост, за погостом – шинок,
весь народ состоит из одних голодранцев,
да к тому же любой обожает чеснок, –
в этом смысле они даже хуже голландцев.

Царь не ведает вовсе державственных бразд,
ибо робок и, видимо, разумом скуден,
но при этом сожрать за обедом горазд
горы грубой еды из немых посудин.

Как нажрется, уходит поспать на печи,
гости громко храпят, ну, а слуги притихнут.
Смотрят сны среди белого дня москвичи,
воеводы, конюшие, нищие дрыхнут.

Колгота потасовок, трактирная грязь,
ничего я на свете не видел отвратней, –
в драку рвется холоп, а, бывает, и князь,
поневоле пред этим застынешь в замятне.

Бородат и пузат каждый русский мужик;
превращается в пьянку любое застолье,
носит каждая баба нестираный шлык,
молью трачены грязные шубы собольи.

Одеянья у русских отвратно просты –
армяки, зипуны, кебеняки, тулупы,
емурлуки, котыги, срачицы, порты,
однорядки, охабни, кафтаны и юпы.

И посуда у варваров тоже своя:
чарка, чашка и тысячи всяческих скляниц;
полумисье, братина, горшок сулея,
воронок, ендова, мушерма, достоканец.

Пекаря выпекают, искусством гордясь,
много гадостей сунув в начинку для смаку,
курник, луковник, сочень, бараний карась,
каравай, перепечу, калач, кулебяку.

Эти факты увидеть возможность дают,
сколь огромна жестокость и мерзость повсюду,
а про здешний содомский разнузданный блуд
я рассказывать лучше и вовсе не буду.

Оправдания не вижу малейшего я
порожденьям болотного дыма и смрада.
Приобрести уваженье лихого ворья
невозможно, так вот и стараться не надо.

Вожделениям гнусным отдавшись во власть,
смотрит Русь на Европу, шипя ядовито;
лучше с камнем на шее в колодец упасть,
чем увидеть в Париже сапог московита.

Я не в силах поверить письму своему,
но, однако, надеяться все-таки вправе,
что растает в грядущем и канет во тьму
даже память об этой ужасной державе.

Поэт и дипломат. В 1588 году был послан в Москву для поддержания перед русским правительством ходатайства Англо-Московской компании о монополии на торговлю с северно-русскими портами. Посольство Флетчера не было удачно. На первой аудиенции у царя Флетчер вступил в пререкания о царском титуле, не пожелав прочесть его целиком. Подарки, присланные с Флетчером от королевы Елизаветы царю Федору Иоанновичу и Борису Годунову, были найдены неудовлетворительными. Флетчера приняли сухо и не пригласили его к царскому столу. В даровании компании монополии Флетчеру было отказано; у компании было отнято право беспошлинной торговли в пределах России. В 1591 году издал сочинение о России, а затем сочинение о татарах.

КНЯЗЬ АФАНАСИЙ НАГОЙ. ДЕД ЛЖЕДВОЮРОДНЫЙ. 1591

Ну что, опять переходить на мат?
Не зря потомки, видимо, сердиты:
он был всего лишь скромный дипломат
с фамилией в манере Афродиты.

Без лести предан, на расправу быстр,
когда угробить повелят смутьяна:
такой вот замечательный министр,
при Грозном – нечто вроде Микояна.

Шесть лет он, как погонщик при осле,
торчал в послах при хане грубоватом,
и потому в тюрьме, в Мангуп-Кале,
он очутился в шестьдесят девятом.

Послу на киче припухать – беда!
Любой из ханов хочет слопать братца.
Идет в Бахчисарае чехарда,
в которой нынче нам не разобраться.

Плевать бы на подобную бузу,
но все-таки удачи не просцыте:
и поменяли князя на мурзу, –
они в Москве отнюдь не в дефиците.

Что Крыму лишний рот и лишний гой?
Спокойней быть подале от раздрая.
И снова дипломатом стал Нагой,
опричник при дворе Бахчисарая.

Держи, боярин, по ветру ноздрю!
Густеет над Россией истерия:
Вконец осатаневшему царю
понравилась племянница Мария.

Пустили в кухню, – ну, давай кухарь.
Басманову подобное не снилось.
Оно неплохо, только помер царь,
и наш вельможа угодил в немилость.

Что только не случается в Москве!
Легко ли верить вракам очевидца?
Помстилось чей-то дурьей голове,
что сын седьмой жены в цари годится.

Коль скоро ты живешь в России, друг,
учись нигде не известным наукам:
коль скоро брату Дмитрий – это внук,
то числиться Лжедмитрию лжевнуком.

О том мерзавце тоже нужен сказ,
история уже совсем другая,
как самозванца в недостойный час
признает даже мать его Нагая.

Как глупо не по собственной вине
остаться персонажем анекдота:
и в Ярославле спать на топчане
у бесполезной склянки антидота.

Что ж, не дразни гусей, не зли волков
и попрощайся с жизнью мимолетной,
ты, главный из числа временщиков
фамилии не больно-то почетной.

Выходит, больше драться не с руки,
не угодить бы в чан кипящей серы,
да и не зря же грабли коротки
или отбиты, будто у Венеры.

Кто потонул во глубине времен,
не лезет пусть на стогна и на гумна;
конечно, был ты, батенька, умен,
да вот была судьба неостроумна.

Пусть жизнь ушла, – но с ней ушла беда.
Не вспомнить всех, кто жил во время оно.
Спокойно спи до Страшного Суда,
в пустыне той, где нет ни скорпиона.

Русский посол в Крыму, окольный. Родной дядя царицы Марии Федоровны Нагой, седьмой жены Ивана Грозного. Сделал многое для предотвращения крымско-турецкой агрессии; так, предупредил царя о готовившемся походе хана Крыма Девлет-Гирея на Астрахань; освобождён, будучи обменным на крымского вельможу. Стал опричником ещё в Крыму в 1571 году. С 1573 году входил в ближнюю думу Ивана Грозного. В последующие годы участвовал во многих дипломатических переговорах. В 1576–1579 годах – дворовый воевода. Вскоре после смерти Грозного сослан. В момент гибели царевича Дмитрия находился в Ярославле, был обвинен правительством в поджоге Москвы. Видимо, был отравлен.

ФИЛАРЕТ В СИЙСКОМ МОНАСТЫРЕ. 1601

На Сийском озере, в неслыханной глуши,
от стен монастыря тропа ведет полого,
к воде, где окуни, да мелкие ерши,
да щука старая, да тощая сорога.

Подлещик на уху то ловится, то нет..
Здесь, в ссылке горестной, в томлении несытом
пустынничает мних, зовомый Филарет;
еще не скоро стать ему митрополитом.

Цепочка тянется однообразных дней,
пусть мнится здешний край кому-то полной чашей,
но макса сладкая северодвинских мней
не предназначена для трапезы монашьей.

На бесполезный гнев не надо тратить сил,
но к Белоозеру душа стремится снова,
куда любимый сын, младенец Михаил,
отослан волею иуды Годунова.

Никто изгнаннику не шлет вестей в тюрьму,
не умалился страх, а только пуще вырос,
и мних в отчаянье: приказано ему
ни с кем не говорить при выходе на клирос.

Терзают инока мучительные сны,
не по нему клубок и подвиг безысходный,
ночами долгими у Северной Двины
он грезой мучится, бесплодной и голодной.

Пусть бают, что хотят, предание свежо,
уместно обождать во кротости великой,
лишь Годунов помрет, – он на Москву уже
царем заявится или другим владыкой,

чтоб громко возгласить, избавясь от врагов:
мечите-ка на стол – да ничего не стырьте! –
просольну семжину, белужину, сигов,
прут белорыбицы да схаб печорской сырти.

Тельное лодужно извольте принести,
шевружину еще, капусту в постном соке,
икру арменскую и дорогие шти,
уху, учинену со яйцы да молоки.

...Такие пустяки нейдут из головы!
Грядущее темно, и тяжелы вериги.
Ужели не дойти от Сии до Москвы?
Да только на Руси царем не быть расстриге.

Кто знает, что судьба еще преподнесет?
Пусть мерзостна скуфья, невыносима ряса,
но надобно терпеть сие за годом год
и все же своего суметь дожждаться часа.

Пусть бесится осман, – не страшен он ничуть,
пусть ляхи точат зуб да ждут жиды мессию,
лишь ни в который век на непрохожий путь
не надо направлять ни Сию, ни Россию.

Нет осуждения монашеским трудам,
а патриарший жезл сойдет и за дубинку,
и в тот великий час рабам и господам
тьнь Грозного еще покажется в овчинку.

Ты как там, Годунов? Здоров иль вовсе плох?
Но, сколь ни царствуешь, ты не поймешь при этом,
что царь в России – Бог, но он не просто Бог:
в России – Бог с людьми, а люди – с Филаретом.

Федор Никитич Романов был сослан в Антониево-Сийский монастырь в 1601 году, был здесь пострижен в монахи с именем Филарета и прожил до 1605 года.

«...От Царя и Великого Князя Бориса Федоровича всяя Руси в Сийский мо-

настырь игумену Ионе. <...> В нынешнем 113 году марта в 16 день писал к нам Богдан Воейков, что февраля в 3 день сказывал ему старец Иринарх, да старец Леванид, Февраля де в 3 день в ночи старец Филарет старца Иринарха лаял и с посохом к нему прискакивал и из кельи его выслал вон и в келью ему старцу Иринарху к себе и за собою не велел ходити некуда; а живет де старец Филарет безчинством, не по монашескому чину, всегда смеется не ведомо чему, и говорит про мирское житие, про птицы ловчии и про собаки, как он в мире жил, и к старцам жесток, а старцы приходят к нему Богдану на того старца Филарета всегда с жалобой, что лают их и бить хочет, а говорит де старцам Филарет старец: увидят они, каков он вперед будет, а ныне де и в Великий пост у отца духовнаго тот старец Филарет не был, и к церкви и к тебе на прощенье не приходит и на крылосе не стоит».

ДИМИТРИЙ КЕСАРЬ. ТРАГИКОМЕДИЯ. 1606

Царю нехорошо: хоть был здоров намедни,
но про его судьбу глядеть не надо в сонник, –
посмотрит на Москву, доест обед последний
и вскорости помрет, поскольку гипертоник.

... Так было некогда: дворянчик захудалый
из Чудова сбежал в гостеприимный Муром,
в Речь Посполитую, где с наглостью немалой
назвался Дмитрием, понравясь польским дурам.

Он был не то Богдан, не то скорей Георгий,
в монахи стриженный под именем Григорий,
он ляхам расточал толь многие восторги,
что скоро сделался у них в большом фаворе.

Чудесно излечась от наведенных корчей,
предерзостно удрав от гнева Годунова,
восстал из гроба он, князей сильней и зорче,
и восхотел душой в Москве явиться снова.

Князь Ковельский Андрей подох бы от завидок,
прознав его судьбу, иль хохотал до колик, –
столь был невзрачен тот и в целом статью жидок,
короче, просто вор и липовый католик.

Столь быстро он взлетел, что и представить жутко,
жолнеры думали: вот мы в Россию катим!
Тень Грозного его сочла бы за ублюдка,
но Мнишек объявил добротололюбным зятем.

Бывало, поворот случался нехороший,
затея наглая едва не прогорела.
Жолнеры прочь ушли, не получивши грошей,
но выручил его прохвост Андрей Корела.

То драму зрил народ, то слушал оперетту,
Москву Димитрий съел с лапшой и потрохами,
но люд уверововал в инсценировку эту,
и воспевал царя не просто, а стихами.

Явился при дворе питомец русской лиры,
кольчугой защищен, молитвой ощетинен,
со тцаньем велием слагающий стихиры
Иван Андреевич, писатель Хворостинин.

Ощерилась страна грядущими гробами,
кто хорохорился, кто помирал со страху,
и даже Федор Конь не шевелил губами,
страдания и слез сдержати не можаху.

...Что, жрешь телятину, не спишь после обеда?
Ты тайный сын царя? Ишь, подобрал папаню!
Какой ты, к ляду, царь! Ты хуже людоеда!
Не ходишь в баню ты, так вот, иди ты в баню!

Златá распалась чепь, не стоит распалаться,
борьба убогая всем сторонам обрыдла,
и боле никакой надежды на поляца,
и пепел с порохом уже смешало быдло.

...Василий, плохо врешь, хотя бы сопли вытри!
Не признан шведом ты и не обласкан Портой.
Поляки требуют, чтоб стал царем Димитрий,
хоть первый, хоть второй, хоть третий, хоть четвертый.

Бузит царевич Петр с Болотниковым купно,
за подкреплением гонца ко Мнишкам выслав,
но не возьмут Москву, что стала неприступна,
ни ирод Шаховской, ни Ваза, что Владислав.

И новый вор грядет из града Стародуба,
во Пскове тоже свой и в Астрахани тоже,
Климентий и Мартын, – любого душегуба
в Москву на русский трон влечет, помилуй Боже...

Зови загонщиков, устраивай облаву,
а хочешь – зал готовь для куртуазных танцев.
Всего-то за́ шесть лет российскую державу
пыталось оседлать семнадцать самозванцев.

Но суд потомков строг, и ропщут ребятишки,
по первое число в известной драме выдав
Гавриле Пушкину, сокольничему Гришки,
(царю, носившему фамилию Нелидов).

Сгорела кизяком несбывшаяся слава,
хула взаимная – российское богатство.
...Лишь некий иерей, на то присвоив право,
включил Григория в чины анафематства.

ЛЖЕДИМИТРИЙ XVIII

В России – каждый царь, хоть грузчик, хоть крестьянин,
лишь ценами на спирт народы не взбеси.
Однако не забудь, насколько постоянен
закон семнадцати, всеобщий для Руси.

Ни горького стыда, ни легкого румянца
из-за того, что жизнь бессмысленно прошла:
однако не стоит страна без самозванца,
он – суть истории, он – корень для ствола.

Пять Лжедмитриев, царевич Петр, Лаврентий,
Осинник, Симеон, Савелий да Иван –
Ерошка, Гавриил, Василий, да Климентий,
да Федор, да Мартын: немалый караван!

Игру в солдатики или в цари затеяв,
подумай сотню раз: а стоит ли свечей?
Казнили наскоро семнадцать прохиндеев,
но восемнадцатый сбежал от палачей.

Кто был сей хитрый тип? Старик иль парень юный?
Едва ли труженик, скорее феодал,
Димитрий липовый, обласканный фортуной,
который имени векам не передал.

Кто мылится на трон, готов пойти вприсядку;
а у него во всем бубновый интерес.
Поди поймай *его* намыленную пятку, –
узнаешь только то, что он не Ахиллес.

Настырный ли диббук, анчутка ли беспятый,
незримой нежити пахан и голова,
безвсякий Яков он, – положим, тридцать пятый, –
или седьмой Иван, не помнящий родства.

Он на судьбу вовек не станет зубом клацать,
к чему грустить о ней, – ему и горя нет,
хотя уже давно три раза по семнадцать
прошло с семнадцати его далеких лет.

Способность ускользать переросла в привычку,
он самозванствует, и потому упрям.
Другому власть нужна, а он берет наличку,
и в этом фору даст семнадцати царям.

Ну, помахал жезлом, засунь обратно в ранец, –
в восторге публика, – а ты не виноват.
Канат не задрожит: виват тебе, поганец.
Виват сбежавшему, семнадцать раз виват!

С некоторыми разночтениями в именах решительно любой подсчет появившихся в Смугное время самозванных претендентов на престол дает число семнадцать. Основные имена их можно здесь найти в перечислении.

СТАНИСЛАВ НЕМОЕВСКИЙ. РУССКАЯ ТОШНИЛОВКА. 1606

Уж если знаться с кодлой азиатской,
к чему, войдя в горнило, рваться в драку?
И что, помимо грубости схизматской,
возможно ждать от варваров поляку?

Но королю едва ли кто советчик,
из тех, кто не спешит в дубовый ящик;
и должен шляхтич, точно смерд-браслетчик,
понять, что он – не боле, чем алмазчик.

Увы, всегда в законах есть лазейки;
вот из-за них я сделался, представьте,
хранителем немалой гамалейки
бурмицких зерен, сардов, перелявтей.

Такой случился поворот неожиданный
поскольку прикупить решили русы
сафиры свейской королевы Анны,
и таусины все, и балангусы.

Рус против ляха – невелика шишка;
при этом сделку все же да не сглазим;
однако зять ясновельможна Мнишка
не показался мне великим князем.

Пишу затем, что возвестить обязан,
и ныне безусловно подтверждаю:
неблаголепно тот миропомазан,
кто нарушает заповедь седьмую.

В перечисленьях очень буду краток.
Я на столе царя богатство видел
горзалок скверных и протухших паток,
худых медов, да и дурных повидел.

Сплошная пьянка в этом царстве лживом,
лакать барду, так нет другой заботы,
и мед плохой мешать с отвратным пивом, –
у них в обычай, а не ради рвоты.

А чем тут кормят, – молвить неприлично,
о сем могу поведать лишь изустно,
тут подали на свадьбе, как обычно,
тринадцать блюд, да только все невкусно.

Готовят хуже, чем магометане, –
к столу приносят здесь в поганой чаше
ягнятину, тушенную в сметане,
а та сметана – гаже простокваши.

И так во всем: на суп идет крапива,
из падали состряпано жаркое,
не ставят квас, не доливают пиво,
ну нешто шляхтич вытерпит такое?

И царь подлец: нас по плечу похлопав,
сгреб камешки, не размышляя долго, –
да только вовсе распустил холопов
и был зарублен, не вернувши долга.

Покойника судить я, впрочем, вправе ль?
Что уцелел я, это только к худу.
С кого теперь получит деньги Вавель?
Кому платить за битую посуду?

России лучше слушать безучастно,
что ей пристало тише быть, послушной,
и, наконец, понять, насколько прекрасно
ухаживать за польскою конюшной.

Короче, на России ставим точку:
вредна рабу малейшая свобода,
а то, что я посажен в одиночку, –
что взять с неполноценного народа?

...В начале марта 1606 года Немоевский в сопровождении 16 слуг выехал в Москву с железной королевской шкатулкой, в которой лежали завернутые в пеструю шелковую материю бриллианты, перлы и рубины шведской королевы. Возле Орши Немоевский встретил Марину Мнишек и ее отца Юрия Мнишка, едущих тоже в Москву к Дмитрию, и с ними торжественно въехал в столицу.

26 мая 1606 года Станислав передал лично опьяненному славой и богатством Дмитрию заветную шкатулку, и царь благосклонно принял ее, сказав, что посмотрит содержимое еще раз на досуге и даст ответ. Но ответа Немоевскому пришлось ждать два года – в ночь на 27 мая 1606 года (по русскому календарю – 17 мая) Дмитрий был убит. На неоднократные челобитные новому царю Шуйскому с просьбой возвратить драгоценности шведской королевы было или молчание, или отписка: «никогого ответа не получишь, жди времени».

Станислав Немоевский, <...> стал скрупулезно описывать каждый шаг «государыни», оказываемые ей невообразимые почести, государевых слуг, ее сопровождавших, их одежду, манеру обращения, обильные застолья и бесконечные пиры в честь приезда Марины Мнишек в Москву. <...> На брачном банкете ему диким показалось поведение москвитян за столом:

Обед открылся теми же церемониями, как и прежде – с обхождения парами стольников около колонны. Как и на иных обедах, ставили по два или по три кушанья, с помощью тех, которые сидели перед столом, и ставили не всё, а было всего тринадцать. <...> На всех столах подавали есть на золоте, и эти тринадцать кушаньев довольно тесно вдоль стола помещались, ибо поперек столы были так узки, что нельзя было поставить рядом двух мисок, хотя тарелок и не было. Золото то, однако, никакого вкуса не придавало кушаньям... <...> Тарелок не употребляют; из миски берут горстью, а кости бросают под стол или опять в миску. <...> Масла не умеют делать, сметаны не собирают, она горкнет; как скоро масло приготавливают, его топят; другого не имеют, и потому каждое воинят. <...>

Немоевский увидел, что русские лживы, своего слова не держат, что положиться на их заверения нельзя, что при случае они легко отрекутся от своих слов и даже не покраснеют. Противно было ему слышать нецензурную брань на улицах, откровения пьяных мужиков об интимных связях с женами, видеть эту грубую, неотесанную массу забитого народа. <...> На свадьбах нет музыки, нет танцев – «одно только пьянство».

Ю. Н. Палагин

ГАНС БОРК.
РЫЦАРЬ-НЕВАЛЯШКА. 1610

От Борьки до Васьки, от Васьки до Гришки,
от Гришки до тушинских мест,
и к Ваське опять все на те же коврижки,
и все их никак не доест.

Где лен, где крапива, где хрен и где редька,
где хутор, а где и сельцо.
И все-то равно, что Мартынка, что Петька, –
лишь бегай, да гладь брюшенцо.

За глупых валахов, за мрачных ливонцев,
за прочих вонючих козлов, –
отсыпят поляки немало червонцев,
немало отрубят голов.

Коль рая не будет, не будет и ада,
нет друга, так нет и врага;
прибравши подарки, всего-то и надо –
удариться снова в бега.

В Москве ли, в Калуге, в Можее ли, в Туле,
восторгом и рвением горя,
уверенно, строгость блюда, в карауле
стоять при останках царя.

Прыжки хороши и движения ловки,
но лезть не положено в бой;
вот так он и пляшет от Вовки до Вовки,
кружась, будто шар голубой.

При нем торжествует закон бутерброда,
скисает при нем молоко.
Он – двигатель вечный десятого рода
и маятник деда Фуко.

Не действует яд на подонка крысиный,
тот яд для него – перекус,
и нет на земле ни единой осины,
что выдержит эдакий груз.

...Но облак вечерний закатом наохрен,
но тянет с востока теплом, –
а жизнь коротка, и пожалуй, что по хрен,
гоняться за этим фуфлом.

У Шуйского был один немец по имени Ганс Борк, который некогда был взят в плен в Лифляндии. Его-то Шуйский и послал со 100 немецкими конниками под Брянск, а этот Борк прошлой зимой перешел от Шуйского в войско Дмитрия в Калуге, но потом, оставив там на произвол судьбы своего поручителя, снова перебежал к Шуйскому, который за доставленные сведения пожаловал его ценными подарками; но у Шуйского он не долго задержался, а вторично перебежал к Дмитрию второму, который воздал бы этому изменнику по заслугам, если бы его не упростили польские вельможи. Однако, не пробыв и года у Дмитрия, он чуть было не переманил у него крепость Тулу (перед тем сдавшуюся Дмитрию) и не передал ее Шуйскому, но, поняв, что его лукавые козни замечены, он убрался восвояси в Москву к Шуйскому, который опять с радостью принял его и, как и в первый раз, щедро одарил его за замышлявшуюся пакость в Туле.

Конрад Буссов

КАПИТАН ЖАК МАРЖЕРЕТ. ГУГЕНОТ МОСКОВСКИЙ. 1611

У мира вкуса нет, а вкус войны отвратен:
что ж после этого дивиться послевкусью?
Зато Россия – край великих белых пятен,
засим и справиться весьма непросто с Русью.

У нас затушен меч, у нас подмочен порох.
Восточные врата у нас отменно ржавы.
А у России врат нет вовсе некоторых
и вовсе нет искусств, и в этом мощь державы.

Европе этот край куда как любопытен.
Как называть его? Вопрос отменно странен:
его бы надо звать странюю московитян,
коль Франция была б странюю парижанян.

В сравнении с Москвой изрядно мы убоги,
у нас бездельники окружены почетом,
у наших королей уходят все налоги
мазилам всяческим, а также стихоплетам.

Хотя и то скажу, что страшной прежней мощи
при нынешних царях в Москве я не нашел уж:
боярам нынешним желанна власть попроче,
что их бы не драла за меховой окольш.

Беда со званьями! Тут спорят неустанно,
как своего царя вознесть пред мощью вражьей.
Не император ли достойнее султана?
Чин выше ль герцогский, а может – титул княжий?

Несчастный царь Борис, несчастная царица,
страну спасавшие в годину недорода!
Здесь ведает народ: коль голод приключится,
так именно царем испорчена погода!

В итоге предпочли они царя-болвана,
свой уподобив край глубокому болоту,
один Димитрий, – сын великого Ивана, –
царем казался мне, французугуеноту.

Но истины страна нисколько не искала,
да и теперь судить мне вовсе не по силе:
иль самозваному Москва рукоплескала,
иль настоящего оклеветал Василий?

К чему чернила здесь, но и к чему белила?
А все-таки его жалеть велит мне разум,
хоть бородой его природа обделила,
хоть бородавку он имел под левым глазом.

В одну лишь Польшу мне оставлены дороги,
и ни копейки нет – не то что луидора,
и виноват ли кто, что я теперь, в итоге,
на льду Москвы-реки добился лишь позора?

Что жизнь кончается, – не повод для насмешки.
Коль чашу выхлебал, так не проси добавки.
И если ждешь орла, как раз дождешься решки,
а коль фортуны ждешь, – дождешься бородавки.

...Эти русские с некоторых пор, после того как они сбросили иго татар и христианский мир кое-что узнал о них, стали называться москвитами – по главному городу Москве, который носит княжеский титул, но не первый в стране, так как государь именовался некогда великим князем владимирским и теперь еще называет себя великим князем владимирским и московским. Поэтому ошибочно называть их москвитами, а не русскими, как делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их соседи. <...> Я хотел предуведомить читателя, чтобы он знал, что русские, о которых здесь идет речь, – это те, кого некогда называли скифами, а с некоторых пор ошибочно называют москвитами, поскольку москвитами могут называться жители всего лишь одного города; все равно как если бы всех французов стали называть парижанами по той причине, что Париж – столица королевства Франции.

Жак Маржерет

В грамоте, посланной англичанам, князь Дмитрий Пожарский весьма резонно заявил, что, учитывая все деяния наемника Маржерета, – «Московскому государству зло многое чинил и кровь крестьянскую проливал, ни в котором земле ему, опричь Польши места не будет». Слова князя оказались пророческими. С 1612 г. Маржерет действительно скитался по Польше и Германии и до своей смерти в начале 20-х гг. исполнял роль французского политического агента и мелкого фактора по торговле мехами.

Ю. А. Лимонов

КОНРАД БУССОВ.
НАЕМНИК. 1612

Наемник, ты облаян и охаян,
зато не думать можешь о судьбе:
кто лучше платит, – тот и есть хозяин,
и жаловаться не на что тебе.

Россия больше Даний и Германий, –
и глупо, что у шведов царь Борис,
с такою мощью, против ожиданий ,
Мариенбург и Нарву не отгрыз.

Подумал бы, владыка, на досуге!
Хозяйственно на дело посмотри!
Чем лучше платят, тем надежней слуги.
...Да только мрут московские цари.

В порфире Гришка, без кафтана Тришка,
за вором вор, и следом тоже вор.
Чесночная боярская отрыжка,
что в воздухе висит, как шестопер.

Орет народ с восторга и со страху,
а слушать, что орут, – и смех и грех;
к кому-то там воззваху, называху, –
а что с того, коль все противу всех?

Без меры люд российский осчастливлен,
возрадовалась глупая Москва:
князь Шаховской опять надул путивлян
и вытащил царя из рукава.

И поделом башкам поляков дурьим;
узнать несложно корни по плодам, –
их посадили в тридцать разных тюрем
по тридцати далеким городам.

Печально, Русь, смотреть на этот фарс твой,
не отводя глаза, из-под руки:
хоть царствуй, хоть мытарствуй, хоть бочарствуй,
а все тебя растащат на клочки.

Жаль, если о тебе забудут книги,
и жаль, что путь ведет сегодня мой
от Тулы до Смоленска и до Риги,
и дальше, до Ганновера, домой.

Что уповать на старческую силу?
Рассказывать – не хватит жизни всей,
и жаль, что всё почти возьмет в могилу
вернувшийся наемный Одиссей.

Конрад Буссов – представитель тех авантюристов-иностранцев, которых было так много в Европе XVI–XVII вв. и которые являлись главным источником, откуда черпались и за счет которого пополнялись кадры наемных солдат-ландскнехтов многочисленных армий того времени, столь насыщенного войнами всех видов.

Предложение Буссова о сдаче Мариенбурга не было (или не могло быть) принято правительством Бориса Годунова, и в начале 1602 г. Мариенбург, как и Нейгаузен, были заняты поляками. Но это не означало прекращения секретных связей Буссова с агентами Бориса Годунова. Напротив, такая деятельность Буссова в пользу России продолжается до самого конца его пребывания в Ливонии. Больше того, именно этой деятельностью и объясняется то, что Буссов оставил Ливонию и оказался в России. <...> Итак, Конрад Буссов – изменник, глава заговора, составленного в Нарве, участники которого заключили с Борисом Годуновым соглашение, имевшее целью «изменнически отторгнуть Нарву от шведской короны и предать ее России». Это свидетельство <...> не является ни неожиданным, ни способным вызвать сомнение в его достоверности. Оно полностью отвечает общему авантюристическому облику Буссова. <...> При этом Буссов исключительно скуп по части сообщения каких-либо данных автобиографического порядка. Те немногочисленные места сочинения Буссова, которые содержат автобиографические моменты, известны, можно сказать, наперечет. <...> Этим же можно объяснить и то, что, даже когда в рассказе о тех или иных событиях или лицах Буссов называет себя очевидцем этих событий, он большей частью избегает говорить о том, где он находился и что делал во время этих событий.

Поэтому история жизни Буссова в России является почти столь же темной и загадочной, как и на ее предшествующих этапах.

И. И. Смирнов

ИСААК МАССА.
ПРОМЕМОРИЯ МОРИЦУ ОРАНСКОМУ. 1614

Неверно говорят, что москвит
всех более на свете страховит:
кто так речет, – молчал бы, не позорясь.
Среди негоций и других трудов
я восемь прожил в той Москве годов.
Прими мой робкий труд, великий Морис.

Вполне предвзятых мнений сторонясь,
скажу: не столь давно великий князь
привержен стал отеческим заботам:
он первенца немедля утопил,
затем второго посохом убил,
а третий оказался идиотом.

Тот вовсе не готовился в цари,
как ты на сей вопрос ни посмотри, –
не нужен скипетр нежным мальчуганам.
О том, пожалуй, говорить не след,
он был царем почти пятнадцать лет
но был, увы, политиком поганым.

Однако шурин старшего царя
шалался возле трона не зазря,
и, младшего считая за болвана,
смекнул: кому, кого, зачем, куда,
не пожалел старанья и труда,
и был убит четвертый сын Ивана.

...Боюсь, увидеть можно за версту:
я нынче что-то лишнее плету
об этом самом Годунове, то бишь
уместно сей расхваливать бардак:
в России брякнешь что-нибудь не так,
и сам себя немедленно угробишь.

...А, впрочем, нет, совсем наоборот:
возненавидел деспота народ,
он на Москве считался зверем сущим,
и, чтоб не заморачиваться впредь,
ему бояре дали помереть,
как он давал владыкам предыдущим.

Еще не вовсе оный царь протух,
когда от Польши прикатился слух,
что царь воскрес, и что не Годунов он:
был этот парень тот еще петух,
и весь народ челом о землю – бух,
и был он всем народом коронован.

Однако у судьбы готов ужал:
и слух среди народа пробежал,
что все поляки суть ночные тати.
Обратно в Польшу покатиласть весть:
хоть всех волков теляти можно съесть,
да только царь не может есть теляти.

Описывать подробно не берусь,
как в эти дни рассвирепела Русь,
и, меж собой немного покалякав,
вошла в неописуемый азарт,
и буря околесиц и чехард
пошла крушить и немцев, и поляков.

Я нынче никого не обвиню,
что перешло махалово в грызню,
что Русь явилась в новой ипостаси,
когда что белый день, что темный лес,
когда то хай, то буча, то замес,
то драки, то бои, то свистопляси.

И как-то сразу стало тяжело,
совсем, весьма, и слишком, и зело,
и порешил народ, слегка подумав,
что слишком горек Вавеля нектар,
что лучше уж хлебать кумыс татар,
что Сигизмунды хуже всех Кучумов.

Давай-ка ты, незванный гость, приляг.
О том и не хотел бы знать поляк,
да только жизнь дороже для рубаки.
У Сигизмунда больше нет идей:
в Кремле поляки режут лошадей,
и скоро их самих съедят собаки.

...В России нынче та же чехарда,
с ордой воюет новая орда,
и на воров войною ходят воры.
Все кончится в ближайшие года,
но, коль посольство отправлять туда,
то не с кем там вести переговоры.

И, возвратясь к родному очагу,
я только скромно уповать могу
читателя найти в достойном принце,
в чьих жилах кровь Оранская течет.
Смиренно вам вручаю сей отчет,
великий воевождь семи провинций.

ФЕДОТ КОТОВ. ХОЖЕНИЕ. 1624

Россия, Персия, одна ебёна мать.
Сергей Петров

Куда как долог путь по Волге до Персиды!
В Индею да в Урмуз, – за берегом новый брег, –
Да вот еще купцу великие обиды
наносит бусорман: татарин да узбек.

Киюз, карамсарай, тропа до Ыспагани:
с верблюда каждого везде плати рахдар;
запоны разные, что учтены заране:
потерпим, только пусть не отберут товар.

Ведет безводный путь то в гору, то в долину;
доехать надобно с Дербени на Шаврань,
а там на Шемаху, – а угодишь к лезгину, –
три киндяка с вьюка с поклоном притарань.

Зато за Шемахой есть земли плодовицы,
не только много там достойных овощей,
но тулунбасы есть, шелка и аксамиты –
и тысячи иных пользительных вещей.

А город Ыспагань садами весь обрамлен,
для всех один закон великим шахом дан, –
здесь множество жидов, армяньян и аврамлян
торгуют, поутру стекаясь на майдан.

По праздникам в сады лежит дорога шаха,
от жонок и робят аж звон стоит в ушах,
а кто не голосит, – тому готова плаха,
зане на похвалы зело повадлив шах.

В мечетях абдалы нагуливают пузо,
а по ночам не спит ни турок, ни арап,

что в месяц рамазан, да и в часы навруза
пьют до утра чихирь и мнут дешевых баб.

Я озирать устал горячую Персиду,
уже не до чудес московскому купцу,
нисколь не жалеюсь, что днесь домой отыду,
и повесть подвести положено к концу.

Еще б рассказывал, да только ехать надо,
подробно говорить об этом смысла нет, –
боюсь, что в пятницу не выпустят из града:
здесь пятницу блюсти велел пророк Бахмет.

Как дальше поступать – мы разберемся сами;
но мысль особую имею в голове:
чем на Персиде быть верховным псом над псами,
то лучше просто быть собакой на Москве.

Что, дело тонкое – Восток для инородца?
Кто хочет знать ответ, – тогда меня спроси:
и я на то скажу, – где тонко, там и рвется,
а стало быть, – меня заждались на Руси.

Федот Котов известен своим путешествием в Персию в 1623–1624 годах, которое он совершил по поручению царя Михаила Федоровича Романова «в купчинах, с государевой казною», выступив из Москвы в сопровождении отряда из восьми человек. Поскольку Котов купечествовал с царскими товарами, это обстоятельство давало ему множество различных привилегий, в первую очередь – отсутствие всевозможных дипломатических препятствий на своём пути. Историю своего посольства он описал в труде под названием «О ходу в персидское царство и из Персиды в Турскую землю и в Индию и в Урзум, где корабли приходят», которое было записано с его слов в первой половине XVII века и опубликовано более чем через два столетия после завершения его странствий с сохранившейся рукописи; возможно, этот своего рода дневник он вёл намеренно, по специальному повелению Посольского приказа.

ЯКОВ ХРИПУНОВ. ТРИ ПУДА ОДЕКУЯ. 1630

От бесконечных войн земля подустала;
пора бы отдохнуть стрельцам да пехтуре,
и заплатить долги, но вовсе нет металла
в монетных мастерских на денежном дворе.

Кто знает, от кого и кто сие услышал,
старинная Москва на выдумки щедра:
богато наградит того, кто рылом вышел,
Тунгусия, страна слонов и серебра.

Трофей богат зело, да порученье скользко.
Сколь велика Сибирь, где ты один как перст!
Приказано дойти к Тунгуске от Тобольска,
короче, одолеть все тридцать сотен верст.

Не возразишь: пойдешь что волей, что неволей,
но скажешь ли кому, сколь этот путь рисков?
Зерколишек возьми – менять на мех соболий,
и браги не жалея для всяких остяков.

Слух про богатства имеется в народе,
но, если врет народ, быть, стало быть, беде:
Берут-де там руду, да плавят серебро-де,
да только не поймешь – берут-то, гады, где.

Князишки купятся на русские посулы, –
наутро вспомнят ли, что пили ввечеру?
Пусть олово берут за просто так вогулы,
но путь желаемый укажут к серебру.

Тунгус горазд болтать, да верить ли ловчиле?
...Но и казнить его не следует пока:
из руд, что он принес, расплавив, получили
отливку серебра на три золотника.

Конечно, риск велик – придется жить, рискуя;
коль верную тропу укажет местный люд,
так подарить ему три пуда одекуя,
пятьсот зерколишек да шесть десятков блюд!

Так что ж запрягано под валуном лежачим?
Открыты берега, морозу вопреки.
Легко бы серебро найти войскам казачьим,
да только серебра не ищут казаки.

Для инородцев тут любой казак – вражина,
бурят бы и принес весь тот ясак добром,
однако что ни день беснуется дружина,
коль запрещашь ей устраивать погром.

И пишет он, уста молчаньем запечатав:
«Сибирь не для воря, и это весь ответ:
не больно-то легко собрать ясак с бурятов,
а что до серебра, – его здесь просто нет».

И более угроз желая не имати,
ушел Игнатъевич в пургу и снеговерт:
чем сгинуть у царя в промозглом каземате,
так лучше средь тайги спокойно встретить смерть.

Примеривал февраль морозную обнову,
был день второй поста у христиан, когда
пустыня белая открылась Хрипунову:
вовек не достигнет рука Москвы туда.

Уж лучше погибать в таежной лихоманке,
чем от лихих друзей быть выданным врагу, –
и встретить тень царя однажды она свиданке
случится стольнику, замерзшему в снегу.

Века надвинутся, и в узелок увяжут
необретенный клад серебряных монет,
и, в общем-то, плевать, что именно расскажут
минувшие снега снегам грядущих лет.

В 1623 году бывший енисейский воевода Яков Игнатьевич Хрипунов возглавил экспедицию в «бращую страну». Одной из основных задач его экспедиции в страну бурят был поиск серебряных месторождений в тех краях. Изобилие серебряных украшений у встреченных ранее «бращих мужиков» натолкнуло русских на мысль о том, что в их стране может скрываться большое месторождение этого металла. Поэтому Хрипунову был вменен в обязанность, наряду со сбором соболиной казны поиск серебряных руд. <...> Хрипунов отправил вверх по Тунгуске двенадцать казаков для поисков серебряной руды. <...> В результате этих опытов «из руды трёх гор изо шти золотников родилось три золотника с четвертью чистово серебра». <...> Образцы, привезённые казаками находили подтверждение в рассказах ясачных людей о неких князях Окуне и Келте, обитавших на какой-то малой речке близ Тунгуски. По рассказам ясачных тунгусов, «около их жилищ есть Камень, до которого судами идти невозможно. В горе у князцов имеется серебряная руда, из которой они берут понемногу камней и плавят серебро, и которое де, серебро они переплавливают, они де, то серебро носят себе на нагрудниках. <...>

Проблемой хрипуновской экспедиции было то, что чаемых «серебряных руд» они не находили, а вот за средства, отпущенные на экспедицию, отвечать бы пришлось. Ну и в принципе, разношёрстное воинство совершенно очевидно ориентировалось на личное обогащение. Обогатиться же можно было, только до нитки ограбив окрестное население, – что они, с огромным удовольствием и сделали. Удовольствие же это икалось дальнейшим русским партиям в Предбайкалье добрых двадцать лет. В начале 1630 году по делу Хрипунова было назначено следствие, не сулившее ничего хорошего. 17 февраля 1630 года неугомный воевода умер – о деталях рассказано в стихотворении почти дословно документам.

Михаил Кречмар (в сокращении).

ПЕТР БЕКЕТОВ. ОСНОВАНИЕ ЯКУТСКА. 1636

Здесь индрик из-под скал показывает клык,
здесь драгоценное блестит речное ложе,
здесь соболь шелковист и бобр зело велик,
здесь место рыбисто и для житья ужоже.

По тайгам казаки три долгих года шли
во соблюдение московского указа.
Чтоб сердцем город стал якуцкия земли,
основывать его пришлось четыре раза.

И вышел на берег отряд передовой.
И, государевой благословен рукою,
в год семитысячный и сто сороковой
поставлен был острог над Леною-рекою.

Ему подаст земля толь тороватый плод,
что вряд ли будет вред от редких половодий;
да станет войску он казачьему оплот,
защита ясаку и пороху кустодий.

Кто здесь поселится, – собьет с тунгусов спесь:
кто добывает соль, – еду как надо солит.
Любой добравшийся остаться сможет здесь,
лишь основателю остаться не позволят.

...Ему же и беда, что пышут из нутра
терпенье ангельско и велелепье адско;
боюсь бы, не видать нам без того Петра
ни Верхнеудинска, ни Нерчинска, ни Братска.

Страна великая проигранных побед,
нетающих снегов и муторной цифири;
в том много ль радости, чтоб три десятка лет
с убогим воинством мотаться по Сибири?

Но не поймет чужак, чем любо гольтьбе
жить между молотом и жаркой наковальней,
а если есть печаль во эдакой судьбе,
так доля индрика, поди, еще печальней.

Уходит летопись, – кто ведает, куда, –
тоскует край, тремя империями битый;
и, город отразив на краткий миг, вода
степенно в океан стекает ледовитый.

25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова заложил Якутский острог. В 1635 году местные казаки получили право называться якутскими казаками. Бекетов позднее основал еще несколько городов (Жиганск, Олекминск, Нерчинск и др.).

ДЕОРСА-ЮРИЙ ЛЕРМОНТ. СМОЛЕНСК. 1633

Храбрый солдатик, куда ж ты приперся,
распрей замученный и шебаршой,
мальчик семнадцатилетний, Деорса,
клана шотландского отпрыск меньшей?

Понял ты рано: что в жизни ни делай, –
в бой без аванса не надобно лезть.
Бросить наемников в крепости Белой –
это дворянская польская честь.

...Смылись поляки, не хлопнувши дверью.
Кто б из наемников не офигел?
В крепости между Смоленском и Тверью
сделался русским затурканный гэл.

Сделался, и не искал вариантов,
скотт на войне не бывает скотом.
Лермонт ты звался, а стал ты Лермантов,
сотником стал, православным притом.

Сколько врагов на веку перебил ты,
шкотския немец далекой страны?
Редкость в России шотландские килты.
Носят в России обычно штаны.

Каждая сволочь об этом лепечет,
шепчется кремль, недоволен посад:
то ли тарган недостаточно клетчат,
то ли неправильно он полосат.

Но никаким не подвластен хворобам
из Дал Риады пришедший народ,
и отличился геройством особым
парень в бою у Арбацких ворот.

Мысли о доме в бреду предрассветном,
и ни единой о нем – наяву.
Драться приходится с быдлом шляхетным,
прущим с хохлатой шпаной на Москву.

Вряд ли научишь стрелять ополченца,
если бедняга стреляет впервой.
Вряд ли дождешься восьмого коленца,
род на котором окончится твой.

Русская речь превратилась в привычку,
годы все более тянут ко дну.
Ты покидаешь жену-чухломичку,
снова идешь под Смоленск на войну.

...Каждого время оставит в покое,
если со злобы не вставит судьба
в вечную память и в сердце людское
ни дезертирства, ни даже горба.

Часто добро превращается в худо,
реже удачей бывает беда.
Можно увидеть – и как, и откуда,
непредсказуемо – что и куда.

Из-под руки посмотри загрубелой.
Чуть попрдержишь ладонь надо лбом, –
мигом увидишь отчаянно белый
парус в тумане морском голубом.

Представитель семьи Лермонт (Leamonth) Георг (Деорса) Лермонт, попавший в плен к русским в 1613 году, принявший православие и оставшийся на русской службе под именем Юрия Андреевича, происходил из равнинного (лоулендерского) клана, так что, будучи кельтом, собственно гэлом (хайлендером) может считаться с натяжкой. Однако именно таковым считал его прямой потомок в восьмом поколении – Михаил Юрьевич Лермонтов. Родословная между ними восстановлена полностью.

ДРУЖИНА ОГАРКОВ. НАГЛОСТЬ ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ. 1635

В России склочнику живется слаще всех.
От куманька сего не ожидай подарков.
Терпенье долгое – почти всегда успех,
но думать не могли, – уступит ли Огарков.

...Всё сорвалось. Москва опять подымет вой,
да только хоть стращай пожаром, хоть потопом,
ни хлеб с ножа, ни меч над дурьей головой
мунгала гордого не сделают холопом.

А дьяк такой второй: шлет жалобы в приказ, –
мол, этот сучий сын, а этот тож собака;
знать, ябеды плодить в пятидесятый раз –
уменье главное, да и призванье дьяка.

Тебя – или себя – он точно вгонит в гроб;
с ним просто говорить, не то, что спорить, тяжко:
тут не подействуют ни розга, ни ослоп:
иль ты не ведаешь, с кем ты связался, Яшка?

Пять лет всего, как с ним наплакалась мордва,
там до сих пор клянут Огаркова Дружину.
Что ни скажи ему, ответишь за слова,
и сколь ни дергайся – не упредишь вражину.

Конечно, уповать на честь и верность зря
у повелителей конюшен и свиарен,
да кто же виноват, что шерть Алтын-царя
не стоит зипуна, что был ему подарен?

И так-то пакостно, а тут домашний кат
грозит расправою и обвиненьем ложным!
И, право, стоило ль в вино бросать дукат –
и чашу на троих пить с тем царем ничтожным?

...Зазнайка мерзостный, да шел бы ты к свиньям,
как раз ты среди них сойдешь за домочадца!
В Москве-то помнит всяк: боярским сыновьям
письму и чтению не нужно обучаться.

Ругаться на козла – лишь воздух сотрясать,
и сколько ни лупи, – лишь пальцы онемеют:
сажай его в острог, – да он горазд писать,
хоть бей, а хоть не бей, – да он читать умеет!

И есть один лишь путь, чтоб сгинула беда:
ни сердца, ни души бесплодно не уродуй,
но расхвали его: глядишь, и навсегда
его на Вологду поставят воеводой!

Кукушкиным яйцом сей вылуплен птенец.
Не оскорби его ни мыслью, ни словесно!
Не ведает никто, кем был его отец,
а вот кто мать его, – так это всем известно.

И сколько радости, хоть это и пустяк,
с его головушкой проститься забубённой,
увидя вдалеке, что окаянный дьяк
идет не к Вологде, а к матери согбённой.

Колоритной фигурой был и первый помощник Якова Тухачевского, Дружина Огарков. В свое время на Руси Огарков «заварил» такое дело, что, как это бывало нередко у нас в стране, чтобы от него отвязаться, ему дали отличную характеристику и с повышением отправили в Томск. Но и здесь он не угомонился, и оказался героем многих скандалов. Забегая вперед, скажем, что и на Тухачевского он объявил «государево слово». Следствие по этому делу длилось около двух лет, и в конце концов на радость казаков кляузный подъячий был бит батогами и посажен в тюрьму. Но и на этот раз он не успокоился и стал закидывать Москву жалобами уже на томских воевод. Дело опять завершилось обычным путем: чтобы отвязаться от него, томские власти выдали ему хорошую характеристику, и в 1651 году Огарков уже сидел на новой должности в Вологде.

Владимир Богуславский

ИВАН ГРАМОТИН. КОЛЕСО ФОРТУНЫ. 1638

Не бунчук ли, не хвост над страную кобылий?
Дьяк сидит в размышленьи, судьбу матеря,
ибо ясно, что власть не удержит Василий:
сколько гривен дадут за такого царя?

Пирога не найти в годуновской макитре,
не поймешь, кто властитель сегодня и здесь;
стал посмешищем царь неудачный Димитрий,
если править не можешь, – к престолу не лезь.

Ни к чему заниматься бесплодной погоней,
кто себе на уме – тот себе господин.
Чем правитель щедрей, – тем правитель законней.
Все одно не законен из них ни один.

Каждый может взглянуть на зимующих раков,
только дьяк не приемлет судьбу такову.
Много ль разницы: с войском идти на поляков,
или ехать из Польши с посольством в Москву?

Всех на свете враньем бесконечным измаяв,
кто другой и попал бы, возможно, в тюрьму.
Десять лет – постоянная смена хозяев,
но Ивана поймать не дано никому.

В дамках тот, кто не сделает лишнего вздоха,
тот, кто умное сделать умеет лицо,
что ни день прибирая лежащие плохо
деревеньку, слободку, починок, сельцо.

Не начавши речей, их не должно кончати,
чашу власти ты выжрешь до темного дна.
Ты – хозяин верховной российской печати,
так что даже корона тебе не нужна.

О, губа у тебя, безусловно, не дура,
ты ворон не считаешь, не щупаешь кур;
ты изменник, предатель, продажная шкура,
но с любого сдерешь семью семьдесят шкур.

Дипломатия – это великая сила,
ну, а верность кому-то – одно баловство;
то ли жил ты в эпоху царя Михаила,
то ли помнят тебя и забыли его?

Да, конечно, воспрянуть уже не по силе,
перед смертью никто не закусит удил.
Так возьмешь ли с собою, монах Иоиле,
все, что выпил, проел, проиграл, проблудил?

Память вечную чин отпевания прочит,
но, с презрением громко сморкнувшись в усы,
дипломат-колобок удаляясь, хохочет,
ибо нет на пути ни единой лисы.

Думный дьяк, трижды, при разных государях, возглавлял Посольский приказ. В ноябре 1604 года Иван Грамотин отправлен Борисом Годуновым против Лжедмитрия I. Однако Грамотин присягнул самозванцу, который и пожаловал его в думные дьяки. В 1606 году Иван Грамотин с польскими послами вёл переговоры. Он вновь совершил измену, на этот раз Лжедмитрию I, перейдя на сторону Василия Шуйского, однако Шуйский, наслышанный о *преданности* Ивана Грамотина, отлучил его от двора, отправив в 1606 году дьяком во Псков. Это не соответствовало желаниям Грамотина занимать видное место возле российского престола, поэтому уже через два года он сбежал в Тушино, где вновь принёс присягу, на этот раз Лжедмитрию II. В 1610 году, вскоре после низложения с трона Василия Шуйского, Иван Грамотин пожалован Сигизмундом в печатники и поставлен руководителем Поместного и Посольского приказов.

В 1612 он приехал в Польшу, куда его послали, чтобы максимально ускорить приезд Владислава. После Московской битвы, однако, Грамотин уже не спешил вернуться в Россию и до 1617 оставался в Варшаве. В начале 1618 года Грамотин всё-таки вернулся в Москву и даже сумел добиться подтверждения звания думно-

го дьяка, благодаря чему продолжил службу в Новгородской чети и Посольском приказе. По возвращении в город Патриарха Московского и всея Руси Филарета (Романова), Ивану Грамотину стали поручать важные государственные дела. Всё это время Иван Грамотин не оставляет свойственные ему интриги и происки, и в 1626 году терпению Филарета приходит конец. Он лично настоял, чтобы думный дьяк был отправлен в Алатырь. Только в 1633 году, уже после смерти Филарета, Грамотин смог вновь вернуться в Москву, где снова добился милости государя и даже получил титул дворянина. В 1634 году Иван Грамотин был пожалован в печатники с правом писаться с «вичем». С момента своего возвращения в Москву и до самой смерти в 1638 году Грамотин вёл активную внешнеполитическую деятельность. Был одним из самых богатых людей своего времени.

ПОСНИК ИВАНОВ ПРОЗВИЩЕМ ЛЕНИН. ЯСАЧНИК. 1638

Докамест недолись не вовсе окунела,
найдешь занятие, о сем не хлопочу,
а там перекрестись да и берись за дело,
когда ж сочтешь ясак – ступай да ставь свечу.

В обычай даннику прикидываться бедно,
всю рухлядь вешнюю пусть прочь уволокучь,
задаром не возьми роскошное медведно:
уж тут-то проведет тебя подлец-якут.

Он принесет не всё, он будет тише мыши,
и сходу не давай ему потачки ты,
лисицу красную цени намного выше
недособолишек с пупки и со хвосты.

Ясак перебери, любую шкурку хая,
сторонних к соболям не допускай купцов,
шесть острядей возьми себе для малахая,
но черных не бери на шубу одинцов.

К соболью мелкому приценивайся тонко,
восхощет ли казна подобного добра?
Отнюдь не экономь, когда несут кошленка,
и больше заплати, чем просто за бобра.

Не ошибиться тут – наука непростая,
даруется она не всякому уму,
не больно-то плати за шкурки горностая,
зверь, может, и красив, но в холод ни к чему.

А хоть бы этот край якуцкий вовсе вымер!
Одни лишь соболя имеют цену тут,
ведь шесть десятков шкур составят полный циммер,
а иноземцы счет на циммеры ведут!

И да не выключают твоих припасов куры!
И да не нападут ни чукча, ни тангут!
С тунгусския земли не надо драть три шкуры,
затем, что шкуры те и сами прибегут.

В 1637 году основатель Вилюйска казак Посник Иванов, по прозвищу Губарь, с тридцатью конными казаками перевалил за «Камень» (Верхоянский хребет). Местные якуты не оказали казакам никакого сопротивления и дали ясак соболями. На Яне русские собрали некоторые сведения о восточных «землицах» и «людишках», а именно: об «Юкагирской землице, людной на Индирь-реке». Летом он продолжил конный поход. Вернувшись в Якутск, он рассказал о новой, богатой соболями Юкагирской земле. В 1638 году он основал Верхоянск, в 1639 году достиг Индигирки и заложил Зашиверск. Считается, что одним из потомков Посника был Николай Николаевич Ленин, – ему обязан псевдоним Владимир Ильич Ульянов-Ленин, когда он, скрываясь от полиции, воспользовался паспортом Н. Н. Ленина.

**АДАМ ОЛЕАРИЙ.
РУСЬ БЕСПРИЧИННАЯ.
СИНДРОМ СТЕНДАЛЯ. 1647**

Снаряжает посольство в страну на востоке
Фридрих Третий, Голштинский и Шлезвигский арцх,
там везде, говорят, несмотря на пороки,
много чести в бойцах, много мудрости в старцах.

И туда, в дикий край сыродцев и тундры,
где кочуют народы с широкою харей,
в экспедицию, Фридрихом взят на цугундры,
уезжает ученый Адам Олеарий.

Но заказывать скорбный не стоит молебен,
надо ехать, хотя и с большим подозреньем,
что загадочен край, а не то и враждебен,
где закусывать водку умеют вареньем.

Дешевизна царит в той стране необычной:
две копейки за курицу или два ряпа,
пять семишников стоит барашек отличный
и всего на копейку – с малиною шляпа.

Не страна, а огромная добрая скрыня,
упоенье сыты, благодать саломати!
Так сладка благолепная русская дыня,
что ее и без сахара можно вкушати!

У купцов там великое множество связей,
кто подобное многожды видывал в жизни?
Алтабасов, дамастов, атласов и бязей
отчего ж не купить при такой дешевизне?

Ну, а если захочет бывалый рубака
снарядиться обновой для службы оружной, –
он легко подберет для себя аргамака,
и чекан, и байдану, и меч харалужный.

Впрочем, нет на Руси благородных дуэлей,
нет по поводу драк никакого закона,
но легко возглашаю с суровостью велей:
Bledinsin, Sukkinsin, Sabak, Matir Jabona.

Но поведать бы стоило даже и ране,
от подобных вещей с отвращеньем отпрянув,
что не только мужчин здесь ласкают по пьяни,
но и коз, и овец, и козлов, и баранов.

Впрочем, каждый решает, поверить ли вздорам:
разве все исчисляется в звонкой монете?
Иноземцу судить ли о крае, в котором
ничего не поймешь и за десять столетий.

Край, которому верен безродный и знатный,
край неслыханно грешный и напрочь невинный,
край рыбешки отвратной и доблести ратной,
край, настоль благодатный, былинный и блинный.

Где тебе не жалеют последней рубахи,
где пройдем, куда-то бредущим далече,
из церквей на дорогу выносят монахи
огурцы, и капусту, и редьку, и свечи.

Лишь тайгу, лишь пустыню, лишь скалы со степью,
предъявляет паломнику вечность седая,
ибо смерть и рожденье не скованы цепью,
ибо Волга течет, никуда не впадая.

...Но добавит судьба небольшой комментарий:
непригоден романтик для мелкого торгога,
и провалит работу Адам Олеарий,
потому как возьмет и помрет от восторга.

В 1633, 1635, 1643 годы Адам Олеарий в составе шлезвигского посольства в Персию посещал Россию. Книга, написанная им об этих путешествиях, – это один из лучших и полных этнографических источников, описывающих Русь XVII века. Между тем ни единой торговой цели, поставленной перед посольствами, достигнуто не было.

БОЯРИН БОРИС МОРОЗОВ. СОЛЯНОЙ БУНТ. 1648

А впрочем, соли всюду грош цена:
Просыпали – метелкой подмели.

Георгий Иванов

На западе народ ползет в корчму,
а на востоке он ползет в кружало.
Без видимого повода к тому
в четыре раза соль подорожала.

Ватага в кабаке невесела,
весь разговор: отколе и доколе.
А у царя – пиры да сокола,
Похоже, – государю не до соли.

Для горожан лишь розги да кнуты,
должок, да недоимка, да утряска.
А чем солить голяшки и хвосты?
Чем жереха солить и чем подвязка?

Неужто царь доселе не знаком
с чинимым на Москве неблагочестьем?
Беда, что обзавелся свояком,
беда и то, что обзавелся тестем.

Беда, беда для честного купца!
Настоль казна неужто оскудела?
Почто народу жить без огурца?
А без капусты – статочное ль дело?

А был бы подлый тот искарриот
утоплен в бочке из-под тухлой рыбы!
Сидел бы на колу Траханиот,
да и Чистой пошел под топоры бы!

По маковку засунуть бы в тузлук
боярина, что злее василиска!

И пусть бы он не прятался за слуг,
а пусть бы к людям вышел тот Бориска!

А посадить его бы под арест!
А с ним потом поговорить народу!..
А тот Бориска слушает да ест:
и от Кремля куда подале ходу.

Набаёт летописец-пустобай,
про то, как власть угомонила гниду,
и, сколько ты голов ни отрубай,
все государь семью не даст в обиду.

Столетия три, читатель, обожди,
увидишь, как учебник скалит зубы,
за коими – крестьянские вожди,
ушкуйники и просто душегубы.

Они боролись не за просто так!
Чай, не по воробьям стреляли пушки,
чтоб стала соль – два фунта на пятак,
который вроде четверти полушки.

А чтоб легко управиться с людьми:
народу быть спасителем возжаждай,
сперва все то, что было, отними,
потом верни, – и счастлив будет каждый.

У каждого одна и та же роль,
рассказчик в ночь глядит осоловело,
и жалуется соляной король,
что без причины соль подешевела.

Виновники Соляного бунта Борис Морозов и Иван Милославский приходились царю Алексею Михайловичу соответственно свояком и тестем. Оба при бунте уцелели.

ТИМОФЕЙ АНКУДИНОВ.
ПОПРЫГУН. 1654

Хто сначала скачет,
тот напоследок плачет.

Тимофей Анкудинов

Полюбуйтесь: удачлив, блестящ, знаменит
и владыками принят как равный,
кальвинист-протестант, мусульманин-суннит,
правоверный жидок православный.

Он сулит: возвращу золотой на алтын,
только дочку с приданым просватай.
Перед нами – Василия Шуйского сын,
Иоанн, получается, Пятый.

Короля и султана раздев догола,
он останется в прежнем почете.
Поищите второго такого козла, –
и такого козла не найдете.

Ведь когда-то, едва зазубрив алфавит,
разобравшись в цифири немножко,
три деревни, а также пруд рыбовит
лихо пропил келейник Тимошка.

А ему наплевать: меж столичных кутил
не особо и трудно-то выжить.
Но в Москве, если лапу в казну запустил,
могут оную вмиг отчекрыжить.

Как сапожник упьется купчина Миклаф,
позабудет про русские нравы,
а Тимошка, чужого коня оседлав,
как стрела долетит до Варшавы.

Если сперли коня, – не кричи караул,
с морды пьяной волосья откинув.

Будь доволен: тебя как ребенка надул
прохиндей Тимофей Анкудинов.

Польше сладко напакостить русским. Изволь,
трон полякам не отдали – нате ж:
самозванцу в Варшаве отвалит король
столько денег, что всех не потратишь.

Но подобный почет ненадежен, увы,
и Тимошка, завывши с досады,
очень близко почувствовал руку Москвы
на пиру Переяславской рады.

Ну и пусть: разломилась судьба пополам,
он – калач исключительно тертый,
он в Крыму без зазрения принял ислам
и свалил до блистательной Порты.

Если б только не страсть прохладяться в грязи,
процветал бы он в Порте поныне,
но почуял, что жареным пахнет вблизи
и сбежал к королеве Кристине.

Он-то думал: ничто ему там не грозит,
но наткнулся на русского дьяка,
и удрал через Ревель и Ригу в Тильзит
восхитительный жулик-вояка.

Но Миклаф, обворованный в прошлом купец,
предъявил с золотишком лукошко,
и пришел нашей сволочи знатный конец:
был Москве предоставлен Тимошка.

Приговор у суда оказался таков:
впредь негоже ловить святотатца,
разрубить его на шесть отдельных кусков
чтоб не мог никуда разбежаться.

Полагается вспомнить, что все – суета,
грязный ров оказался постелькой.
Ты записан на первой неделе Поста
после Гришки и перед Емелькой.

Окаянную жизнь не удержишь в горсти,
не доешь драгоценной ковриги,
потому как на плахе не сможет спасти
карусель перемены религий.

Тимошка Анкудинов волей судьбы оказался одним из самых известных авантюристов XVII века и одновременно одним из первых русских поэтов. Служил в московских приказах, запутался в долгах, сжег свой дом и бежал за границу. Выдавал себя за мифического сына царя Василия Шуйского. Девять лет выдавал себя в Европе за наследника русского престола, принимал то ислам, то иудаизм, то протестантизм (возможно, и католичество). Сумел некоторое время обманывать самых разных людей: от Богдана Хмельницкого и турецкого султана – до папы римского и шведской королевы Кристины. Выдан герцогом Шлезвиг-Гольштейнским, казнен в Москве четвертованием.

КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОЙ. ОПИСЬ КАЗНЫ ПАТРИАРХА НИКОНА. 1658

Беда зиждителю новозаконных храмин!
Уместно ли душе быть ставкой на кону?
Бумагу трать дестьми, исписывай пергамен,
а все одно с собой не заберешь казну.

Что делать велено – то самое и делай,
никак не избежать оказии такой.
Как глупый кур в ощип, попался престарелый
боярин Алексей Никитич Трубецкой

...При эдаком труде попробуй-ка, не спать-ка,
ты брошен в писари отобранной казны,
и лишь окольниковый, известный Стрешнев-дядька,
при этих описях с тобой протрет штаны.

Златая братина, лоскутье монатеино,
персицка ладона шестипудова кадь:
чье здесь имущество, хозяйско иль ничейно?
Ужели здесь хоть что возможно отыскать?

Поддоны купковы, серебряные цаты,
росолник с кровлею, шурупных шесть фигур,
объярны ферязи, хоть ветхи, да богаты,
три старых саблишки, боярский татаур.

Возглавье низано, пять долгих патрахелей,
лук добрый ядринский, в бочатах клей мездров,
котел серебряный, три фляши разных зелий,
натреснутый куяк, сто новых топоров.

тарель финифтяна, ларец отборной смирны,
единороговый в серебро оправлен рог,
ефимков пять мешков, две гривенки инбирны,
седло чернеческо, чинаровый батог,

индейска желвеца глава закаменела,
плохого ладону пять с четвертью пудов,
два кубка ложчатых на тыквенное дело,
шесть выканфаренных серебряных ендов,

часовник писменной, и ветх, и неухожен,
клубук поношенной, по черни среброткан,
шесть ножен без ножей, единый нож без ножен,
пять гривен золотых, зеньчуга достокан.

Не то чтоб оценить, – и рассмотреть-то тяжко
все, что накоплено за несколько веков, –
лишь за пером перо мочалит Дуров Сашка,
записывая всю диктовку стариков.

Какой бы справился с таким трудом кудесник?
Но пустит в оборот, тебе благодаря,
всю здешнюю казну твой долгожданный крестник,
грядущий мальчик Петр, последний сын царя.

...Ну да, и вот еще – серепетинна иготь,
да мыла грецкого четырнадцать кусков...
Пергамены тащи: пора работу двигать
и чистить каждую строку черновики.

В июле 1658 года патриарх Никон в качестве протеста оставил Москву: не отказавшись от Московской кафедры, он удалился в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который сам основал в 1656 году и имел в своей личной собственности. Опись оставленной им в Москве казны была поручена упомянутым выше лицам.

НИКИТА ДАВЫДОВ.
ЦАРСКОЕ ЗЕРСАЛО. 1662

Вишневый кармазин пошел на однорядку,
камчатны ферязи добавил государь:
подобной милости не спрячешь за подкладку,
зане подкладки нет, сколь под полой ни шарь.

Но не возропщет он на ту беду пустячну,
он мастер, он царем весь долгий век любим:
и шапку для него он сладит саадачну,
пусть ей завидуют что Мишка, что Любим.

В державе не сыскать подобного талану;
жаль, дети не равны в искусности отцу,
поди, не молятся Косме и Дамиану,
без коих не видать удачи кузнецу.

Полвека протекло с тех пор, когда, воспрянув,
страна сподобилась означить свой закон,
и стражем при царе встал Филарет Романов,
в деснице меч держа, а в шуйце – Типикон

Убит Траханиот и на кол сел Заруцкой:
аники-воины, короче говоря:
не шапка ложчата, а дрянь черноклобуцка
уместна недругам московского царя.

Но топчутся в Кремле работнички бесстыжи,
что в разум не берут – где меч, где долото.
Искусство мастера спаси, архистратиге,
сколь Гришка ни хорош, а все одно не то.

Сей, верности царю нимало не наруша,
стволы умеет лить, – по совести, дотоль
такие дельвал, поди, один Первуша, –
пищаль да карабин, фузея да пистоль.

Но как зачнет шелом, – то тратит силы вскую,
и каждый щит его похож на плоский корж;
он только губит кость бесценную морскую,
какую нам дает ужасна рыба морж.

Вот так и помирать, тайн ремесла не выдав, –
к ним быдлу всякому вовеки нет пути.
У белого царя всего один Давыдов,
чей ерихонский шлем вовек не превзойти.

Давно за семьдесят, пора б уйти от горна,
да только б никому в его судьбу не лезть:
с зерсалом для царя он возится покорно,
не веря, что ему в стране замена есть.

...Смотреть в грядущее тому, кто молод – вредно,
ну, а тому, кто стар – так вовсе смысла нет;
и лишь дивится тот, кто пропадет бесследно,
тому, кто все-таки сумел оставить след.

На стогнах корчится пророчащий глашатай,
четыре лошади таращатся в зарю,
и смерть из темноты грозит косою щербатой,
и ясно, что она завидует царю.

Но рвешься заглянуть в последние мгновенья
в те пропасти, где нет ни солнца, ни дождя,
где нитью тянутся годов стальные звенья,
рождаясь в вечности, – и в вечность уходя.

Никита Давыдов – оружейный мастер, «отец русского оружейного дела». Работал при дворе первых двух царей Романовых, до 1662 года – первый государев мастер. Упомянуты также Первуша Исаев (ранний мастер фузей и пистолей) и Григорий Вяткин – преемник Давыдова.

ГРИГОРИЙ КОТОШИХИН. СТОКГОЛЬМСКИЙ СКЕЛЕТ. 1667

О царех, о царицах, о доме княжом,
об околничих, дьяках и думных дворянех,
и о том, как решают дела правезом,
как стреляют из лука и парятся в банях.

Об Иване Четвертом, ужасном царе,
и о том, как народ присягает престолу,
и о том, как возводятся очи горе,
и о том, как они опускаются долу.

О конюшенном, хлебном, прочих дворех,
о запрете к царю челобитной подачи,
и который, и как наказуется грех,
и который карается всех наипаче.

И о том, как посеять, пожать, помолоть,
о голодных годах и боярских застольях,
о сибирской казне, что несут ежегодно,
о тяжелых медведнах и шубах собольих.

О приказе земском, о дворе кормовом,
обо всяком юродивом, нищем и хвором,
и которым возможно гордиться родством,
и нельзя поминать о родстве о котором.

О попах, о помещиках и крепостных,
об игуменьях, схимницах, старицах, вдовах,
о Пожарских, Морозовых и Репниных
о Лобановых, Пушкиных, Сукиных, Львовых.

О селеньях ногайцев, калмыков, мордвы,
о мечях, о рогатинах, шлемах, подковах
и о силе и слабости войска Москвы,
о рязанских полках и полках понизовых.

О стадах, о садах, о медах в погребах,
об амбарах, гусярах, боярах, пожарах,
о хлебах, о рабах, о гробах, ястребах,
солеварях, товарах, базарах, татарах.

И о том, как устроен обряд похорон,
и особо о том, чем в стране недовольны,
обо всех, кто желает наследовать трон,
обо всем, что полезно для града Стекольны.

...По сто далеров в год запросив за труды,
позабыл про детишек и будущих внуков,
и бежал через Польшу от близкой беды,
и с насмешкой смотрел ему вслед Долгоруков.

Чтобы как-то найти через море пути,
чтобы где-нибудь в Нарве дожждаться парома,
чтобы год на пергаментный труд извести
и на шашни с женою хозяина дома.

Чтоб сверкнул и ударил короткий стилет,
чтоб на плахе размыкать последнее горе,
чтобы встал в кабинете учебный скелет,
потерявший печальное имя Григорий.

Последний год жизни бывший подьячий посольского приказа и одновременно бывший платный шведский агент Григорий Котошихин провел в качестве русского переводчика в Стокгольме. Очевидно, по поручению начальства создал подробный отчет об устройстве и обычаях русского государства. 25 августа 1667 года в пьяной драке убил хозяина дома, в котором жил, за что и был обезглавлен. Тело его было доставлено в анатомический театр, где при помощи проволоки его превратили в учебный скелет.

ГЕТМАН ПЕТРО СУХОВИЙ. АШПАТ-МУРЗА. 1669

Не каждый сможет в печь отправить образа,
не каждый мудростью сравним с эдемским змием.
Объявлен гетманом в Крыму Ашпат-Мурза,
в Полтаве звавшийся Петрушкой Суховием.

Не то, чтоб писарю давалась жизнь легко;
зато легенда есть, – хотя верна едва ли, –
что именно тебе соратники Сирко
то самое письмо султану диктовали.

Не разделишь порой хулы и похвалы, –
кто выбрал гетмана, – не выберет судьбины;
к тому же не похож на лук и две стрелы
твой полукрутный серп и тощих две дубины.

Взлетают над страной бунчужные хвосты,
и Крым твердит, слова умело подбирая,
что ты, мол, вежествен и всех разумней ты,
кто был присыльван к вратам Бахчисарая!

Порой забавен ход насмешливых веков,
и писарю побыть неплохо вышибалой.
На рынках у татар есть спрос на казаков,
но спрос и на татар у казаков немалый.

Поляки, москали, – у всех наточен меч,
что хуже – нехристи иль цадики пархаты?
Поди пойми куда сегодня лучше бечь,
уж если бечь нельзя до бабы и до хаты.

Паны передрались под громкий треск чуприн,
но чуть не четверти казачества желанен
стал, за Черкасами занявший Чигирин,
тот самый Суховий, тот гетман-мусульманин.

Но настает всему урочная пора,
светило не взошло, – да было ли светило?
Был гетманом Петро, – и вот уж нет Петра,
похоже, что ему харизмы не хватило.

Сколь ни обертывай теперь башку чалмой,
ни в чем не убедишь казачества лихого.
...Что в Крым откочевал – так, стало быть, домой,
что перешел в ислам, – а в этом что плохого?

Ну, словом, брысь к себе, боец Ашпат-Мурза,
над жалкой участью твоей не торжествую:
поскольку тот, кому выносят гарбуза,
обязан уважать культуру бахчевую.

После убийства Брюховецкого запорожцы, не желая присоединиться к гетману Дорошенко, вернулись в Запорожскую сечь и послали от себя к крымскому хану нескольких посланников. Хан очень обрадовался приходу запорожцев, принял их очень приветливо и, узнав, что они разошлись с Дорошенко, посоветовал им избрать своего гетмана и в самом Запорожье. Сначала желающего на этот пост долго не было, но потом высказал согласие бывший писарь Войска Запорожского, молодой двадцатилетний, но «умелый и ученый человек», Петро Суховий или Суховиенко. Суховий придумал себе печать, похожую на печать крымского хана, – лук и две стрелы, – и стал именовать себя гетманом Войска Запорожского, а так же написал письмо Дорошенко, называя себя гетманом ханского величества и приказывая Дорошенко не называть себя больше Запорожским гетманом.

В Запорожье к Суховиенко присоединилась одна часть войска – 6 тысяч казаков; тем временем другая часть признала гетманом Дорошенко и призвала его на левый берег Днепра для Черной Рады, обещая поломать стрелы Суховия своими мушкетами.

Но Суховий не отказался от идеи стать общепризнанным гетманом Запорожской сечи и написал хану письмо от имени «всего войска запорожского», после чего вместе с посольством от Запорожского коша отправился в Крым. Хан принял Суховия очень милостиво и приветливо, одобрил его планы и написал в Запорожье, что казаки никогда не присылали посольством таких мудрых людей, а потому просил и впредь присылать таких «умелых», как Суховий. <...>

Но недолго запорожцы и Сирко стояли за Суховием, еще совсем недавно, будучи на его стороне, они позже перешли на сторону Дорошенко. Тогда Суховий пошел к татарам, с которыми он так сблизился, что через время принял ислам и взял себе имя Шамай, или Ашпат-мурза.

СОКОЛИНАЯ ОХОТА.

1670

Сей гибельный раздрай почто на нас накликае?
Двоперстью ли грозить предписанной щепоти?
...Никиту Минина, известного как Никон,
прибрала бы судьба, чтоб не мешал охоте.

Три челобитные прислал, не взял посуду,
не по нутру ему царь Алексей Михальч.
Мол, вовсе не ходи с охотой на аркуду,
мол, отложи кибить да брось на свалку налуч.

Забава кречатя зело доброутешна,
глянь, прыснул дикомыт и мчит на шилохвостей!
А мних опять твердит, что власть царя кромешна,
сидит в монастыре и весь кипит от злости.

Друг прежний, сбобинный, ты шел бы на попятный!
Молился б лучше ты, иль врачевал болезни,
коль убедил себя, что, мол, равно отвратны
аргиши, сиверги, томары или срезни.

Ты, старый, на жидов идешь войной хоробро,
как совесть, горестно пророчишь и бормочешь,
глядишь вослед царю и шуришься недобро,
на перестрел-другой подвинуться не хочешь.

Забыть бы о тебе или послать удавку,
иль лучше в Пустозёрск отправить, на задворки,
покуда балабан еще не сделал ставку,
взыскуя селезня, а лучше бы тетерки.

Отрадны холода, да только слишком близки,
веселье царское кончается, как книга,
охота хороша, да только сохнут прыски,
и в оных больше нет добычи для челига.

Гроза на монастырь надвинулась остатне,
невидимо вокруг кипят смола и сера,
которыми грозит царевой соколятне
свистящею стрелой расколота вера.

Пусть обвинения жестоки и взаимны,
но им отмерен век, до странности недлинный:
лишь тропари гремят, и слышатся прокимны,
и память вечная охоте соколиной.

И зѣло потѣха сія полевая утѣшает сердца печальныя, и забавляет веселіемъ радостнымъ, и веселит охотниковъ сія птичья добыча. Безмѣрна славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утѣшительна и челига кречатья добыча. Угодительна же и потѣшна дермлиговая переласка и добыча. Красносмотрительно же и радостно высокова сокола летѣ. Премудро же челига соколя добыча и летѣ. Добровидна же и кощова добыча и летѣ. По сих же доброутѣшна и привѣтлива правленыхъ ястребовъ и челиговъ ястребыхъ ловля; к водамъ рыщеніе, ко птицамъ же доступаніе. Начало же добычи и всякой ловле – разсужденія охотникова временамъ и порамъ, раздѣленіе же птицамъ в добычахъ. Достовѣрному же охотнику нѣсть в добыче и в ловле разсужденія временамъ и порамъ: всегда время и погодье в поле.

«Книга, глаголемая Урядник: новое положение и устроение сокольничьего пути».

О пристрастии царя Алексея Михайловича к соколиной охоте говорит «Книга, глаголемая Урядник: новое положение и устроение сокольничьего пути». Она была написана в 1656 году по указанию царя и при его ближайшем участии. <...> Через десять лет с патриарха Никона был снят патриарший сан. Местом его ссылки назначили Ферапонтов монастырь на Белоозере. <...> Из Кириллова монастыря Никону присланы по другой его «росписи» необходимые для его келейного обихода вещи: «А в росписи ево написано. Надобно ему, Никону, в келью котел медной ведра в полтора луженой, воронка медная же в полведра, яндова медная в полведра же...» <...> но он, как писал С. Наумов, все отослал назад «неведомо для чево». Ссылка длилась до самой смерти царя. Почти все, что присылал ему царь, Никон, некогда «собинный» его друг, отказывался принимать, говоря: «Вперед еще мало потерплю, а если по договору ко мне государской милости не будет, то я по прежнему ничего государева принимать не стану и перед Богом стану плакать и говорить те же слова, что прежде говорил с клятвою».

ПАРФЕНИЙ ТОБОЛИН. СОКОЛЬНИК. 1670

Сокольник, ястребник, подлазчик да подлѣдчик,
как «Отче наш» усвой, что ныне говорю, –
привыкни зверя гнать среди болот и кочек
и в поле выставить, и выстрел дать царю.

Бояре, и князья, и отроки, и гридни
съезжаются на лов в охотничьем пылу;
чем яростнее зверь, и чем он страховидней,
тем более царю пригоден под стрелу.

Ни в пущах, ни в лугах добыча не иссякнет,
приучен царский двор к охоте верховой,
а если сокол твой в полете утю мякнет,
горлатну шапку жди за подвиг таковой.

Владыка – человек, и не лишен привычек,
но не исчезь забот, что на царе висят.
По сорок кречетов пером несет помытчик,
да не хватило бы и дважды шестьдесят!

Господь оборони внимание ослабить,
не только соколу потребен острый глаз,
статейничий следит, чтоб не мешали вабить,
челиг вынашивать обязан всякий час.

Борзятню уважай, выжлятнею не гребуй,
обязан быти псарь с собаками хорош,
уменью вящему ты уваженья требуй,
когда медведицу осочивать идешь.

Да, медеянский пес – владыке дар хороший,
особо, если тот не старше двух годов.
Боярин бьет челом и знатной сукой лошьюей,
добавя зуб морской на несколько пудов.

Прощайся, лисовин, с роскошной шубой лисьей!
Зверье укосьлять напрасно тщится в дебрь,
за тридевять ворон беги от хищной рыси
и не ходи туда, где спит косматый зебрь.

«Бобра в России нет», – писал голландец некий,
отвадить мня купцов от нашего добра, –
«чтоб полевать могли царевы человеки,
везут из Гамбурга достойного бобра».

Тот немец знатно врет, мол, им добыта шкура,
дан все-таки язык на что-то богачу,
на то ответь ему, что хаживал на тура, –
проверить некому, а я не уличу.

...Однако новый век неумолимо жёсток,
ничто не ладится, страны печален вид,
а новый государь, еще почти подросток,
сравняться с прадедом охотой норовит.

Царь собирается на Тульскую охоту,
садится на коня, прощается с Москвой,
но вскорости придет пора платить по счету,
и оспа, и зима, и камень гробовой.

И позади мѣста урежаеть потсокольничей, и велить поставить столъ и покрыть ковром, и с начальными сокольниками на столъ кладеть и урежаеть наряды птичьи нововыборного и нововыбранного нарядь. И уставляеть птицы нововыбранного около стола в рядовомъ наряде. А держать ихъ всѣхъ статей рядовые сокольники 2-е по росписи: I статьи, Парфенья Яковлева, сына Таболина <...>

«Книга, глаголемая Урядник: новое положение и устройство сокольничьего пути».

Царь Алексей Михайлович пишет: «Ходили мы тешиться с челигами, а с кречеты посылали в Тверские поля сокольников, Парфения Тоболина с товарищи, и в Тверских полях Парфеньевы статьи кречет Нечай добыл коршака...»

Самое первое упоминание о деревне, находившейся рядом с погостом Николо-Гнилуши, и носившей название Хомьяново, относятся к середине XVI века. В писцовых книгах Московского государства 1577 года говорится так: «за Марьей Крымовой женой Тоболина, вотчина д. Хомьяново, в устье р. Сетовки». По приправочным книгам 1578 года деревня числилась, как старая вотчина Тоболиных. <...> Через сто лет деревня Хомьяново продолжала оставаться во владении Тоболиных. В 1670 году ею владел Парфений Яковлевич Тоболин.

...9 ноября 1729. Его Царское величество возвратился сюда с охоты в полном здравии. Он очень высок и силен для своих лет. <...>.

12 января 1730 г. С прошлого четверга Его Царское величество заболел и опасаются, как бы у него не открылась оспа. Ходят даже слухи, будто она уже и обозначилась.

Москва, 19 января 1730 г.

<...> Позвольте уведомить ваше превосходительство, что Его Царское величество скончался 8 января между двенадцатью и часом утра.

Томас Уорд

КНЯЗЬ ЮРИЙ БАРЯТИНСКИЙ. БОГ ВОЙНЫ. 1671

Не был мягок особо и не был жесток,
но по жизни носим, будто ветром полова,
то на юг до Олешни, а то на восток,
то на север, до самого города Шклова.

Не тревожил Москву никакой хохлован,
но отравили князя прищучить холопа,
ибо рыпаться начал предатель Иван,
славозвисный Выговский, герой Конотопа.

Впрочем, этот убрался от Киева геть,
но войною на Киев полез голоштанник,
Костянтин, горе-гетман, сплошная камедь:
то ли брат, то ли уйчич, а может, племянник.

Это был и не то чтобы полный кретин,
но никак не годился на роль воеводы,
так что шустро от князя сбежал Костянтин,
побросав буздыган и другие клейноды.

Но случился под Чудновым полный звездец,
улыбнулась фортуна предателям-братцам.
Приказал Шереметьев, не лучший боец,
вскинуть лапки и Киев оставить поляцам.

Князь ответил: «Я сам разберусь в старшинстве,
никому не давать бы подобных советов.
Я царю присягал, ну, а царь на Москве:
я не вижу в упор никаких Шереметов!»

Обе стороны льют на противника грязь:
не убивши гадюку, а разве что ранив,
в перспективе выходит, что попросту князь
недостаточно скальпов содрал с хохлованив.

Ну, с поляками ясно, с хохлами – почти;
все подробности тут приводить не рискую,
только князю пришлось по кривому пути
снаряжаться опять на толпу воровскую.

Бивший гетманов разных и всяких Сапег,
князь опять оказался в бою безотказен:
был из Разина, видно, поганый стратег,
и продул, все что мог, незадачливый Разин.

Только службы, не более, требует царь.
На хоругвях победу московскую вытказ,
князь недолго возился со скопищем харь,
и всего за полгода добил недобитков.

Слава быстро проходит, судьба такова:
в палачи попадешь, изловив горлопана;
в Оружейной палате лежит булава,
и куда-то засунули череп Степана.

Обреченный чинить раздираемый строй,
полководец, заступник и божий ходатай, –
удалился в века неудобный герой,
из российских анналов бездарно изъятый.

Безразличие истину тянет ко дну,
справедливости нет, хоть признаться и тяжело, –
от того, кто спасал эту дуру-страну,
не желает отстать клевета-неваляшка.

ЮРИЙ КРИЖАНИЧ В ТОБОЛЬСКЕ. 1672

Кто в былое стреляет из малой пистолы,
на того из грядущего смотрит пищаль.
Ты на хвост не насыплешь минувшему соли,
глядя в прошлое, острые зубы не скаль.

Царь меняет к обеду за ферязью ферязь,
остывает пирог, выдыхается хмель,
а Крижанич, в Тобольск упеченный за ересь,
рассуждает о воинствах русских земель.

Спит Европа, беды на себе не изведав,
не боясь самопалов, мортир и фузей,
хоть противиться даже войскам самоедов
не сумели бы ратники прусских князей.

Описания медленным движутся ходом,
не спешит никого осуждать униат, –
не любое оружие годится народам,
но потребны дамаск, аль-фаранд и булат.

Вот на них-то и ставят в боях государи,
сколь ни дорого, но покупай, не мудри,
будет поздно, боец, вспоминать о кончаре,
в час, когда над тобой засвистят кибири.

О штанах и о шапках заботиться надо,
и о множестве самых различных одёж –
ибо мало бойцов погибает от глада,
но от хлада любой пропадет ни за грош.

Познаются уроки на собственной шкуре,
ключ грядущих удач не лежит в сундуке.
...Пишет книгу свою рассудительный Юрий
на понятном ему одному языке.

Бедолагам всегда не хватает обола,
и уж вовсе не стоит пускаться в бега, –
крепко узника держат низовья Тобола,
снеговые дуга и глухая тайга.

Только в ссылке и можно работать в охотку,
сочинять, суеты избегая мирской,
там не надо садиться в харонову лодку,
что плывет в океан ледяною рекой.

Потерпи, и однажды помрет истязатель,
семь с полтиной – не больно-то страшный удел,
где была бы Россия, когда бы писатель
не скитался по ссылкам, в тюрьме не сидел?

Что за странная нота звучит, как звучала,
что за долгие ночи и краткие дни?
Может, вовсе и нет ни конца, ни начала?
Может, только и есть, что одни лишь они?

ЦАРИЦА НАТАЛЬЯ.

1672

Весь очеканен узором затейным,
в горницу плавно плывущий сосуд,
блюдо капусты великим говейном
слуги великой царице несут.

Ныне к еде не положено соли,
квасу нельзя, а не то что вина,
и причитается миска, не боле,
каши, что сварена из толокна.

Квашено чем-то моченое что-то,
кушай, царица, молитву прочтя.
В страхе – в ознобе, и, взмокнув от пота, –
слуги твои уповают на тя.

Повар, да что ж ты наделал, каналья,
вызвал на головы нам молонью:
не пожелает царица Наталья
есть непотребную кашу сию!

Шепчутся знатные вдовы умилно,
и состраданья полны, и любви:
ну, тяжела ты, Наталья Кирилна,
матушка, только царя не гневи!

Это великое благо, послушай,
то, что постимся мы в зимние дни, –
скушай, царица, хоть что-нибудь скушай,
гнев от холопов своих отжени!

«Нет уж, в подробностях всё растемяшу,
рано пока рассуждать про тюрьму,
только за эту поганую кашу
вас непременно я к ногтю возьму.

Вспомню и трусов, и жмотов, и скаред,
вся-то заходит страна ходуном,
кашу еще не такую заварит
мальчик, рожденный в дворце Теремном!..»

АТАМАН ИВАН СИРКО. ХАРАКТЕРНИК. 1680

От крестин до венца и до смертного ложа
то ли вечность, а то и не так далеко.
Из картины торчит длинноушая рожа:
полюбуйтесь, враги, на Ивана Сирко.

Он – то ссыльный полковник, то грозный соперник,
он – то мальчик зубастый, то страшный кулак,
знаменитый воитель, казак-характерник,
победитель татар, атаман-волколак.

Не возьмешь ты его ни тишком, ни нахрапом,
не готовь ему камеру в черной тюрьме,
не услужник полякам, тем боле – кацапам,
но всегда неизменно себе на уме.

Он от вечного боя не ждет передыху,
он живет на коне, – лишь копыта стучат.
Он жену охраняет, как серый волчиху,
и детей бережет, будто малых волчат.

Потому умирать и не хочет вояка,
что еще не добит окаянный осман.
Может, кто тяготится судьбой волколака,
но доволен такою судьбой атаман.

Истребленья волков не допустит Всевышний,
приказавший татарское горло разгрызть.
Пусть в Сибири бессильно гниет Многогришный,
но потомков спасет атаманова кисть.

Поражений не знавший за годы скитанья,
кошевой янычарам – что шкуре клеймо;
так пускай обчитается сволочь султання
матюгами и прочим, что впишут в письмо.

Пусть поселится ужас в нахлынувших ордах,
чертомлыцкое войско пойдет вперекор,
чтобы выли полки янычар плоскомордых,
убираясь в пустыню к себе за Босфор.

Обозначено место, и вытянут жребий,
на потомков своих справедливо сердит,
сей герой, вознесенный над стадом отребий,
скаля зубы, как волк, разъяренно глядит.

Скалит зубы на силы татарского юга,
тяжело содрогается вражеский стан,
на который взирает с Великого Луга
знаменитый Сирко, православный шайтан.

ПАТРИАРХ НИКОН. КОТОРОСТЬ. ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 1681

Много ль схимнику надо?.. Говей не говей, –
всё равно не отменишь последнего часа.
Потихоньку подкрался *Михей-тиховей*,
подождать отказавшись до третьего спаса.

Что-то больно уж много веселья вокруг,
что-то больно уж тяжело плывет домовина.
Это – Которость, это спускается струг,
чтоб по Волге доставить в столицу мордвина.

Он сегодня последнюю встретил зарю,
и последнюю нынче додумает думу,
и всего-то полгода осталось царю,
и всего-то полгода еще – Аввакуму.

Светел день, но отходную время прочесть:
для того и распахнута вечная Книга.
Человеку исполнилось семьдесят шесть,
и псалом утверждает торжественность мига.

А в Москве-то в Кремле растревожился двор,
а в Москве-то дрожат по углам доброхоты,
а в Москве-то готовится земский собор,
и сплошные о воинстве русском заботы.

... В Цареграде с султаном торгуется дьяк,
бедолага: поди, помирает от страха,
а Господь наказал тех султанских бродяг,
что свели патриарха в простого монаха.

Ну же, Господи, ну, поскорее ударь!
Слишком мало в державе осталось святого,
и совсем уж становится слаб государь,
и династия вовсе угаснуть готова.

Отступает душа в непросветную тьму,
и судьбы таковой не бывает мизерней.
День почти отошел, и вдали потому
в Ярославле уже зазвонили к вечерне.

На темнеющий запад плывут облака
над расколотой надвое плоской страной,
но не в Лету сегодня впадает река,
а напротив, – неспешно впадает в Эвную.

Холодеет усталое сердце в груди,
и стирается грань между тайным и явным,
завершается жизнь, и теперь впереди
лишь забвенье о мелком, лишь память о главном.

...И августа 16 дня порану достигшимъ имъ монастыря Пресвятыя Богородицы, иже есть ва Толгѣ шесть поприщъ имуще отъ града Ярославля, за полпоприща же монастыря того и тутъ Блаженный повелѣ пристати ко берегу, понеже бо отъ скорби вельми изнемогая, и причастися тутъ святыхъ и Пречистыхъ Тѣла и Крови Христовы запасныхъ Великаго четвертка Тайнъ отъ руки своего Духовнаго Отца Архимандрита Никиты Кириллова монастыря. <...>

Вечернему убо часу приспѣвшу, егда же во градѣ начата къ вечернему пѣнію благовѣстити, нача Блаженный Никонъ конечнѣ изнемогати и озираюся, яко бы видя нѣкихъ пришедшихъ къ нему, такожь своима рукама лице и власы и браду и одежду со опасеніемъ опрятovati, яко бы въ путь готовился; Архимандритъ же Никита и братія и присланный діякъ видя Блаженнаго конечнѣ дышающа, начата исходное послѣдованіе надъ вими пѣти. Блаженный же возлежъ на уготованномъ одрѣ, давъ благословеніе своимъ ученикамъ, руцѣ къ персемъ пригнувъ, со всякимъ благоговѣніемъ п въ добромъ исповѣданіи, благодаря Бога о всемъ, яко во страданіи теченіе свое соверши, съ миромъ успе, душу свою въ рунѣ Богу предаде, Егоже возлюбилъ. Отъ житія сего отъиде въ вѣчное блаженство въ настоящее лѣто отъ созданіи мира 7189 (1681 г.) мѣсяца августа въ 17 день.

Иподиакон Иоанн Шушерин

Несколько слов о реке Эвное – реке памяти. Насколько я знаю, сведений об этой реке в трудах античных авторов, включая Вергилия, до нас не дошло. Однако она появляется у Данте. Не исключено, что Эвною Данте почерпнул из источников, до нас не дошедших. Конечно, возможно, что он ее придумал, но есть косвенные факторы за то, что такая река всё-таки была. Известна склонность человечества к антиподам: если есть река забвения, Лета, то должна быть и река памяти – Эвная.

Гиви Чрелашвили

АЛЕКСЕЙ ЛОДЬМА СТРЕЛЕЦ. ПУСТОЗЁРСК. 1682

Лихо годы летят, как собачьи упряжки,
посмотри за воротца, далёко ль отсель
нынче безымень бродит того Никиташки,
и того, кто умрет через пару недель.

Огорчений немного и мыслей негусто,
лишь плывет от кострища недавнего дым.
Пустозёрское место содеялось пусто,
хоть и ясно, что сделалось местом святым.

Враг, поди, богомолен, и тоже распятем
осенен, потому-то и чует беду, –
это надо же быть под которым проклятьем,
чтобы ранее смерти скитаться в аду?

Вот и ползает пусть от погоста к погосту,
даже летом пускай остается во тьме, –
ведь анафему пастырь занес на берёсту,
потому как не всем разживешься в тюрьме.

Нешто жалко, что нет воздаянья поступку,
но бессмертие жизнью оплачено всей,
потому как муку и овсяную крупку
из Мезени возил ты сюда, Алексей.

Что за сила сыскалась в тебе, в христолюбое,
и такое сознание святой правоты?
Быть бы пятым тебе в польхающем срубе,
если с этим гостинцем попался бы ты.

Только верному псу и не надобно порска,
он летит и не ведаёт прочих затей, –
а на небе пылаёт костер Пустозёрска,
указуя дорогу к спасенью детей.

Нынче сердце стрелою пробито навывлет,
только горестей дольних незримы следы;
сколь ни пыжься Москва, все одно не осилит
по весне зарубившей печорской воды.

А вода и сама как придет, так отыдет:
у людишек не жизнь, а одна колгота.
Это что же за власть, что себя же не видит,
и творит из пустыни святые места?

Горе горькое радости служит причиной,
и, сияя для всех от печорской страны,
над землею висит негасимой лучиной
пустозёрский пылающий куст купины.

Стрелец Лодьма, как удастся выяснить, это тот самый брат Алексей, в доме которого до «казни» 1670 г. встречались по ночам пустозерские узники. Из еще одного документа Новгородского приказа мы узнаем, что имя пустозерского стрельца Лодьмы было Алексей. Благодаря этому проясняется контекст письма дьякона Федора к семье Аввакума, письма, по которому и известно давно о пустозерце Алексее и его доме. Федор благодарит Марковну за «запасец» («крупки овсяные и яшные»), который она прислала с неким Лодьмой ему и протопопу Аввакуму, и продолжает: «Мы з батюшкой ис темницы нощию... вышли к брату Алексею в дом и тут побеседовали... и запасу мне отец половину отделил – крупы и муки». Становится ясно, что Лодьма и брат Алексей – одно лицо и что привезенную крупу с мукой делили в его доме. Несколькими строками ниже дьякон просит Марковну «всякую посылку» для них присылать к Лодьме.

ПЕТР ХМЕЛЕВ. АЛБАЗИНСКИЙ ОСТРОГ. ТРЕКЛЯТАЯ ЧЕЛЮСТЬ. 1690

На стяге третий век парит двуглавый кочет,
и в небо не глядит страна,
немотствует она и вспоминать не хочет
про темный день Албазина.

Торжественный дракон, великий соглядатай,
волной тяжелой грохоча,
внимательно следит, как бьет маньчжур косатый
российского бородача.

Одумайся, казак, одумайся, ламоза,
ужели супостат еси,
серьезная ли ты, подумай сам, угроза,
войскам бессмертного Канси?

Ужели не поймешь, что очутишься к лету
рабом маньчжурских образин?
Ужели защитит дерзаешь крепость эту,
острог убогий, Албазин?

С правобережья враг поглядывает хмуро,
а ну, казак, давай лытай,
притом проваливай не только что с Амура:
вали в Россию за Алтай!

Здесь ни к чему скрижаль российского закона,
китайцы знают испокон
историю о том, как Белого Дракона
здесь Черный одолел Дракон.

Где сланец, где порфир, где взгорье, где низина, –
война за каждый клоч земли.
Полсотни казаков в Пекин из Албазина
с собой маньчжуры увели.

И вырваться домой не чая и не смея,
не в плен попавши, а впросак,
в треклятой челюсти пылающего змея
сибирский станет жить казак.

Глядишь в минувшее, – да и не вяжешь лыка.
В грядущем – не видать ни зги.
Теперь женись, казак, теперь из Ханбалыка
и шагу сделать не моги.

Пройдет и год, и два, а там и пять, и десять,
но оставайся начеку:
на родине тебя согласны лишь повесить,
притом на первом же суку.

...Во тьму уходит даль, речная и лесная,
судьба стирает имена,
и с запада плывет, бывшее пеленая,
шекспировская тишина.

Кончается рассказ, противится натура,
но в кратких строчках сберегу
непрожитую жизнь на берегу Амура
и смерть на том же берегу.

...И ныне я, холоп ваш, будучи в такой треклятой челюсти, молю всещедрого Бога и вашего государевского жалованья я, холоп ваш, к себе, чтоб освобождену быти ис такие мне, холопу вашему, погибели.

Петр Хмелев

История албазинцев и письма Петра Хмелева хорошо известна. Интересно, что один из русских послов на обращение албазинцев с просьбой вывезти их в Россию ответил им примерно следующее: «Вас следовало бы вывезти в Россию для того, чтобы повесить».

СТОЛЬНИК ПЕТР ТОЛСТОЙ. МАЛЬТА. 1698

Море синее – *под*, небо синее – *над*.
Здесь такая жара, что не видишь чудес ты.
Здесь июля конец, и один *лимонат*
позволяет не сдохнуть во время сиесты.

Гордых рыцарей тут – что в подвале крысят,
не исчезь ни одних, ни других среди ночи.
До Барбарии тут лиг, поди, пятьдесят,
а в *Цицилию* плыть – так еще и короче.

Слишком много российскому пици уму,
и непросто ползти сквозь кипящее лето,
полагая, что *Малта* – название тому,
что на Мальте всегда называлось *Валлетта*.

Нет сомненья, что остров велик лепотой,
пусть в Россию охота уже до зареза.
Но приказа царя не нарушит Толстой
и живет на заезжем дворе «Долорезо».

Приглашает великий магистр ко двору,
и прием велелепен зело и торжествен,
и к обеду зовут, несмотря на жару,
а обед и богат и весьма многоествен.

В тот собор, где хранятся частицы мощей,
без магистра, глядишь, не пустили и близко б,
между тем созерцанья предивных вещей
удостоил Толстого латинский епископ.

Может, хуже – замерзнуть в сибирской тайге,
но одобрит ли царь, если будет зажарен,
а точнее сказать, – испечен в очаге
государев посланник, российский боярин?

Все, кто числят отчизной ту жаркую печь,
прилежат католической вере единой.
Там у быдла в устах тарабарская речь,
а монаси беседуют только латиной.

Примечателен крест на мальтийском гербе,
и большое на острове том любочестье,
и хорош этот край, но не сам себе:
поместил его Бог на неправильном месте.

Был достоин бы самых великих похвал
этот остров, приют благодати огромной,
если б он, не тревожим ничем, почивал
под Калугой, Рязанью, Мологой, Коломной.

Удивительна этого града краса,
но куда бы утешнее русскому вкусу,
чтобы крепости сей водвориться в леса
под Елец, или Брянск, или Старую Руссу.

Чтоб на рыцарей дивный сошел угомон,
и являл бы тот остров благую картину,
а у нас бы росли апельсин и лимон,
и чтоб жители *Малты* забыли латину.

Но дорога в грядущее снова темна,
но вокруг континента довольно вертеться,
и уже за кормою почти не видна
столь приятная сердцу морская фортеца.

Интересная деталь: Петр Андреевич Толстой приходился прапрапрадедом и А. К. Толстому, и Л. Н. Толстому.

**ФРАНЦ ЛЕФОРТ.
GAVOTTE MACABRE. 1699**

Второго марта кончился табак,
смерть проплясала нечто вроде танца.
Судьба в загробный завела кабак
упившегося адмирала Франца.

Кто виноватым сроду не бывал,
тот, в общем, не обязан и молиться.
Уж лучше дать веселый карнавал,
чем тратить капитал на словолитца.

Зачем лечить, коль скоро это тиф?
Работал гробовщик куда как споро,
под сорок залпов душу отпустив
князь-папы всепьянейшего собора.

Царь, безусловно, дорожил людьми,
и боль утраты в нем не умирала.
Сынок Анри, тем паче брат Ами
отнюдь не заменяли адмирала.

Годов неполных сорока шести
не думал он, что песенка допета,
но был обязан все-таки уйти
под музыку старинного квартета.

Соратников не разглядеть в толпе,
безличье задевает за живое.
К тому же больше никаких супё,
и смерть такая неприятна вдвое.

Зато и болтовни на столько лет,
и столько мыслей каждому умишку:
кто погребен, а кто как будто нет,
и кто украл с его могилы крышку.

С тех пор немало водки утекло,
но мертвецу во хмель войти непросто,
и адмирал гуляет тяжело
в ночной тени Введенского погоста;

Начала нет и, значит, нет конца,
уходит в никуда тропа кривая,
и призрак смотрит из окна дворца,
скотопрогонный тракт обозревая.

САМЫЙ КОРОТКИЙ ГОД. ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. 1699

Господи, Господи! Боже ты мой!
Русь поприветствовал новою датой
год семитысячный, двести восьмой
(он же шестьсот девяносто девятый).

Кто бы представил, помимо царя,
чем на великой Руси отзовется
день разрешенной ухи из угря,
день Симеона, день Летопроводца?

День для того, чтоб солить огурцы,
чтобы под вечер поддать, отдыхая,
чтоб никуда не летели скворцы,
чтоб нагадалась погода сухая.

...Осень, опять начинается год,
номер меняйте, а святцы не троньте:
завтра – Руфина, а с ней – Феодот,
также и сын их – овчинник Мамонтий.

Следом Анфим, и еще Феоктист,
двое Вавил, а потом Афанасий,
тот, что ухой неизменно душист
щучьей, лещачьей, судачьей, карасьей.

Только все более пусто в лесу,
холод под утро все более злобен,
вот – листопад, и совсем на носу
месяц декабрь, а по-русски – ознобень.

Тяжко скрипят ветряки на ветру,
чертовы мельницы мелют скелеты.
Только плевать государю Петру
на древнерусские эти приметы.

Хватит по пьяни писать кренделя,
царствие лучше возьмем да отметим
чем-нибудь, чтоб загудела земля, –
круглым числом, то бишь новым столетьем!

Месяцы мчатся, друг друга тесня,
тысячелетняя бездна разверста
от Симеона, рябинного дня,
и до куриного дня Селиверста.

Странно, загадочно, вовсе темно,
право, такое возможно ли в мире:
месяцев быть бы двенадцать должно,
а оказалось всего-то четыре.

И вопрошает народ неспроста:
нешто такое бывало дотоле?
Праздновать можно ль рожденье Христа,
ежели аспид сидит на престоле?

Год на санях проскользил к декабрю,
вот, наконец, и озноб, и простуда,
и узнавать неохота царю
что, и куда, и зачем и откуда.

Царь уступать никому не привык,
он и к пожару готов, и к потопу,
у государя особый салтык –
он загоняет Россию в Европу.

Хватит шушукаться, русский народ, –
перекрестись, поклонись и работай, –
да и запомни, что нонече год
тысяча, боже ты мой, семисотый.

МАЗЕПА В БЕНДЕРАХ.

1709

Дела у гетмана невероятно худы.
Не верится, сколь он бывал великолепен!
Ребром, в котором бес, и орденом Иуды,
и много чем еще отмечен путь Мазепин.

В той Варнице полно медов да винограду,
что пахнут мухами – на то роптать навищо?
Мазепа здесь живет, просравши ретираду,
и близкой смерти ждет, развесивши ушища.

Зачем ему казна, с которой он удрал?
Он держит золотой, из бочки оный вынув,
с ним что на крышу лезть, что укладаться на пол,
когда за семьдесят, – уже не до цехинов.

Соратники сидят, как куры на насесте,
горюя, что война ще даже не почата,
а гетман пыжится и потребуе мести,
турбуясь за свои тяжелые бочата.

Он шуйцей обнимал ту Мотрю, что Мария,
сто тысяч крепостных десницею облапив:
и теплилась в душе наисолодша мрия:
навидавшись в Москву, побить усих кацапив.

Страшися пуговиц, король холодной Сверье!
Коль с левой встал ноги, то все не слава богу,
коль даже у своих утратил ты доверье,
безглуздо уповать на свейску допомогу.

А королю конец: он скоро сломит шею
и в битве с турками утратит кончик носа,
под пули датские полезет он в траншею
и боле не задаст ни одного вопроса.

Проходит снизка дней безрадостных и серых,
перед грядущим страх, пересыхает в глотке;
казаки сердятся, – зачем ты, гад, в Бендерах
серебряные все распродал сковородки?

Кто поумнее, тот ховається в вертепы,
за дело гиблое бессмысленно сражаться.
Вот осень на дворе, и больше нет Мазепы,
и скоро тронутся подводы до Галаца.

История не то, что мы сегодня строим,
а то, чем мы потом историкам потрафим, –
кто через триста лет запишется героем,
не станет размышлять про несколько анафем.

И ураган, и гром, и бесконечный ливень,
народ возликовал и буйствует призывно,
апофеоз судьбы – купюра в десять гривень,
пусть это и никак не золотая гривна.

Не порти праздника, не лапай маскарада,
гордыню прибири, и скатертью дорога!
Ликует все страна, твердя, что эта зрада –
высокоякисна чудова перемога!

ИГНАТ НЕКРАСОВ. ЗАВЕТЫ. 1710

Жизнь людская, – а что на земле мимолетней?
Сколько правил вмещает великий наказ?
Их сто семьдесят было, осталось полсотни.
Четверть тысячи лет, как не сдался Некрас.

Этим правилам внуки последуют слепо,
не на всех напасутся цари домовин,
и неважно, что сгинул предатель Мазепа,
и убит благородный Кондрат Булавин.

Эти правила кратки, понятны и строги:
все отрублено в них, будто шашкой сплеча.
По Батыевой к югу помчатся Дороге
казаки на крылах ледяных бахмача.

...Никогда не чиня умышления злого,
казакам казаки доставляют приют,
ибо Кругу приносится первое слово,
и последнее слово ему же дают.

Навсегда остается казак старовером,
кто моложе, тот слушать должен старика,
не зорно стрелять по москальским аскерам,
но избави Господь застрелить казака.

Всей станице поближе держаться друг к другу,
не держать ни тюрьмы для своих, ни шинка,
друг за другом следить и докладывать Кругу,
уходить, если близко царева рука.

Если кто обнищает, вконец обесплодев,
да и если состарится вовсе не вдруг,
если болен, безумен кто, или юродив, –
и о том казаке позаботится Круг.

Атаман и казна подчиняются Кругу,
ну, а Круг – только Богу и только судьбе,
так что если, казаче, тыловишь белугу,
только третью белугу оставишь себе.

...Наплодила Москва палачей и придурков,
только голос подашь, да и сразу куку.
И приходится жить казаку среди турков,
ибо некуда больше идти казаку.

Видно, жирную варит Москва чечевицу,
но не все хорошо и в турецком доме:
здесь какой-то подлец опозорил станицу,
продал пушку Игната невемо кому.

Время лечит, подробности скрыты во мраке,
но и турку не взять казака на износ.
А в окошко глядит вместо близкой Итаки
птичье озеро, сонный и синий Майнос.

Беспредельно упрямство, да жизнь бедновата,
начинается год, и кончается год,
и проносится мимо потомков Игната
бестолковых столетий босой карагод.

ЕФИМ НИКОНОВ.
ПОТАЕННОЕ СУДНО. 1721

Омудевая бочка – пленительный штрих!
Проследим, неудобную тему затронув:
на российских морях много баб-Бабарих
и значительно меньше прекрасных Гвидонов.

Но зато у холопа открыта душа
нараспашку, навывлет, навывнос, навывлаз:
за сто лет до Левши подмосковный Левша
положил смастерить для царя «Наутилус».

У царя на уме Амстердам и Париж,
он и сам-то отчасти кустарь-одиночка.
Потаенный корабль для него мастеришь,
а выходит опять омудевая бочка.

Тут все та же проблема простых россиян,
собираешься шапкой побить супостата,
штурмовать собираешься остров Буян,
а выходит – не можешь доплыть до Кронштадта.

Если царь из-за моря привозит горилл,
то страна превратиться грозит в обезьянник,
и неважно, какой ты корабль мастерил,
потому как получится только «Титаник».

Неприменно какая-то грянет беда,
угадать-то легко, но избавиться трудно.
Потаенные сколько ни строишь суда,
получаются лишь потаенные судна.

Будет лезть и советовать каждый ханжа,
не дадут тебе дело исполнить благое.
Для шпаклевки попросишь ты жира моржа,
но моржовое что-то получишь другое.

Царь не ждал, не гадал, но навеки задрых,
он совсем и не думал о смерти дотоле,
а толпа упомянутых баб-Бабарих
утвердилась надолго на русском престоле.

Бабариха – она из крутейших бабуль,
авантюр не желают подобные бабы,
и выходит, что лодка сказала «буль-буль»,
и поди докажи, что поплыть бы могла бы.

Расхреначат те бабы державу к хренам,
и не только к хренам, рассуждая по-русски.
Не плывет твой корабль по морям, по волнам,
а плывет он туда, где зимуют моллюски.

Тридцать третье несчастье, невзятый разбег,
осрамившийся ген и облом хромосомы,
незадачливо тонущий Ноев ковчег,
неизвестно куда злополучно несомый.

Но зато в глубине, выплывать не спеша,
отчего-то с улыбкой весьма нехорошей,
ухватясь за штурвал, торжествует Левша,
удалой капитан деревянной галоши.

1719 году безграмотный 29-летний крестьянин из подмосковного села Покровское-Рубцово Ефим Прокопьевич Никонов подал «написанную за малую мзду» челобитную на имя Петра I. В ней сообщал, что «сделает он к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море в тихое время будет из снаряду забивать корабли, хоты бы десять или двадцать и для пробы тому судну учинит образец, сколько на нем будет пушек, под потеряннем своего живота, ежели будет неудобно». <...> В конце января 1721 года строительство судна-модели было в основном закончено, а в марте Никонов лично доложил об этом Петру I. Но испытания задержались и были проведены только поздней весной 1724 года на Неве. На площадке испытаний, кроме царя, присутствовали ответственные чиновники адмиралтейства и адмиралы. Ефим Никонов отвесил всем поклон, перекрестился и спустился в люк своего «потаенного судна». Началось погружение лодки. Неожиданно для всех, в том числе и для Никонова, лодка быстро провалилась на глубину и от удара о грунт дала течь и стала наполняться водой. Петр I лично организовал спасение изобретателя и его судна. Веря в

идею «потаенного судна» и понимая, что удачи приходят не сразу, Петр объявил всем присутствующим, чтобы изобретателю «никто конфуза в вину не ставил». <...> Уже после смерти Петра Великого, в апреле 1725 года в присутствии президента Адмиралтейств-коллегии генерал-адмирала Ф.М. Апраксина были проведены повторные испытания «потаенного судна». Трижды Ефим Никонов погружался в воды Невы, но каждый раз вынужден был всплывать на поверхность: «... пробовано-жь трижды и в воду опускаivano, но только не действовало за повреждением и течьюкою воды». <...> 29 января 1728 года в Адмиралтейств-коллегии было принято решение о прекращении работ над «потаенным судном». Никонов был разжалован из мастеров в рядовые «адмиралтейские работники» и сослан в Астраханское адмиралтейство, где в это время строились корабли для Каспийской флотилии, «с прочими отправляющимися туда морскими и адмиралтейскими служителями под караулом».

ИВАН ПОСОШКОВ. УСТРОЙСТВО МНОГОКОБЗОВИТОЕ. 1724

Причина скудости давно известна,
она чужда для духа московита,
засим пора обследовать словесно
благоустройство многокобзовито.

Гляжу на море, пребываю в думах:
суда гостей торговых режут влагу,
но не товары уплывают в трюмах, –
а лишь сырье, в чем вижу изневагу.

Торговый гость порой зело скупенек,
глядишь, – от слез он, как от ливня, вымок:
а вот пускай не видит русских денег,
пусть не возьмет копейки на ефимок!

На их товары пусть не будет жалоб,
но, чтобы нам не ведать недостачи,
пусть иноземцы торг вели бы с палуб,
на берег не спускались бы обаче!

Найдем у нас предорогие пива,
полно медов и добрых водок тоже,
почто же вина фряжского разлива
для нас настоек дедовских дороже?

Харчи у нас дешевле ихних точно,
чего б они в России ни алкали,
однако продавать в Европу мочно
не лен да шерсть, а сукна да миткали!

Пусть иноки у нас, блюда уставы,
на праздник и вкусят немного рыбы,
но кои же из них иной потравы
просить помимо соли возмogli бы?

Семейство тоже требует подхода,
женонеистовство переборовши,
к невесте лучше не входить три года,
абы детишки были поздоровше.

Уже дыханье слышу смерти скорой, –
противостать смогу ли злomu кову?
Писанья эти пользы никоторой
не сообщат Ивану Посошкову.

Лишь добавляю к оному завету,
законов наших ведая свирепость, –
я знаю, что меня за книгу эту
посадят в Петропавловскую крепость.

МОНАХ НЕОФИТ. ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ. 1725

Для чего государь городит огород?
Что за шорох такой в государевой свите?
Жаль, свидетель событий тем более врет,
если вовсе и нет некоторых событий.

Не поймёшь ничего, сколь в затылке ни шарь:
то ль за что наградят, то ль готовится плаха?
чуть пошел в анпираторы нынешний царь, –
к староверам прислал Неофита-монаха.

То ли будет молебен, а то ли погром,
и монах – то ль мудрец, то ли дуб стоеросов:
получить он желает, пока что добром,
сотню точных ответов на сотню вопросов.

Старопрежние злобства московских царей
отравили стомах, и слезину, и ятра –
но однако речет велеумный Андрей,
что не должно за всё порицать анпиратра.

Не вернет Соловки, не отстроит скиты,
у него в городах что ни храм, то темница, –
но и старцам зато не ломает персты,
за него через силу, но надо молиться.

Если разум владыки не полностью пуст,
обождем, чтоб исполнились Божьи обеты.
И Андрей Дионисьев, второй Златоуст,
со товарищи Питеру пишет ответы.

Коль во мраке живешь, похулишь ли зарю?
Ждет обитель, уверена в добрых известях.
Отвезут выговецкие списки царю,
только царь отойдет, не успевши прочесть их.

Вот и порвана сеть, и упущен улов,
и сегодня узнать никому не по силе:
может, царь и не ждал опровергнутых слов,
а, напротив, хотел, чтоб его убедили?

Зря ли мудрый Андрей золотил алфавит,
благодатное слово над миром возвысив?
Ничего не добился монах Неофит,
но кому без него отвечал бы Денисьев?

Пробудился рассудок – и мигом зачах,
оборвал начинанья, молитвы и войны.
Что поймет государь в староверских речах,
и глухой, и слепой, да и просто покойный?

Если задал вопрос, – так получишь ответ,
обижайся, коль что за живое задело:
староверам уже полчетыреста лет
до российских царей – ни малейшего дела.

Но забавно забрался в историю мних!
Даже власти за это его не осудят.
Ну, а нам до него, а тем паче до них
дела не было, нет и, похоже, не будет.

ВАСИЛИЙ КОРЧМИН. ОГНЕМЕТ. 1729

Стынет морская равнина седая,
угли дотлели, не греет камин.
Возле mortarы сидит, поджидая,
пушечный мастер Василий Корчмин.

Трубка, мундир, треуголка, рубаха.
Может, потомок однажды поймет,
что это было – разбить Шлиппенбаха,
что это было – создать огнемет?

Что за сражение, что за дорога,
что за война за чужое добро,
что за предшественник единорога,
что за каленное в печке ядро?

Что это – шведскую бить камарилью,
что за фамилия – дар корчмаря,
что в этих письмах «На остров к Василью»,
что в этой жизни в боях за царя?

В памяти перебираешь невольно
то, как дрожал, будто лист на ветру,
чудом не сдавшийся город Стекольна,
видимо, просто ненужный Петру.

Если согласишься на все остальное, –
жизнь ускользнула всего-то затем,
чтобы в московское небо ночное
огненный взвился букет хризантем.

Немилосерден к чужому проступку,
собственной ты рисковал головой,
ибо со вкусом раскуривал трубку,
сидя на бочке на пороховой.

Это твои боевые игрушки,
но совершал ты большие дела,
глядя с иронией в дуло царь-пушки,
ибо царь-пушка стрелять не могла.

Век не хранит ни единого стона,
но, присмотревшись, легко узнаю
странную жизнь посреди флогистона,
коим пугали в эпоху твою.

Царь замесил для России опару,
и потому-то пришлось Корчмину
делать оружие с Брюсом на пару,
и уходить на любую войну.

Тут закружусь, а верней, пошабашу,
ибо рассказывать я не готов,
как довелось вам расхлебывать кашу
последпетровских придворных годов.

Может, я просто сегодня не в духе,
и, между нами, давай втихаря
хлопнем с тобой по стопе хреновухи
в память гидрографа и пушкаря.

В теме такой обломился бы классик.
Тает в былом, будто дым от костра,
славный глава императорских Васек,
личный шпион государя Петра.

БАРОН ВАСИЛИЙ ПОСПЕЛОВ.

1730

Ничего-то плохого по жизни не сделав,
осаждаем придворными с многих сторон,
как ты все-таки выжил, Василий Поспелов,
из российского теста спеченный барон?

На светильках бывают немалые пятна,
но без пятен любое светило мертво.
Как бы это сказать про тебя деликатно,
постаравшись притом не сказать ничего?

Нынче нет на подобные вещи запрета,
так куда же ты сгинул, забросив дела,
и в котором запаснике смотришь с портрета,
для владыки фехтуя в чем мать родила?

Так что плюнем теперь на приличья любые
и запишем, душою уже не кривя:
кто не прячет от света глаза голубые, –
не обязан иметь голубые кровя!

Потому и забвенья тебе не подарим,
что века распознали твой бал-карнавал.
Ты, бывало, дуэтом певал с государем,
и душевно, Василий, ему подпевал.

Молодой, исключительно видный мужчина,
и при этом, возможно, что тот еще жук,
никогда не просил генеральского чина
двух Петров Алексеичей преданный друг.

Нипочем не встречая в чужие раздоры,
обстоятельно чистил царю сапоги,
и, как хитрый Павлушка, не лез в прокуроры,
нарезая по жизни придворной круги.

Не судак и не лещ, но уж точно подлещик,
при царе то денщик, то скорей гардекор,
при царицах – шталмейстер и добрый помещик,
не миткаль набивной, а простой коленкор.

Превратиться не может удача в обычай,
вот на этом-то шею сломал бы смутьян.
Счастлив тот, кто доволен судьбою денщикчей,
камер-юнкерством, сотней-другою крестьян.

Перевернута кем-то и где-то страница,
на которой останется несколько слов.
Как забавно, что честное имя хранится
в самом странном реестре российских орлов.

Ну, а впрочем, и в том никакого урона.
И уходит пленительный наш имярек,
унося иронический титул барона
в уносящийся прочь восемнадцатый век.

ЯН ЛАКОСТА.

1740

Шутит история многие шутки,
часто смешны они, часто горьки.
Если находишься в здравом рассудке,
знаешь, как славно живут дураки.

Требует разума эта работа,
не подойдет на нее сумасброд;
Так что бери в короли полиглота,
девятишкурочный странный народ.

...Перебирая шутов и болванов,
уж постарайся, дружок, не сопрей.
Много в России Петров и Иванов,
но императору нужен еврей.

Царь – собиратель редчайших исчадий,
вот и прижился слугою двора
принц африканский, король семодей,
признанный кум государя Петра.

Любит владыка играть в игрушки,
вот и следи потому, что ни день,
чтобы сияли поверх черепушки
зубчики, а не мозги набекрень.

Эта держава – для трона подножье;
место не смеха, а страшной игры.
Медленно кружатся мельницы Божьи,
и, как ни жаль, вымирают Петры.

Вот и кривляться приходится, абы
как-то суметь соблюсти чистоту.
Правят Россией веселые бабы,
и потому не до смеха шуту.

Пусть объявляют болваном махровым,
только б не кинули в нети потом.
Много ли чести – во граде Петровом
значиться самым картавым шутом?

Старых ошибок вовек не исправишь,
жить нелегко у царей на виду.
Ежели ты от рождения картавишь,
не покупай для детей какаду.

Счастлив карман, да и честь не задета,
время и вечность сыграли вничью.
Обороняет святой Бенедетто
невероятную старость свою.

Счастливы жители горних селений.
Сбросив обноски придворных ливрей,
по небесам на шестерке оленей
мчится седой самоедский еврей.

Семьдесят пять – это, в общем, немало,
кто ни гонялся, – никто не поймал.
Точно ли ты повелитель Ямала,
и для чего тебе нужен Ямал?

Что ж, потрудились, – теперь отдыхаем.
Нынче не выдаст никто и не съест.
Так что, Лакоста, пожалуй, лехаим,
вот тебе, батюшка, истинный крест!

КАРЛ ФРИДРИХ ИЕРОНИМ ФОН МЮНХГАУЗЕН.
1744

Не оконфузиться, любезные коллеги,
о прошлом думая, куда как нелегко.
На дне у памяти хранится, как в ковчеге,
век восемнадцатый, столетье роково.

Мы на короткий миг в былое заглянули,
и нам открылся мир в случайном пустяке:
красавец-командир в почетном карауле
уставил взор в глаза пленительной Фике.

Поручик гвардии: застрявшая карьера,
но это бы легко поправила семья.
По мысли матушки, такого офицера
возможно бы вполне определить в зятя.

При Леопольдовне он был опорой трона;
проступка не спустил он шкуре ни одной,
и вздрагивали все при имени барона –
и обер-кулинар, и мастер корфяной.

Он прослужил семь лет холодному востоку,
дрожали перед ним могучие враги, –
но он не угодил лейб-медику Лестоку,
так ни единый врач не мог лечить мозги.

Кто не надел парик, – так тот серьезно болен,
косица от беды легко обережет.
В России кони ржут, свисая с колоколен,
а палец покажи, – так и народ заржет.

...Очаровательный и благородный жулик,
рассказывал о том, как славно при луне
скакать под музыку оттаявших сосулук
на полулошади, не то полуконе.

В России так хорош сезон охоты вешней,
барон рассказывал с ответственностью всей
о том, как косточкой от съеденной черешни
однажды подстрелил пятнадцать штук гусей.

Не все настоль храбры в России офицеры,
но за рассказом тем не надо лезть в карман,
как лихо на ядре он облетал Бендеры
и у Тирасполя чехвостил мусульман.

Жаль покидать края икры и осетрины,
по воле не своей прощаться со страной,
где наступает век Фике-Екатерины,
которая ему могла бы стать женой.

Подобного тебе никто не сыщет фрукта.
Кто обвинитель здесь, защитник иль судья?
Какую можно честь еще воздать тому, кто
стал императором всемирного вранья?

Пускай историки беззубо десны щерят,
пусть сунуть требуют куда-нибудь персты, –
пусть собеседники не так уж сильно верят,
но сам-то веруй в то, что сочиняешь ты.

И, стало быть, не зря живешь ты с мыслью шалой,
от самых первых дней до гробовой доски,
что если долго врать, то мир спасет, пожалуй,
ложь во спасение от скуки и тоски.

ДЖАКОМО КАЗАНОВА В РОССИИ. 1766

Из Митавы до Риги, а там и столица, –
такова же тропа из Парижа в Лион.
Бесконечный сюжет в бесконечности длится:
кто хитрее из нас: то ли я, то ли он?

В Петербурге угрюмы небесные своды,
так и сыплют на город дождливой трухой.
Как в Италии ждем мы хорошей погоды,
так и ждем мы в России погоды плохой.

Петербургу Москва – хуже кости в желудке,
но зато Петербург для Москвы – что змея.
На сугробах отнюдь не цветут незабудки,
и народ неумерен по части питья.

Водка – это спасенье, чтоб нос не замерз твой,
под нее и закуска идет на ура, –
ты в России с утра и до ночи обжорствуй,
и, обжорствуя, снова сиди до утра.

Тут к могильному запаху нет отвращения,
тут нередок в продаже подержанный гроб.
Если тонет младенец во время крещения,
тут же топит второго бестрепетный поп.

Ни на что здесь не ропщет народ-самосевок,
он природно невинен, как кажется мне.
...Отмечаю высокое качество девок
и обилие оных по малой цене.

Я в Европе рожден, и людьми не торгую,
но куда подевать нерастраченный пыл?
Тут решил я потратить гинею-другую
и девицу одну для себя прикупил.

Хороша, не скрываю, хотя безголова,
впрочем, женщине много не нужно мозгов.
Здесь дворяне играют под честное слово
и при этом спокойно не платят долгов.

Коль ответы хотите найти на вопросы, –
вспоминайте о вашем покорном слуге:
с шулерами вовек не садитесь за штоссы
и с любовницей будьте на строгой ноге.

Не поймешь, что такое в России творится:
то ли запад, а то ли дремучий восток.
Только умных и есть, что одна лишь царица,
да еще иностранцев неполный пяток.

Погулять бы разок по тебе крысолову:
мать Россия, ты больно себе на уме.
Только вы и видали, снега, Казанову, –
я уж лучше побуду в свинцовой тюрьме.

Уезжаю отсюда и путь продолжаю,
и в Варшаву въезжаю, великая Русь,
и как раз потому, что себя уважаю,
в этот край ледяной никогда не вернусь.

ГОТТЛОБ КУРТ ГЕНРИХ ТОТЛЕБЕН.
1773

Где священник, где молебен, черт бы всех побрал!
...Матерится нынче главный русский исполин
по фамилии Тотлебен царский генерал,
Готтлиб Генрихович славный, граф, что взял Берлин.

Мастер морду бить соседу, да и всем вокруг.
Примечайте: не столице ль нужен сей герой?
У него всегда победу рвут друзья из рук.
У него любой шармицель на один покрой.

Любо прусскому вельможе Пруссию громить.
И кому он только нужен, – что-то не секу.
Ох и мастер он, похоже, баснями кормить.
Дважды бомбами контужен прямиком в башку.

Истый мастер, право слово, нарываться зря,
он в войсках большая шишка и большой нахал.
Лишь взглянул на Пугачева, – и признал царя,
ну, а хитрый мужичишка шанса не прочтал.

Тот, кто гордо шаг чеканил, – слопал первый блин.
Ты оставь его в покое, не кори ничуть,
потому как все же занял генерал Берлин,
не любой бы мог такое дело провернуть.

Славный тымф Елисаветы чтит берлинский люд.
Пропадают деньги в дымке в дальней стороне:
эти мелкие монеты пруссаки берут,
ибо русские ефимки там в большой цене.

...Генерал при всей отваге слыл за болтуна,
был за все свои затеи с должности смещен,
посидел чуток в тюрьге, получил сполна,
изгнан из страны в три шеи, но затем прощен.

Снова в бой спешит рубака, позабыв о том,
что злосчастие заразно, и в который раз
аксельбант вернул, однако в деле непростом
был оболган безобразно, сослан на Кавказ.

Генерал-майорским чином двинул на Тифлис,
через горы, через реки выбрал путь прямой,
не понравился грузинам, вспомнил свой девиз:
«верен твердо и навеки» – и утек домой.

Что прописано в уставе, – то и соблюди.
Был он лих, и был он странен, жаль, попал впросак:
слег с горячкою в Варшаве, – вот не ждал поди! –
жил как добрый лютеранин – помер как русак.

В разбирательстве прохладца: надо ли тянуть?
Со своими и с чужими ссориться на кой?
В чем тут, право, разбираться, если пройден путь?
Генерала со святыми, Боже, упокой.

Что за мрачное мгновенье, – хуже не найти.
Вот последний гаснет лучик, – с места и в карьер
удаляется в забвенье, всем чужой почти,
славный генерал-поручик, русский кондотьер.

ДЕНИС ФОНВИЗИН. БРИЛЛИАНТ СЕН-ЖЕРМЕНА. 1778

Был великий Фонвизин большой зубоскал,
хоть царица и видела в нем радикала.
Современникам прямо на то намекал,
что Париж – это куча ослиного кала.

Он поведал России, что город осклиз:
был Денис от рожденья смышлен да капризен.
И где зад, где перед, и где верх, и где низ
не хотел даже думать великий Фонвизин.

Жил в Париже Денис и не ждал перемен,
полагая, что место его – при буфете,
и считая, что друг его, граф Сен-Жермен,
не простой шарлатан, а первейший на свете.

Тот умел плутовство превратить в торжество,
три копейки умел превратить в трехрублевик,
но старался не помнить о том, что его
из Парижа прогнал предыдущий Людовик.

Сен-Жермен из Парижа свалил налегке,
от французов слегка получив по затылку,
и в России, по просьбе прелестной Фике,
отковал совершенно особую вилку.

Отличался задуманный план красотой:
было вовсе неважно на ропшинской ловле,
кто возьмется орудовать вилкою той, –
Алексей ли Орлов ли, Григорий Теплов ли.

И на том порешили командою всей:
чтоб закрасить царице великое горе,
ей богатый подарок найдет Алексей,
ну, а он не найдет, – так подыщет Григорий.

И Григорий сказал: «Дорогой антиквар,
я не в силах ручаться за собственный разум!»
И сказал Сен-Жермен: «Не дари самовар, –
отправляйся к царице с зеленым алмазом.

Сей подарок приятен любому царю:
положу в котелок кардамону, лимону
и огромный алмаз для царицы сварю,
как варил постоянно царю Соломону».

Сен-Жермен был весьма деловой человек,
тут не важно, что был он законченный жулик,
и Орловы на праздник, залезши в сусек,
подарили царице немислимый брюлик.

...Был тот граф, говорят, португальский еврей;
говорят, короля убеждал, чуть не плача,
чтобы онный король меж своих пушкарей
никогда не держал уроженцев Аяччо.

А тому пушкарю он советовал впредь,
если очень неймется, так бегать по кругу,
потому как не стоит к Бобруйску переть
и совсем бесполезно переть на Калугу.

...Это сказка, которая вовсе не врет,
ибо сложена жизнью всерьез и на совесть.
Наш блистательный граф все никак не помрет,
и едва ли когда-нибудь кончится повесть.

Колесо у Фортуны ползет не спеша,
разве только скрипит обреченно и глухо.
И все та же кипит на конфорке лапша,
и читатель доверчиво выставил ухо.

Что ж надлежит до другого чудотворца, Сен-Жермена, я расстался с ним дружески, и на предложение его, коим сулил мне золотые горы, отвечив благодарностию, сказав ему, что если он имеет толь полезные для России проекты, то может отнестися с ними к находящемуся в Дрездене нашему поверенному в делах. Лекарство его жена моя принимала, но без всякого успеха; за исцеление ее обязан я монпельевскому климату и ореховому маслу.

Денис Фонвизин – Никите Панину (1778)

ГРИГОРИЙ ТЕПЛОВ. КАНАТОХОДЕЦ. 1779

Смотри на того, кто по канату на высоте скачет. Не привычкою ли они то себе приобретают? Все такие движения, которые превосходят почти разум человеческий, и за которые так, как за великую диковинку, платят люди деньги, чтобы только их видеть, все такие движения не что иное, как привычка тех людей, у которых все части и все их сложение то же, что у других, которые тому удивляются.

Григорий Теплов.

Знания, касающиеся до философии.

Не бывает лова без прилова,
без трубы не вылетишь в трубу.
Вот и для Григория Теплова
выпал случай повернуть судьбу.

Жил бы он от порки и до порки,
но судьба подумала слегка
и метнула сразу две шестерки
бедному сынку истопника.

Многие ли помнят о пройдохе?
А ведь был удачлив – будь здоров –
баловень фортуны и эпохи
двух Екатерин и трех Петров.

При Аннет и при Елизавете,
избегая дружбы и вражды,
он умел, как мало кто на свете,
вовремя отпрянуть от беды.

Но, не вникши в родовую завязь,
этот наш обычно ловкий тип,
шлезвигскому князю не понравясь,
чуть не угодил как кур в ощиц.

Вовсе глупо так попасться в сети!
Он умело заточил перо,
рассудил, что Катя лучше Пети,
и поставил душу на зеро.

Оказался царь из бестолковых,
даже в Шлезвиг свой не убежал.
Гриша получил мешок целковых
лишь за то, что вилку придержал.

Тут фортуна двери отворила,
тут Теплому сделалось тепло:
и его, и нежного Кирилла
на вершину власти вознесло.

Если ты вцепился в хвост лососий,
больше не мечтай о карасе.
Мало ли на свете Малороссий, –
но друзьям достались сразу все.

Тут почал стучать какой-то дятел,
что Теплов затеял жуткий ков:
в койке у себя перелохматил
за неделю тридцать мужиков.

Им бы, дурням, с участью смириться,
на дворе совсем другой сезон.
Мужиков сдала императрица
денщиками в дальний гарнизон.

Кроется в любой первооснове
соприкосновение полов.
Чуть не в койку сунул Казанове
некоего юношу Теплов.

Веденецкий гость, отнюдь не струся,
принял сей подарок без стыда.
Так же, как вода сбегает с гуся,
от Теплова бегала беда.

Он решал, – когда и кто загнется,
никаким судам не подлежа,
с истым мастерством канатоходца
проходя по лезвию ножа.

Накопив мешок заслуг немалых,
вовсе не завися от властей,
так и жил он в серых кардиналах,
более не трогая костей.

Вот и все об этой эпопее,
вот и все о божем рабе.
Воронцовой-Дашковой скупее
оказалась память по тебе.

Чтобы повесть не была слашавая,
остается вымолвить в конце:
то, на чем воздвигнута держава,
начиналось в ропшинском дворце.

Всего в деле фигурируют 9 мужиков, служивших у Теплова на разных должностях, – семеро крепостных и двое бывших у него в услужении малороссов (которые тогда еще не были крепостными, они будут закрепощены в 1783 г.). Слово «мужеложество» почасту употребляется в связке со словом «сквернодействие», как на языке тайной экспедиции XVIII века назывался оральный секс (минет), иногда с пояснением – «делать скверность за щеку».

Неоднократно упоминаемый в тексте граф Кирилл Григорьевич Разумовский, в доме которого в основном происходили «изнасилования», в 1750 году стал гетманом Малороссии, и Теплов всегда находился при нем, заведовал его канцелярией и был фактическим правителем Малороссии. Прежде Теплов был наставником при 15-летнем Разумовском, сопровождая его в заграничном путешествии – Кенигсберге, Берлине, Геттингене, во Франции и Италии.

Михаил Осокин

Г-н Алсуфьев представил меня другому статс-секретарю, Теплову, любителю пригожих мальчиков; он выслужился, удавив Петра III, которого не смог отравить мышьяком, ибо он пил лимонад. <...> Я застал у Бомбаха чету путешественников и двух братьев Луниных, в ту пору поручиков, а ныне генералов. Младший из братьев был белокур и красив как девица; он был любимчиком статс-секретаря Теплова и, будучи умным малым, не только плевал на предрассудки, но и поставил себе за правило добиваться ласками любви и уважения всех

порядочных людей, с коими встречался. Предположив в гамбургце Бомбахе те же склонности, что и в г-не Теплове, и не ошибившись, он решил, что унижит меня, ежели не ублажит и меня. <...> Мы с юным россиянином явили друг другу доказательства самой нежной дружбы, кою поклялись хранить вечно.

Джакомо Казанова

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВ. ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН. ОТЦЫ НАРОДОВ. 1782

Поспешают года, трепеща и бушуя,
обретая крыла, и опять обескрылев.
Восхитительно многое в городе Шуя, –
но всего восхитительней – Федор Васильев.

Это не был рубака и не был писака,
знаменитость его объясняется просто:
был Васильев крестьянин обычный, однако
настрогал он детишек почти девяносто.

На свивальники ты напасешься ли денег,
мастера бесконечных сестричек и братцев?
Ведь наверное плакал несчастный священник
чуть не сотню имен извлекая из святцев.

Не считите, что некое тут чародейство,
жили в Шуе они, никому не мешая.
То едва ли возможно считать за семейство,
то была слобода и, пожалуй, большая!

Не иначе как стержень имел он кремневый,
ведь на чем-то держалась такая твердыня,
чтобы целый народ у жены под поневой
насчитал на восьмом на десятке Добрыня.

Впрочем, здесь никаких не имеется правил:
всеразличные хобби имеют плейбои.
В тот же год и Потемкин России добавил
нечто очень похожее, только другое.

Средь победных боев и любовных викторий
всё, что плохо лежало, к рукам прибирая,
зоркий глаз положил многоумный Григорий
на фонтаны и улицы Бахчисарая.

Полагаю, что тайны большой не открою, –
но напомнить читателю все же спешу я,
что Таврида богата была детворою,
пусть её б и обставила гордая Шуя.

И случилось, что в самом изысканном виде
угодили в Россию, о том не мерекав,
все татары и готы, что жили в Тавриде,
все сыны византийцев и правнуки греков.

Не дарить же царице московские ситцы!
Был свободен вполне от замашек буржуйских
то ли муж, то ли просто наперсник царицы,
столь же славный, как царь из династии Шуйских.

И все боле с тех пор умножаются люди
между шуйских лесов и сивашских туманов:
дети древнего города мери и чуди,
крымчаки, караимы, потомки османов.

И выходит, – имеется множество истин,
и не всякую вещь объяснит монополька,
и о чем и когда ни мечтай Охлобыстин,
каждый сам выбирает – откуда и сколько.

И ночами, народу желая прироста,
и годами, винтовку сжимая до хруста,
мы постигли – проблемы решаются просто:
место русской земли не останется пусто.

«Того же уезда владения Николаевского монастыря у крестьянина Фёдора Васильева, которому от роду 75 лет, было две жены, с коими он прижил детей: с первой – четыре четверни, семеры тройни да шестнадцатеры двойни, итого 69 человек, с другой женой – двои тройни и шестеры двойни, итого 18 человек; всего же имел он с обеими женами детей 87 человек, из коих померло 4, налицо живых 83 человека».

Из переписи 1782 года, направленной в Московскую губернскую канцелярию из Шуйского уездного суда.

«Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит. <...> Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один Государь в России еще не имел. Сия слава положит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море; от вас зависеть будет запирасть ход туркам и кормить их или морить с голоду <...> Положите ж теперь, что Крым Ваш и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение границ прекрасно».

*Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический –
Екатерине II (1782)*

АНТОНИО САНЧЕС.

1782

То тянутся года, то мчатся, как газель,
то из мензурки яд, то молоко из блюда...
Ученый физикус, аптекарский гезель,
то призовут тебя, то не дадут вернуться.

Какая параллель, какой меридиан
сулили бы тебе хоть видимость покоя?
Что делать, если ты – еврей для христиан,
а для евреев ты намного хуже гоя.

Которым языком себя обматеришь?
Ужель бесчестие со славой совместимо?
С почетным абшидом отправлен ты в Париж,
всего-то через год оставлен без сантима.

Императрице ли вот так рубать сплеча?
Здоровья никому не обрести с разбегу.
Всегда в Париже есть работа для врача, –
да вот и Эйлеру обидно за коллегу.

Россия без врача – бескружечный корчмарь,
точнее, – пьяница с порожнею бутылкой.
Царица померла, а следующий царь
уже и не болел, а был заколот вилкой.

Но при его вдове среди других ловчил
могли найти уют бывшие отщепенцы,
и помнила она, который врач лечил
ее в дни юности от скверной инфлюэнцы.

Тут не до абшида, что хочешь, то содей:
уместен костоправ при каждом костоломе!
Плевать, татарин он, арап иль иудей,
а только бы лечил, на то и деньги в доме!

Престолу нужен врач, а не придворный чин,
который без того не сеет и не пашет.
Да будь алхимик ты, да будь ты сукин сын,
да будь ты хоть шаман, который с бубном пляшет!

Уж лучше попросту сказать болезни «брысь»,
чем миру предъявлять свой пяточок кабаний,
но если хочешь жить, поди-ка подлечись,
сведи-ка, дорогой, знакомство с русской баней.

Не угадаешь тут, где купишь, где продашь,
а где и вовсе нет ни чести, ни престижа;
заметим между тем, что этот персонаж
не больно рвался-то в Россию из Парижа.

Кто время упредил, – а ну давай, табань,
клади под микроскоп познаний каждый атом, –
ты, пламенный певец парных российских бань,
великий медикус с тем самым пунктом пятым.

К единой цели все стремятся напрямик,
в болезни все равны – рабы и государи,
и растворяется, мелькнув всего на миг,
туманный силуэт в тяжелом банном паре.

ПЕТЕР СИМОН ПАЛЛАС В КРЫМУ. 1794

Здесь по небу не надо читать гороскопа,
даже звезды степные тут вечно в пыли.
Полуостров отрезан стеной Перекопа
ото всей остальной европейской земли.

Здесь античность угасла, свое отработав,
и ползут бесконечные сотни годов
над сухою землей караимов и готов,
генуэзцев, армян, и татар, и жидов.

То одна, то другая тут правила раса.
Кто сочтет, сколько раз разорялись чумой
и молитвенный дом, и мечеть, и кенасса,
и турецкая баня, что стала тюрьмой?

Но у греков и турков – ни слез, ни претензий,
здесь обычай любой уважительно стар, –
я прошусь со страной адмирала Маккензи,
удаляясь в страну беспокойных татар.

Здесь не нужен ученый, а пусть бы пиита
походил по горам и спустился к воде
там, где высился греческий город Ялита,
чьи теперь только стены стоят кое-где.

Только чаячий крик раздается в просторе,
донося неизбывную древнюю боль
в этот край, где лишь синие небо и море,
известняк белоснежный и красная соль.

Тут в Россию ползут с виноградом мажары,
и когда-то припомнят потомки пускай
то, что жили в Крыму виноделы-татары,
чье вино походило на лучший токай.

Спят руины и скалы, бывшее скрывая,
и его не внесешь на листы дневников;
здесь готический шрифт, здесь вода дождевая,
здесь последние отклики средних веков.

Тут все то же, что было, что будет вовеки,
утомительный жар и печальный настрой,
повсеместно торгуют понтийские греки,
и другого народа не видишь порой.

Камни здесь горячи, да и травы шершавы,
только море шумит, остальное мертво
в этой странной руине татарской державы,
у которой грядущего нет своего.

Кроме берега, что здесь возьмешь у природы,
коль раскинулись степью одни солонцы,
коль туманом исходят сивашские воды,
и мертвы допотопных времен крепостцы.

Можно просто лететь, не куда, а куда-то,
будто камень, который метнула праща,
чтоб остаться навеки в стране Митридата,
для себя на земле ничего не ища.

На востоке сливается даль окаемов,
и теряюсь, бессильно виденье гоня
тех времен, из которых далекий потомок
с безразличием смотрит сейчас на меня.

Изучая природу Крыма в течение многих лет (с 1793 по 1810 год) Петер Паллас в своих трудах дает подробное описание этой, по его словам, «замечательной в отношении физической географии страны». Уже в первой книге «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области», опубликованной в 1795 году, ученый приводит в высшей степени точное и полное для того време-

ни географическое описание полуострова. Паллас побывал почти во всех уголках Тавриды, исходил самые неприступные места горного Крыма. <...> Интересна данная Палласом оценка долин Южного берега Крыма. «Помянутые долины, – пишет он, – составляют в рассуждении ботаники и хозяйственной части самую важнейшую страну Таврической области, а может и всего государства». Природа полуострова настолько увлекла его, что он решил обосноваться здесь навсегда. Паллас поселился в Симферополе, где прожил 15 лет (1795–1810). В своем доме, расположенном на левом берегу Салгира, на территории парка «Салгирка» (ныне Ботанического сада Симферопольского государственного университета), ученый собрал богатые коллекции минералов, представителей флоры и фауны Крыма. Симферопольский дом Палласа посещали все именитые гости города, известные ученые.

Гуго Шауфлер

АНДРЕЙ БОЛОТОВ.
ПАМЯТНИК ПРЕТЕКШИХ ВРЕМЯН. 1796

Нельзя кальян курить, с утра не поработав!
Толь зелен юноша, – но старец толь румян!
Гусиное перо берет Андрей Болотов,
потомкам возвестить претекших глас временем.

...Погода странная стоит, зима бесснежна.
Не стынет в бочках лярд, и порча в ветчине.
Слух, что война у нас со шведом неизбежна,
поискай и нет причин к ужасной той войне.

Несть в Богородицке отменных богомазов,
а те, которы суть, весь год навеселе.
В Дедилове живет большой плутец Чекмазов.
Послали кошелек наместнику в Орле.

В Кинбурне тиф брюшной, в Архангельске чахотка.
Помог бы донник там, а лучше чистотел.
Поел всех стерлядей почтмейстер Безбородко,
отправиться к утру в отставку захотел.

Три дня была зима, взяла да отпустила.
Глядишь, не вовремя завалится весна.
Известный Бардаков, картежный воротила,
полячку знатную отбил у Репнина.

Нетайно сетуют обиженные слуги
на горе многое от вечных платежей.
Что ж удивляемся, что некий тать в Калуге
изрядно граблывал господ и госпожей?

Не надо и писать про оны авантюры.
На клумбах у меня сегодня пир горой!
Любезный Павлинька забрался в пом-д'амуры,
на пробу съел один, а следом и второй.

Таких немало есть в моем саду загадок.
Коль вместе все собрать, так лопнут закрома.
Тот спелый пом-д'амур хоть кисловат, да сладок,
а как с тартуфелем, – так и хорош весьма.

Для корнеплодов тех высокий нужен статус,
Крестьянам оный плод пока не по нутру.
Но стребую отчет о краденых потатос,
так мигом украдут, да и съедят к утру.

Хозяйственная мысль послушна озаренью,
какая б ни была погода на дворе!
...Болотов мучится хронической мигренью
и тонким перышком щекочется в ноздре.

Путь к русскому столу от Эквадора долог,
но если пройден он, так остальное – вздор.
И первый на Руси мичуринец-помолог
на клумбе собственной срывает помидор.

Пускай довольствие грядет в поля к крестьянам!
Будь славен, лук-порей! Будь славен, сельдерей!
И в кресле полуспит с заслуженным кальяном
хозяйственный слуга всех десяти царей.

САВВИШНА. МАРИЯ ПЕРЕКУСИХИНА. НАПЕРСНИЦА. 1796

Ах, София-Августа, мои похвалы!
...Ведь недаром дивились великие предки,
что у матушки были не только орлы,
что у матушки были еще и наседки.

Я в глубинах столетья фигуру найду,
чтоб достойна была поэтической славы.
Нам известно, что где-то, в каком-то году
родилась она в доме какого-то Саввы.

Год рожденья узнать, – упаси Домострой.
В родословную лезть, – поищи демократа.
Но была она, видно, достойной сестрой
несомненно достойного старшего брата.

Камер-юнгфер, потом камер-фрейлен двора –
образцовый пример императорских нянек.
Приютили ее то ли дочка Петра,
то ли дочка означенной странный племянник.

Надо мягко, при с помощи ласковых слов,
разутешить царицу, что стала бобылкой,
посидеть с ней, покуда Григорий Орлов
императора будет закалывать вилкой.

...Твой пожизненный жребий, Мария, таков:
компаньонкою сделаться скромной и тихой
и уметь привести фаворита в альков,
и работать алькова того сторожихой.

Их порядочно, так что разбор ассорти
поручить никакому нельзя человечку,
ибо важно секреты алькова блюсти,
и особенно важно придерживать свечку.

Ты наукою той овладела вполне.
Все-то есть у тебя, хоть не жнешь и не сеешь,
и не надо тебе ничего компрене,
и чудесно, что ты ничего не ферштеешь.

Если нынче Ланской на кого-то сердит,
то уж то хорошо, что подолгу не злится,
а в прихожей Гаврила Романьч сидит,
и боится, что им недовольна Фелица.

Он угрюмо сопит, а за ним в уголке
восседает раздувшийся глуховский кочет,
а за ним на каком не поймешь языке
кто-то что-то кому-то о чем-то лопочет.

Что ни день, пропадает то грош, то пятак,
что ни ночь, то опять проверяй кандидата,
и всегда-то и все непременно не так,
как-то, где-то, зачем-то, кому-то, куда-то.

Никому ничего уберечь не дано.
Наступающий век обреченно неистов.
...И отходит старушка, не глядя в окно,
и не видит за ним никаких декабристов.

ЗИМНИЙ ПУТЬ

По тайгам странствуя, не встретишься с людьми.
Страшнее голода – холодная истома.
Акибка-нерпочка, скитальца прокорми,
не то на сухарях он не дойдет до дома.

Кто съел собачий корм, тот слопал и собак,
а заплутать нельзя, погибельна ошибка, –
но в зимовейке есть берёста и табак,
и есть поленница и вяленая рыбка.

Тащиться через лес – не сахар и не мед,
тут лишь бы выбраться из ледяной утробы;
гость ничего с собой отсюда не возьмет,
перекантуется, да и уйдет в сугробы.

Всего-то мудрости, – устроясь на ночлег,
из суеверия поругивать погоду,
всего-то мудрости, – топить в жестянке снег
и окутать свечу в присоленную воду.

Здесь дверь отворена, и, значит, повезло,
как ни темно еще, но стоил путь усилий:
учует человек надежду на тепло,
коль заотсвечивал солноворот Василий.

Дрова расплачутся, но не ругай смолу,
и вьюгу не кори, коль за окном завьела,
и не выбрасывай вчерашнюю золу,
тебе она сойдет ничуть не хуже мыла.

Зима спокойствует, она себе верна,
погоды скверные предсказаны заранее;
без сновидений спит полярная страна,
коль ей и снится что, – так разве только сани.

Любой подумал бы, что амба, что труба,
но постигаешь тут, понаблюдавши вчуже:
как странно сложена российская судьба,
где если плохо все, так надо сделать хуже.

Не то чтоб жизнь была совсем недорого,
но миги воровать – удел для попрошаек.
Лишь перед смертью тот, кто одолел снега,
нальет и помянет своих погибших лаек.

ПРАСОЛ НА МЕЗЕНИ

В треисподне торговля почище, поди;
покупатель рычит как собака на сене;
два рубля позади, два гроша впереди;
нечем прасолу жить, вовсе сдохнуть офене.

Охилел ты, пеструшник, проначил хрустов, –
дрянь дела: ни трафилки на водку в рогожке,
коль последний бухарник допить не готов,
не торгуйся, калымник, за ленты да ложки.

Так что хватит дурить, по-людски говоря:
пропадешь и замерзнешь по первому снегу;
под Калугой с лотком ты загнешься зазря, –
расспроси про дорогу, ступай за Онегу.

Над болотцами в тундре шумит дребезда,
нет нигде ни стогов, ни снопов, ни огребья;
если все же сумел ты добраться сюда,
то поймешь, что безрыбье тут хуже бесхлебья.

Долго тянется возле Архангельска день,
но полезны душе в ожиданье предзимья
белорыбица, харьюз, лосось и таймень,
костомордый абрашка и макса налимья.

Не кори в сентябре выпадающий снег,
всё на свете собой до весны приминая;
только в красном углу пусть висит оберег,
деревянная утица, птица щепная.

Поначалу едва ли пойдут чудеса,
только прибыли тут не бывает грошовой:
до Парижа, глядишь, доплывут туеса,
холмогорские гребни из шадры моржовой.

Только паберег, только песчаный угор,
березняк кривоватый да редкий ольшаник;
виноградья не надо, доволен помор
полотухой корзанки да парюю шанег.

Возвращаться в Калугу не стоит труда,
потому как себя не укусишь за локоть, –
не уйдешь никогда, не придешь никуда,
даже если отучишься окать и цокать.

Только помни о том, что бывает потом,
только загодя ведай про долю мужскую,
только пазори будут плясать над крестом,
но и жизни не жалко за пляску такую.

БРАЛЬЩИК НА СЕВЕРНОМ

На воробьиный скок октябрьский день короче,
доволен человек, что сердце унялось,
и не страшит его приход полярной ночи,
когда на небеса взойдет Остяцкий Лось.

В Москве добычнику короткий путь на дыбу,
будь ты хоть Строганов, – подломится ледок.
Но здешнюю судьбу он вышкерил, как рыбу:
он опоморился – и больше не ездок.

Сверканье зорников схватил он, как заразу,
что излечения нет, – понять немудрено;
а то, что не помор по предкам он ни разу,
так с носа Канина на то плевал давно.

Он, словно денежку, предчувствует погоду,
откуда это в нем, – соседям невдогад.
Великих барышей не добивался сроду,
чуть грёхнуло трески, – и он почти богат.

Чужому бральщику в вину любое ставят,
двоперстье примет ли рожденный вдалеке?
Но попрекни его, – так он зевок подавит,
зане поморский гроб хранит на чердаке.

Другой с бесхлебицы орет, как перепелка,
а у него в ставцах сияют, что ни день
ивановская сельдь, не жалкая двусолка,
и умба-сёмужка, не бедная мезень.

Другой посетует, что ни тепла, ни солнца,
что в мире горестей все больше каждый час,
а он не станет есть навагу без лимонца
и кофе пьет с утра, как пьет Россия квас.

Он ведаёт, кому и впрямь нужны деньжонки,
добавит грош-другой тому напоследки.
А что ему копить: стареет возле жонки,
что к морю не ходок, – так молится, поди.

Понеже никого в расчетах не дурачит,
старинный для себя не сочиняет род,
понеже лестовку с подрушником не прячет
и даже в праздники спиртного не берет.

Он завершит дела хоть завтра, хоть сегодня,
давно защитные сыскавши словеса;
он душу бережет и ждёт Господня взводня,
что унесет его в ночные небеса.

ТЮЛЕНИЙ КАНОН

Леониду Латынину

Деревянная вечность в стране деревянной
не мозолит глаза, не стоит за спиной,
тут звучат в воскресенье единой осанной
семь церквей деревянных деревни одной.

Идеальное место для дольных молений,
ибо здесь небосвод не особо высок,
и спокойно на лед выползают тюлени
помолиться о рыбе насущной часок.

Чтоб хоть изредка не было в мире охоты,
утельга добормочет молитву свою,
и, душевно надеясь на Божьи щедроты,
не спеша уберется назад в полынью.

Польхает над льдинами Божье поленце,
под которым на запад плывут облака.
Бог исправно радует о каждом зеленце
и следит, чтобы тот превратился в белька.

Для тюленя треска – настоящее жито,
да и прочая рыба – еда как еда,
но совсем не трескою единою сыто
ластоногое братство полярного льда.

Чем ты в море заменишь священные хлеба,
кроме там же и пойманной рыбы сырой?
Соблюдают тюленьи Борисы и Глебы
всё, о чем человек и не помнит порой.

Это верные стражи державы холодной,
что у лежбищ дежурят, тюленей храня:
непроглядная темень страны невосходной,
незакатное солнце полярного дня.

Сокровенного самого в белой пустыне
никакой не увидит внимательный взгляд:
у тюленей свои ледяные святыни,
и монахи-тюлени при них состоят.

Если час для тюленя приходит последний,
он кончает дела и уходит туда,
где останется долгие править обедни,
канонархать под синими глыбами льда.

За медвежьи, тюленьи и прочие души
совершается в мире великий помин,
и его не понять ни живущим на суше,
ни насельникам света лишенных глубин.

И торжественно молится тайное вече
пуще глаза во льду хороня от врагов,
даже более древнее, чем человечье,
семихрамное лежище вечных снегов.

СЁМГА

Здесь десять берегов или примерно десять,
здесь время на века считают старики.
Здесь человек судьбу сумел уравновесить:
работать не с руки, коль не поел трески.

Здесь часто мелочи невинные запретны:
смотреть на пазыби, – далёко ль до беды?
Тот не поймет, зачем так важен крест обетный,
кто в море не ходил на полных две воды.

Здесь пес охотничий – заменю оружием.
Здесь солнце движется как белка в колесе.
Одна фамилия на всю артель семужью,
одна тоня на всех, и сыты тоже все.

Здесь вдоволь наберут харчей, снастей и соли:
на карбас ли простой, да хоть на полный шнек.
Семья, коль двое в ней, – внесет две равных доли
и десять, коль в семье десятков человек.

Труд долгод и тяжел, но не настолько горек,
чтоб кто-то на него роптать хотел теперь:
знай семгу загоняй из голомя во дворик,
а отойдет вода – перебирай да шкерь.

Поморской соли в речь прибавлена щепотка,
любое слово здесь старинно и хитро:
кто ждет у берега, чтоб в сеть пошла селедка,
не скажет про косяк, а скажет про юро.

В безрыбицу канат висит тяжелой плетью,
болеют невода, и сон воды глубок,
она не движется, лишь матово над сетью
блестит стеклянный шар – норвежский поплавок.

Барышна семужка, не обери до нитки!
Молитва рыбака до жалости проста:
не так уж плохо жить совсем без верхосытки,
но только бы не жить с семьею вполсыта.

Такая жизнь сродни желанному недугу:
на четках вечности отмеривши года,
рождаться, умирать, и далее по кругу
как рыбе, проходить, минуя невода.

Чужак, завидуешь? Тогда постой в сторонке:
увидишь ангела, что мчит под облака,
с великой нежностью корчагу самогонки
плеснув в бескрайнюю могилу рыбака.

АФАНАСЬЕВ ДЕНЬ

Прозвучал надо льдами неслышимый зов,
отбель в пазорях вспыхнула, небо окрасив.
Заглянувши на шесть или восемь часов,
наступил и окончился день Афанасьев.

Ночь полна багреца, ночь темна и длинна,
лишь, раздвинувши тучи на пару мгновений,
словно карбас пузатый, мелькнула луна,
отправляясь на ловлю небесных тюленей.

В этой тьме, где одни лишь медведи да снег,
в этом зареве красном, зеленом и синем,
возвышаясь, стоит истекающий век,
как хозяин, что гостю ответил амином.

Это памятник скорби земли и небес,
это мысль, что с годами все больше печалей,
что однажды вконец изведет косторез
кашалотовы зубы и бивень нарвалий.

Что морошка не ляжет на землю ковром,
что не станет торговых гостей у подворья,
что исчезнут вослед за царем-осетром
поставец, подголовник, ларец Пермогорья.

Что на землю падет окончательный мрак,
что бывшее покажется кладбищем бредней,
где умелец последний сплетает бурак
из последней берёсты березы последней.

Куролесит зима в человеческом дому,
сыплет наземь беду, как капусту во штенник,
от нее откупиться уже никому
ни бумажных не хватит, ни кожаных денег.

Наступить не умея в свои же следы,
не увидишь, как ловит селедку дружина,
не минуешь проклятой болецкой беды,
не дотянешь на рыбе сухой до зажина.

...Окротевши, на Гандвик легли холода,
шевелиятся неверные льды Беломорья,
и поди прокормись среди вечного льда,
и в потемках поди дотерпи до Егорья.

Только есть и удача в подобной судьбе;
и уж точно того не пристало бояться,
что в конце доведется услышать тебе
не молчанье, а ласковый звон переладца.

И тогда ты без страха посмотришь во тьму,
к тишине и покою давно приготовясь,
а потом только дунет шелоник в корму
и неслышно окончит последнюю повесть.

**ИВАН СТАРОСТИН.
ГРУМАНЛАН. 1826**

Снова падера, снова стоят холода.
Побережник приходит на малую воду,
и к последней черте подползают года,
и уже бесполезно пенять на погоду.

Слишком холодно в нынешнем зяблом году,
век тяжел, как медведь: бесполезно бороться.
И глядят на незримую в небе звезду
голубые глаза старика-новгородца.

Этот западный ветер ему не указ:
воздух все-таки полон весеннего хмеля
в день короткий, который в пятнадцатый раз
наступил, как всегда, в середине апреля.

В ледниках отражается солнечный свет,
прорываясь в короткое здешнее лето,
ничего-то в котором обычно и нет
кроме черного цвета и белого цвета.

За свинцовой водой – ледяная гряда,
а под нею у моря видны сиротливо
земляные бугры, да олени стада,
да китовые похрусты возле залива.

Ненадолго оденется в зелень земля,
и никто до зимы не помрет с голодухи,
и, богатый приплод зверобоям суля,
на воде матерой заиграют белухи.

Если ты здесь один – то не важен ущерб,
знай бери сколько есть на угодьях свободных
лысунов, голованей и кольчатых нерп,
или даже тяжелых моржей зубоходных.

В этот мир ни одна не доносится весть,
и сюда доноситься ей просто не надо.
Время года отсутствует здесь, ибо есть
только день, только ночь – и пора снегопада.

И молитва Христова всегда коротка,
и в забвение падают речи псалтыри.
Он на крест-голубец подобрал плавника
и поставил тому уже года четыре.

У нетающей кромки соленого льда
он поставил его, уповая на чудо.
Кто единожды выбрал дорогу сюда, –
тот уже и не спросит дорогу отсюда.

Он роптать не желает на этот удел,
и приемлет его, как великое благо:
– Величаю Тя, Господи, яко призрел
Ты меня у холодного архипелага.

САМСОН СУХАНОВ. РОСТРЫ НА ГРУМАНТЕ. 1840

Кто счастлив собственной работой повседневной,
тот знает наперед, что в жизни всё – не зря.
Как должный час придет для зрелости душевной,
так векша выспеет к началу ноября.

...На Грумант входит ночь, и небо все слепее,
еще чернее тьма, еще белей снега.
В полярной тишине пять звезд Кассиопеи
подъемлют в небеса лосиные рога.

Под ними в темени хребет разлегся острый,
чьи пики шпилями старинных городов
в сиянье северном вознесены, как ростры
замерзших в гавани зимующих судов.

Угрюма и темна земля необжитая.
Артель обречена пережить пургу,
скрываясь от зверей, но промышлять мечтая
ошкюя на воде, моржа на берегу.

Пока архипелаг и темен, и туманен,
артель беседует, ни в ком сомненья нет,
что справедлив рассказ о том, как вологжанин
медведя завалил уже в семнадцать лет.

Да только сложится судьба совсем иначе,
в поморах, может быть, он оставаться рад,
но через десять лет Самсон искать удачи
с обозом палтуса пойдет в столичный град.

Гранит обтесывать – тяжеленькая лямка,
которую тянуть не хочет немчура.
Он на строительстве Михайловского замка
читать научится – и выйдет в мастера.

Пусть императора сынки и свалят скоро,
но останятся постройки неужель?
Над сотнями колонн Казанского собора
опять работает Самсонова артель.

Отнюдь не юноша, почти старик усталый,
как монотонный труд тебя не вгонит в сон?
Взаправду ль для тебя работать пьедесталы
к чужим художествам так радостно, Самсон?

Но, знаменуя труд тяжелый и бессонный,
стоят, незыблемы с тех незабвенных пор,
твои бессмертные ростральные колонны,
что гордо выросли из Грумантовых гор.

Бок о бок много лет, день о день и ночь о ночь
ты жил среди людей, не больно знаменит,
ты вечно в камень бил, бедняк Самсон Семеныч,
и слушался тебя ну разве что гранит.

Где верные резцы, долота и зубила?
Куда пропало всё, скажи начистоту?
Хоть родина тебя и не совсем забыла,
но сэкономила надгробную плиту.

Искусству нет цены, и время не препона,
хотя окончен век и поздний гимн допет, –
и не рука уже, а тень руки Самсона
ласкает созданный Самсоном парапет.

ЯКОВ САННИКОВ. ЗЕМЛЯ ОБРУЧЕВА. 1810

Доктор, внимательно наблюдавший за своим другом, вскоре разгадал причину столь странного упорства и понял, почему Гаттерас ходил все в том же направлении, как будто его притягивал незримый магнит.

Капитана Джона Гаттераса неизменно отклоняло к северу.

Жюль Верн. Приключения капитана Гаттераса

Ах, романтика – это хорошее слово!
...Головою тряхни, наконец отрезвей.
Уж какая романтика у зверолова,
если надо кормить четырех сыновей?

У осенних болот берега порыжели,
обнаженные лещади кроет грязца.
Для чего ты на север идешь, – неужели
ты в окрестной тайге не отыщешь песка?

Не найти полыней и дорог для каяков,
что ни день, все жесточе кругом холода.
Торопись же, промышленник Санников Яков,
на зимовку в просторы соленого льда.

Чем зима холоднее, тем больше успеха,
хоть еще далеко до январских обнов,
до замены убогого летнего меха
драгоценною платиной серых тонов.

Ставь-ка, Яков, капканы, и сети раскинь-ка,
и охотничьей страстью рассудок пои,
но к весне у песцов начинается линька,
и пускай они свадьбы играют свои.

Там, за тундрой, где чукчи – и те не бывали,
потому как у страха глаза велики,
на прогале любом и любом перевале
легендарного индрика блещут клыки.

Там не нужно радеть о свинце и железе,
там дорога на север любому видна,
и чем дальше – тем кость благородней на срезе,
и тем выше ценима в столицах она.

По откосам все дальше идешь на откосы.
Впереди – синева, и за ней синева,
острова и торосы, и снова торосы,
а за ними опять и опять острова.

Там земля благодатной и светлой погоды,
там земля, что весенней полна красотой,
там земля, на которую в древние годы
удалил свое стадо Мамонтий святой.

Посмотри, – и увидишь: густеет туман там,
все плотней облегая собой берега,
чтоб спокойно по суше бродить элѳантам,
чтобы им никакого не ведать врага.

Попрощайся, лишь миг подожди терпеливо,
проследи, как виденье поблекнет вдали.
И останется имя твое у пролива,
и легенда останется вместо земли.

Обреченно блестит ледяная кираса,
и вот-вот навсегда превратятся в обман
наивысшая цель и мечта Гаттераса,
о котором еще не написан роман.

ПЕТР НАХОДКИН.
ГОРОДСКАЯ ГОЛОВА. 1812

В тот горький луков день, в тот день летопроводца,
сдается, думая, что он в своей стране,
сдается, не поняв, что город не сдаётся
в первопрестольную вошел La-paille-au-nez¹.

Вошел petit sarogal² тропами боевыми,
пусть и глаголали ему приметы все:
из носа ты бервно первее да изыми,
а после братний зри сучец во очесе³.

На плаце никого, и никого в казарме
в потемках не поймешь, – кто раб, а кто главарь,
и только выли псы двух изможденных армий,
друг друга чувствуя сквозь духоту и гарь.

Угрюмо Кремль стоял, во тьму и пламень канув,
Арбат и Скородом дымились, как вулкан.
В тот хоронили день клопов и тараканов,
и обгорал вдали великий таракан.

...День созревания морошки и ореха,
толока для села, сивуха для мужчин,
полпиво сусляно – досужих баб потеха,
и лета бабьего торжественный почин.

Еще и барсуки не прячутся по норам,
но рог охотничий рыдает вдалеке,
ложатся ласточки на дальний путь к озерам
и гибнут воробьи в ночном четверике.

¹ ля-пай-о-нэ, соломинка в носу (прозвище Наполеона).

² пти капораль, маленький капрал (прозвище Наполеона).

³ измїи пёрвѣе бервно изъ очесѣ твоегѣ, и тогда ўзриши изъяти сучецъ изъ очесѣ брата твоегѣ (Мф, Нагорная проповедь).

Прочь от Москвы летят испуганные птицы,
и в Кремль никто не шлет желанного гонца.
Уж тут не до ключей от выжженной столицы,
но отыскал Лессепс безвестного купца.

Тот долго повторял, что стар, что на покое,
что и к домашним-то он не довольно строг,
но славный генерал купцу сказал такое,
чего потом никто и повторить не мог.

Видать примерно так: хоть город и клоака,
ты все же тут живешь, и потому усвой:
повинную главу меч не сечет, однако:
не станешь головой, – ответишь головой.

Ну ладно, бусорман хоть говорит по-русски,
еще и не таких слышали пустомель.
Уж лучше рок такой, чем просто смерть в кутузке:
что перед вечностью дурные пять недель?

Мороз на Сергия не тяжек и не долог,
и баба новый плат набросила оплечь,
и ранняя зима раскидывает полог,
и самый младший сын растапливает печь.

...Великий человек бессилен и безумен.
День бегства из Москвы помечен октябрем.
Копается Мортье, в бегах Бестужев-Рюмин,
и лишь купец готов ответить пред царем.

В дымящейся Москве разломаны колодки,
судьба взнесла над ней не меч, а кочергу,
но император мстит последним складам водки,
решив хотя бы так да насолить врагу.

Усталый материк томится в смертной лени,
отцвел вчерашний блеск, грядущее мертво.
Прощай же сир, прощай, молись святой Елене,
благой заступнице заката твоего.

Кто только тут копьём не тряс во время оно,
но сила хороша, когда не напоказ,
поскольку тот огонь, что жгут на Симеона,
за много сотен лет ни разу не погас.

Заодно: луков день имеет место в народном календаре на неделю позже. Но в 1812 году, похоже, он случился как раз в это время...

АНТИПАТР БАРАНОВ. КРЕОЛЬСКАЯ РАПСОДИЯ. 1822

Как осина – горькое дерево, так рябина –
горькая ягода: горько тем местам, где эти
два дерева растут.

Поверье

Говорят: ожидай перемены в судьбе,
если в гости к рябине заходит осина.
Индианка с костяшкою в нижней губе
невзначай родила губернатору сына.

Паренек краснокожий не знал никогда
ни двоюродных братьев, ни теток, ни дядек,
но отец его понял, что стоит труда
этот остров зеленый, воинственный Кадьяк.

Этот остров, где звери бегут на ловца,
и в осенние дни обещает охота
чернобурку, ондатру, калана, песца,
росомаху, медведя, бобра и енота.

...Саадак каргопольский с индейской стрелой,
благородный приемьш чужого престола,
несовместный союз, двународный сулой,
полурусская внешность и сердце креола.

Голубые глаза, что твое озерко,
эпикантус, над ними опущенный низко,
и сознание того, что совсем нелегко
контрабанду возить от Святого Франциска.

Слава Богу: такую науку постиг,
и поэтому нынче под чайачьи крики
Антипатор Александрович всходит на бриг
и домой на Аляску уходит с Вайкики.

По пяти континентам всю жизнь колеси, –
будет путь твой повсюду не самым веселым.
Это странно, конечно: как раз на Руси
не обидят того, кто зовется креолом.

Он не знает, что будет подписан трактат,
и порвется к отчизне последняя нитка,
но, предчувствуя что-то, в далекий Кронштадт
он навеки уходит от острова Ситка.

Ставя подпись, отцовская дрогнет рука,
все окончено, разве что сын темнолицый
дожидается в Царском Селе старика,
но старик не захочет доплыть до столицы.

Вот и гроб незаметно в пучине исчез,
опускается в бездну российская слава,
там, куда не дотянется мангровый лес,
погребально шумящий на острове Ява.

По дороге кораблик совсем изветшал,
а столица – чужбина креолу, к тому же
для того, кто всю жизнь океаном дышал,
бесполезно плескаться в Маркизовой луже.

...Все дымится вулкан у могилы отца,
все рябина грустит, все трепещет осина,
все глядят в синеву эти два озерца,
две креольских души, Антипатр и Ирина.

И охотник в горах натянул тетиву,
и закутана в пурпур страна бересклета,
и безумные клены роняют листву
в царскосельскую осень индейского лета.

...Еще в самом начале пребывания Александра Баранова на Аляске в аманаты к русским попала дочь одного из вождей племени индейцев танаина. В письме от 20.05.1795 к Г.И. Шелихову Баранов писал: «Еще держу с самого начала одну Раскашикову дочь, приуча к экономии, горнишной опрятности, шитью и бережливости, и она верная ключница в соблюдении вверенного... она открылась мне в слабости, зная, что я также погрешаю иногда...» Девушку крестили и дали имя Анна Григорьевна. Она и стала матерью троих детей А.А. Баранова, двое из них – сын Антипатр в 1793 году и дочь Ирина в 1804 году – были рождены вне брака и усыновлены Барановым.<...> В июле 1818 года на шлюпе «Камчатка» на Аляску прибывает В.М. Головнин, а уже 19.08.1818 года шлюп «Камчатка» отправляется обратно в Кронштадт. На борту шлюпа – пассажир «...бывшего Главного Правителя компанейских колоний г-на Баранова сын Антипатр Баранов...» <...> Антипатр получает большой участок в Царском Селе на Малой улице, и строит двухэтажный каменный особняк. После получения известия о смерти отца, умершего 16.04.1819 года, он хлопочет о пенсии для оставшейся на Аляске матери. Вскоре Антипатр заболевает, и уже в марте 1822 года его не стало. <...> На Аляске Лесной службой США по имени сына и дочери Правителя Русских владений названы два озера.

АЛЕКСЕЙ МУСИН-ПУШКИН.

1817

То была Кольна-Дона, дочь Каруля. Она видѣла Тоскара, видѣла его, и не могла не горѣть къ нему любовнымъ пламенемъ.

Дж. Макферсон. Перевод Ермила Кострова

...достигшая до насъ и одна въ цѣлости древняя пѣснь о походѣ Игоревѣ, въ которой виденъ духъ Оссіяновъ...

Гаврила Державин. Рассуждение о лирической поэзии, или об оде

Жил на свете историк, довольно богатый,
президент академии разных наук,
полагавший, что в каждой бумаге помятой
сберегается древности сладостный звук.

То ли папин архив разбирал, то ли мамин,
и однажды набрел под счастливой звездой
на взорвавший рассудки старинный пергамен,
что векам возвестил о княжне молодой.

О княжне Ефросинье рассказывал свиток,
о рыданьях несчастной, – однако, увы,
графу был нанесен колоссальный убыток,
ибо свиток сгорел при пожаре Москвы.

Хоть в Москву и пришел Бонапарт издалеча,
но, как следствие более важных причин, –
тех, что списки со списками сравнивать неча, –
аккуратно устроил пожар Растопчин.

Возгремели над миром зегзицыны трели,
закипела поэзия в каждом нутре,
ибо очень уж многие свитки сгорели
в этом самом надежном российском костре.

И престиж у предания сказочно вырос,
ореолом священным сюжет осиян,
и хоть весь погори на Египте папирус,
и от зависти ты подавись, Оссиян.

С оппонентами спорить и глупо, и мелко,
также топтать бессмысленно строгой ногой
и на тех, кто твердит, что поэма – подделка,
и на тех, кто стоит на платформе другой.

Третий век с глухариным талантом токуют
итальянец, француз, гагауз и якут,
и не столько о песне великой толкуют,
сколько воду ученую в ступе толкут.

Даже вечные ценности всюду условны,
наконец, и Москва не сгорела дотла,
ну, а граф погребен у любимой Иловны,
что с любимой Мологой под воду ушла.

Романтичен усадебный образ унынья!
Преложитель Бояна, об этом прорцы!
Всё рыдает над графом княжна Ефросинья,
при Мологе упрятавшем в воду концы.

Да и пусть, – но посмотришь в потемки невольно
и увидишь, весьма удивившись сперва:
там стоят на стене Ефросинья и Кольна,
над потомками тихо смеясь в рукава.

МИСТИКА ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ. РУССКИЙ СПУН-РИВЕР. ОММАЖ ЭДГАРУ ЛИ МАСТЕРСУ

Допустим, открываются врата,
и все вернулось на свои места:
у вечности какая-то оплошка.
Допустим, что ошиблись писаря,
допустим, что у стен монастыря
сегодня протекает речка Ложка.

...Все кладбища российские просей, –
пожалуй, нет ни одного русей:
здесь турков нет, здесь очень мало немцев,
и посреди десятка Дурново
еврея не найдешь ни одного,
и вряд ли из китайцев – Иноземцев.

Сюда, как знаменитый кур в ощиц,
ложился тип, а чаще прототип, –
и фараонщик, и жена чужая:
но сочинитель – барин, посему
врать обо всем разрешено ему,
что хочет и как хочет искажая.

Какая дичь среди погостных мест!
Обрубки, даже вроде бы не крест, –
видать, потомки и не раскусили
того, что означает сей фасон
одно: что розенкрейцер и масон
советник был, Караченцев Василий.

Тут спит Великий Пушкинский Хурал,
с кем Пушкин спал, кто в карты с ним играл,
комплект могил изрядно бестолковый,
а ты помедли да скорей отрыщь,
прохожий, от чудовищных гробищ
мемориала Дарьи Салтыковой.

Такой-то князь, такая-то княжна,
такой-то муж, такая-то жена,
родня тверская, а еще ямская,
вдова и тетка, внучка и сестра,
и дважды два ни два ни полтора,
и публика еще бог весть какая.

Но дважды два еще не трижды три!
Архимандриты здесь, пономари,
и разобрать порой невыносимо,
кто финн, кто швед, кто скиф, а кто сармат,
кто астроном, а кто и нумизмат,
кто Корж, кто Корш, а кто и Зой Зосима.

Понятно, что не каждый тут велик,
не Муцухито и не Менелик,
но мириады кружатся над бездной
теней, не утерявших имена,
и благородно тут сохранена
тропа к могиле Марфы Затрапезной.

Случалось, что масон и патриот
к себе вставлял Мохаммеда в киот,
другому нужен был Ахурамазда,
во веки тайн своих не разгласят
Голицыных примерно пятьдесят,
а Долгоруких больше, и гораздо.

Помилуй Бог поэта-алкаша,
в нем мучились и тело и душа, –
все нынче по нулям, и оба квиты.
К его стихам потомок охладел,
но все-таки надгробный новодел
прикрыл нетрезвый прах архипииты.

Тут всякому назначен свой шесток:
к кому-то меч судьбы весьма жесток,
к кому-то век хоть сколько-то, а ласков,

и, посреди сиятельных воров,
тут спят Василий, так сказать, Перов,
и даже, извините ли, Херасков.

На каждом, как тавро и как клеймо,
печальное могильное бонмо,
читаем их и понимаем: просто
мы тоже только гости на земле,
десятая вода на киселе
любому из насельников погоста.

Такое вот приятное родство.
Здесь больше не хоронят никого:
и невелик доход по части свечек
от тех, кто эпитафией клеймён:
здесь вдаль течет одна Река Времён
и больше – никаких заметных речек.

Один итог, – ничто не навсегда.
И все темнее мутная вода,
куда Харон закидывает сети,
и с каждым днем читать все тяжелей
сей перечень разбитых кораблей,
стираемый эрозией столетий.

**ИВАН ВАРВАЦИЙ.
ИКРА ЗЕРНИСТАЯ БЕЛУЖЬЯ ОТМЁТНАЯ.
1817**

Море Эгейское спит, затуманясь.
Через покровы пылающей тьмы
в углой шебеке плывет Иоаннис
турок приветствовать возле Чесмы.

Море для грека – вторая натура,
светоч в удаче, опора в беде.
Что же ты, розовоперстая дура,
хочешь увидеть в горячей воде?
1
Тут и планета покажется плоской.
Адом покажется вражеский стан.
Злобе чесменской и злобе хиосской
выхода ищет турецкий султан.

Он обойдется без лишних нотаций.
Коль не сгорел на своем корабле,
так вот и жди, Иоаннис Варваций,
смерти иль выкупа в Едикуле.

Ясно, что здесь не дождешься комфорта.
Воздух в мучилище – будто рассол.
...Лишь слегонца поторгнется Порта,
выкупит пленника русский посол.

Топай до Питера, пасынок нищий,
помни, что ящик Пандоры разверст.
Только и флейта все громче и чище
с каждой тысячей пройденных верст.

Что ж, на дорогухватило силенок.
Да и царица довольно щедра,
и черт-те что получил Соколенок
вместо хотя бы кола и двора.

Но пусть проглочена будет досада,
примем подарок, закажем салют:
чтоб не навесили то, что не надо, –
брать полагается то, что дают.

Жребий подбросил дырявую лодку,
голую доску, пустую кровать.
С водки на рыбу и с рыбы на водку
перебивайся, решив торговать.

Так и остался бы мелкою сошкой,
но увидал, замечтавшись слегка:
что-то едят деревянной ложкой
парни, сидящие у костерка.

Сделался воздух соленым и пряным.
Будьте любезны узнать, господа:
это хорошая закуска дворянам,
это купцам рядовая еда.

Если волхвы не выходят из леса,
не направляются наперерез, –
значит, не любят они Ахиллеса,
ибо довольно богат Ахиллес.

Думает вечность нелегкую думу:
чем заплатил ты подобной судьбе?
Только канал, приводящий к Кутуму,
нынче один благодарен тебе.

Не за одни лишь былые заслуги
и не за Анну на левом плече, –
но за Кастаньский дворец, где белуги
плещут хвостом в икрOMETном ключе.

Славная рыбка, плещись на здоровье,
ты бы поглубже к себе уплыла,
пусть-ка потомство живет осетровье
и разорятся к чертям промысла.

Что благодатнее вечных вакаций?
Вот и поспи до известной поры,
греческий подданный Ваня Варваций,
праведник черной российской икры.

ЖАННА ДЕ ЛА МОТТ.
МИЛЕДИ. 1826

От истории годы оставляют обрезки.
Я пишу эти строки – надоело враньё.
Знать желают народы: что за бред про подвески
сочинил недалекий кардинал Ришельё?

Без малейшей причины лишь одним мушкетерам
весь народ рукоплещет, нетерпеньем прогреет, –
а ведь эти мужчины – только фон, на котором
отрицательно блещет сей изящный портрет.

В нетерпенье дурачком или маясь похмельем,
к счастью или же к худу, не протянешь века.
К тем брильянтовым цацкам, а не то к ожерельям,
так и рвется повсюду воровская рука.

Чем ломиться в анкету, – лучше зубы на полку.
Если тратишь гинею, – не тоскуй о гроше.
Нет управы на эту похотливую телку,
и не путался с нею разве только Планше.

...Неужели болтаться, дорогая миледи,
так уж сильно хотите на ближайшем суку?
За покойного братца не дадут мараведи,
отказавши в кредите, вставят лыко в строку.

Наступила развязка, и с графиней историк
обошелся сурово, документам вослед,
и останется сказка без античных риторик,
и без акта второго Марлезонский балет.

Дремлет дьявол в горниле и жужжит, будто овод,
уж ему-то приятно, если кто-то погиб.
Ясно, бабу казнили, но зато вот, зато вот
никому не понятно, кто ее прототип.

Есть ли баба прекрасней, чем вот эта злодейка,
что в роман знаменитый проскользнула тайком?
Не из песни и басни, а с картины ван Дейка
смотрит дурой набитой с глуповатым смешком.

Но прибегнем к замене, никого не пугая:
есть законы у козней, и не каждый – подлец.
Появилась на сцене кандидатка другая,
много более поздний хитроумный бабец.

Снова – кража и смута, драка в каждом вертепе,
весь Париж лихорадит, занесен ятаган.
В неприятности круто влип известный Джузеппе,
и с короной не ладит кардинал де Роган.

Неуместна дележка, плод совсем и не сладок.
Обвинение – в силе, прокурор – обормот.
Хоть и найдена ложка, но остался осадок,
кардинала сместили, заклеямили Ламотт.

Позабыты караты за большим мордобитьем,
на державное тело покушаться слабó.
Воцарились Мараты, и всемирным событьем
ожерельное дело объявил Мирабо.

Но у нашей графини не отыграна карта.
В Петербург, чуть попозже, приплелась как домой,
в роли дивной богини, обогнав Бонапарта,
и при этом, похоже, не с пустою сумой.

И решила миледи, из России – ни шагу!
Лучше сгинуть от шквала, чем вернуться в тюрьму.
При горе, при Медведе, поклонясь Аю-Дагу,
долгий век доживала в благодатном Крыму.

Что ж, ломание копий на капризы отпишем,
ночь бывала кромешна, как предсмертный кошмар.
Чтила греческий опий, утешалась гашишем,
в православье успешно обращала татар.

Всех, короче, затмила, из истории выпав,
словно чувство шестое в ней проснулось на миг:
словно шило на мыло, разменять прототипов, –
это право святое сочинителя книг.

И не верят поныне никакие соседи,
что не очень от света отличается тьма,
что в таврической глине схоронили миледи
точно так же, как где-то на странице Дюма.

ГЕНРИХ ГАМБС. СТИЛЬ ЖАКОБ. 1831

Тому кто мир творит, в нем неизбежно тесно;
свобода творчества пред временем слаба.
Но знает виртуоз, когда и что уместно:
где хорошо литье, а где нужна резьба.

Кто постарался жить среди других заметней, –
оставит славный след не только в маркетри.
По счастью, Петербург дарует ночью летней
возможность рисовать до утренней зари.

Бесценен махагон для камертонной деки, –
но если он чурбан, то грош ему цена.
Вся слава Рэнтгена осталась в прошлом веке,
однако мастеру и подпись не нужна.

Великий Чиппендейл нигде не экономит,
к чему художнику искать другой пример?
У императоров ничто карман не ломит,
и можно двадцать лет убить на секретер.

У правого плеча Господень соглядатай,
и посеми всегда уверенна рука:
тому, кто не рыдал над грушей свилеватой,
витувианского не сделать завитка.

Одно лишь правило, как прежде, так и ныне:
начнешь десюдепорт иль зеркало-псише, –
трудоу на целый год, зато презент княгине,
и, стало быть, у всех спокойно на душе.

Берясь за палисандр, его не исковеркай,
не размышляй, кого ты по миру пустил;
а кто там за любовь расчелся жардиньеркой,
тот сам подумает, кому переплатил.

Цари сменяются быстрее, чем гарнитуры,
чуть коронация, и тут же рвется нить,
но рафаэлемы приветствуют амуры
того, кто секретер способен оценить.

Уж потому, что кап хорош для интерьера,
придворный поставщик избавлен от невзгод;
мечта, а не заказ, – да только вот холера
на осень выпала в тот окаянный год.

Пусть все отделано и правильно обшито,
но по земле метет опавшую листву,
но мастер отошел в край вечного самшита,
и Пушкин снова сжег десятую главу.

ВАСИЛИЙ ОГОНЬ-ДОГАНОВСКИЙ.
СТОС. 1838

Был в жизни ты гончак иль драпал от погонь?
Ты был ли альбатрос иль птичка-невеличка?
...Кто вспомнил бы о том, что догорел огонь,
когда бы не сия убогая табличка.

Хрень мемуарная, мышинная возня,
попытка прошмыгнуть под кустик исполинский.
Огнем не опален, выходит из огня
знакомый Пушкина, известный Чекалинский.

Кто стал бы ждать тебя с дубиной за углом?
Илья Иванович или Иван Паисыч?
Спроворил ты, герой, за карточным столом
всего лишь сорок семь небогатырских тысяч.

Коль снисхождения не просишь у богов,
то будешь вкус искать в дуранде и баланде.
Коль скоро семпелем не выйти из долгов,
то для чего твердить «атанде», да «атанде»?

Переменяется игроцкая латынь,
то хамоватее становится, то строже:
«атанде» кто ж поймет, зато поймут «отзынь»,
что для картежников почти одно и то же.

На стороне твоей непостоянный рок,
и потому играй и попусту не цыцкай:
вся память о тебе – вахлачистый игрок,
что в дом на Дмитровке мотается с Никитской.

Непросто ободрать его без суеты,
он не такой уж лох, как видится кому-то,
два раза проиграть ему обязан ты,
никем не пойманный маэстро баламута.

Почти ничтожен шанс попасться на вранье,
ударить в грязь лицом в эпоху макадама,
и вся при этом цель – ответить при плие
великой репликой: «Убита ваша дама».

Ты тленья убежал, спаси тебя Христос,
пляши теперь, паяц, хоть плавно, хоть вприскокчу,
на эти тысячи, что выиграны в стос,
хотя не сорок семь, а двадцать, и в рассрочку.

Пусть все доиграно, пусть вы теперь враги, –
колоды с ложками в одну могилу лягут.
Посмертно выплатят тебе его долги,
но ты переживешь его всего-то на год.

Уместно ли овсу лежать по закромам?
Ведь все одно сгниет он поздно или рано,
и потому пора отправить по домам
бухих кибитцеров дворянского катрана.

Но у кого набой, так у того стрельба,
и то уж хорошо, что ты в беду не влип там,
к тому же бонус есть: тебе дала судьба
в монастыре Донском увидеть свой постскрипtum.

И вот подходит ночь, и свет последний скуп,
толпятся призраки и сбрасывают маски,
и тонет в вечности попавший под сюркуп
«Знакомый Пушкина», теперь навек в замазке.

«Знакомый Пушкина» – надпись на указателе по направлению к могиле В. Огонь-Догановского в московском Даниловом монастыре.

МИХАИЛ МАГНИЦКИЙ.
ЖИДОБОР. 1844

Маленький дракон – до старости геккон.

Василий Щепетнев. Хроники Навь-города

Кто в госпитале сем главнейший санитар?
Кем гнусная сия затеяна интрига?
За избавленье Русь благодарит татар
от европейского мучительского ига.

Пусть университет ответит за позор.
Откуда свиньи туг, и ждать ли опороса?
К татарам во Казань назначен ревизор,
и университет определен для сноса.

Здесь силу гнусную явил жидомасон:
он злобу как икру на государя мечет.
Казани все равно – масон иль патиссон,
но вот Магницкого сей факт отнюдь не лечит.

Ты, университет, на Волгу зря глядишь:
готова у него дружина боевая.
Он в точности узнал, что это рыба-фиш
здесь прячется, себя за стерлядь выдавая.

Златая рыбка, ты ответишь за Казань,
не снастью грозен враг, но квотою на вылов,
и не спасет тебя кутумская тарань
от славной армии его славянофилов.

...Ты рвался воевать, но выдохся запал.
Уж лучше бы тебе бежать в чужие земли.
Какого лешего в масоны ты вступал?
Чтоб скрыть, кто мать твоя, – скажи-ка, не затем ли?

Чего добился ты, за славою гонясь?
Не на халяву ли решил ты цапнуть славу?

Доносы на себя хранит великий князь,
а, став царем, тебе припомнит ту маляву!

Кабан подзакусить является под дуб
и там же пяточком уныло землю роет.
Нашелся Валленрод: полез в масонский клуб,
а сам не человек, но сущий антропоид.

Кто хочет лишнего, – получит по усам,
и не дойдет его мольба до херувимов,
и подсел его не кто-нибудь, а сам
казанский прокурор, советник Херувимов.

Зачем позорище тащить на пьедестал,
и надо ли цветам цвести среди отбросов?
Печально прадеду, на коем возрастал
на русском севере великий Ломоносов.

Таким вот правнуком Всевышний наградил!
И прадед в дураках, и деньги сняли с кона.
В Одессу выселен столичный крокодил,
из малой ящерики доросший до дракона.

Не очень длинный путь окончить надлежит,
и там, где зоопарк, со стороны причала
в Новощепном ряду в безвестности лежит
свидетель дивных дней прекрасного начала.

СТЕПАН МИХАЙЛОВ.
СОЛОВЬИНЫЙ САД. 1846

Утихает природа, жару выдыхая,
наступившая ночь коротка и темна,
и почти не колеблется ветка сухая,
непреренно сухая для песни нужна.

Тут названья не надо писать на табличке:
меж бушующих майских кустов бирючин
соловей драгоценной старинной поклички
к перелету кукушки подводит почин.

В эти миги легко повредиться в рассудке,
только вслушаться душу свою приспособь
в эти пульканья, пленканья, лешевы дудки,
водопойную россыпь и громкую дробь.

И певцы голосисты, и листья росисты,
и внимающий пению числит в уме
стукотню и желну, оттопочки и свисты,
чуть не сорок колен различая во тьме.

Шелестит бирючина, и запах неистов.
Темен Тускари влагой наполненный лог.
И налажен умело для лучших солистов
у Степана Михальча верный силок.

...Жаль, что это мечта: век отпущенный прожит,
вся судьба умещается в несколько слов:
нынче больше до Курска доехать не может
на Бутырках живущий старик-птицелов.

Соловьи – утешение дней стариковых,
и певца, у которого трель хороша,
никому не продаст и за двести целковых,
хоть бывает, неделю сидит без гроша.

Так вот он и живет, повинуюсь закону:
то, что радует слух, – безразлично для глаз.
Так знаток лишь мгновенье глядит на икону,
узнавая манеру, письмо и левкас.

Тут все то же: он ведатель тайного знака,
не обманет его ни один продавец,
для него никогда не поют одинако
ярославский, и тульский, и курский певец.

...Чище пламя души и природа понятней,
если ждешь, затаивши дыханье во тьме,
и единою кажется мир соловьятней,
что слилась воедино в любой уреме.

Только песня звенит, затихая в просторе,
только кроткие звезды сверкают с высот,
те, которыми выслан, как темный киворий,
упойтельный курский ночной небосвод.

И, от мысли о смерти легко отвлекая,
эта песнь никому не пророчит беду,
и, как кем-то отмечено, песня такая
будет вечно звенеть в соловьином саду.

ГРАФ ЯНУАРИЙ ТОЛСТОЙ.

1846

Время – не враг, а всего лишь лазутчик,
путь его тягостен и бестолков.

Платовский двадцатилетний поручик,
мог бы ты сгинуть в колодце веков.

Добропорядочный граф Януарий,
воин, помещик и аристократ:
ты согласишься, что опасный сценарий
выбрал для жизни твой бешеный брат.

Брат, из судьбы сотворивший качели,
к гибели часто спеша на блины,
бит никогда не бывал на дуэли
и ускользал от ловушек войны.

Высажен по капитанскому знаку,
с берега выли и хулил небеса,
съесть собирался родную макаку
за неимением любимого пса.

Он, нахлебавшийся страхов изрядных,
ветер фортуны ловя на лету,
перебиваясь в краях людоядных,
был разрисован цветными тату.

Тут не спустить бы ненужные краски,
не упустить бы мозги за кордон,
ибо Толстых и макак на Аляске
обороняет святой Спиридон.

Глянь – и тебя, и беспутного братца,
целит судьба отоварить под дых,
ибо не хочет она разбираться:
пара Толстых – или пара гнедых.

В споре про ваше семейство, ей-богу,
кто бы поставил проблему ребром:
все же твою или братнюю ногу
ухнуло в битве французским ядром?

Спяну не стоит плясать на шаланде,
слухов и сплетен хватает с лихвой.
Все перепутал Ивашка Липранди,
пивший с тобой или с ним под Москвой.

Может, поставим события рядом
и через миг подивимся вранью:
брату заехало в ногу снарядом,
пулей контузило ногу твою.

Кнут не помог, – не поможет и пряник,
вот и пойдет городить чепуху
дикую ваш травоядный племянник,
миру всему предъявивший соху.

Взявши в бретерстве последнюю планку,
перед потомками встав на дыбы,
брат обезьянку сменял на цыганку,
лихо пляша под волынку судьбы.

...Так вот и тянутся пляски, о коих
глупый племянник сказать бы не мог.
Так вот и слышится в гулких покоях
грохот гусарских контуженных ног.

Больше никто не ответит на вызов,
и сатисфакции больше не жди,
синяя птица с далеких Маркизов,
феникс на голой толстовской груди.

ГЕРАСИМ СТЕПАНОВ. КАНЦУМЕЙ.
1851

Смотреть в былое – грустная забота.
Вот потому-то говорить не смей,
что означает в дни твои хоть что-то
таинственное слово «канцумей».

Узнай, что в обучении небыстром
без слов таких не обойдешься ты.
Из поваренка сделаться кухмистром
любой мечтал бы, стоя у плиты.

Вникая в мякоть прошлого сырую,
не осуждай, но посмотри туда,
где я варю, тушу и фарширую
собственноручно каждого дрозда.

Все изменяется: не так давно ведь
читать и вовсе не умели мы;
а нынче по рецепту приготовить
не сможем ни ушного, ни юрмы.

Смотри, смотри: обломки жизни прежней
уносятся, хотя и поделом,
что ни сыты, ни толокна, ни дежней
никто уже не просит за столом.

О том, что ест, не размышляет нищий,
но на дворе и в кухне в этот час
уже не то, что прежде было пищей,
но и не то, что будет после нас.

Давай-ка дверь в минувшее не торкай,
зато без умиления взгляни
туда, где лебедь вместе с красноперкой
печальные оканчивает дни.

Смотри туда, где век ревет от боли,
где сроду ни один не цвел цветок,
там наша жизнь, и там она не боле,
чем зачерствевший хлебный ломоток.

И возражать уж боле не умея,
помалкивай, но удержи в уме
герасимово чудо канцумея,
как мы произносили консоме.

Звенит истертый золотой арабчик
но он уже не нужен, потому
что в этот миг последний русский рябчик
кричит и плачет, падая во тьму.

**ЯКОВ-ШЕМАС УЭЙЛИ-ВИЛЬЕ.
АНГЛИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 74. 1854**

Ежели царь без штанов и в белье, –
точный диагноз поставить несложно.
Шемас Уэйли иль Яков Вилье, –
как тебя звали – решить невозможно.

Новые лица взирают с монет,
новые в небо восходят планеты.
Если в России чего-то и нет, –
то в дефиците у нас баронеты.

Душен дворец, как курная изба,
но над столицей гремят фейерверки.
Грустная выпала Павлу судьба:
апоплексический звон табакерки.

Батю его загубил геморрой,
да и с тобою стряслась одиссея:
был не шотландцем ты, а немчурой,
по утверждению деда Евсея.

Были у деда мозги набекрень,
если искал тебя среди австрияков
он, сочинивший подобную хрень:
ты уж прости нас, таинственный Яков.

Тут что ни факт – то сплошной обиняк,
а без него распознаешь отколе:
прооперировать сотню бедняг
за день у фронта бывает легко ли?

Только и ясно – вот Бог, вот порог,
трудишься, вечно судьбою мытарим,
а впереди-то сплошной Таганрог,
с вроде бы кончившим дни государем.

Вроде бы все позабыто давно,
только вот вывод последний порочен:
яблок раздора на свете полно,
что не обходятся без червоточин.

Верится в некие вещи с трудом:
вечно рискуем, не ведая брода.
Свой благородный демидовский дом
зря превратил ты в источник дохода.

Вроде бы просто жалеешь птенца,
только откуда взялась лихоманка?
Может, пускать бы не надо жильца, –
этого самого Сендера Бланка?

Часто у парня рожала жена:
шестеро деток явились в рассрочку,
все бы и славно, когда бы она
не родила предпоследнюю дочку.

Если бы тут обошлось без бабья, –
мы бы плясали за милую душу,
было б чудесно, коль дочка сия
не повстречала бы в Пензе Илюшу.

Если б они под венец не пошли,
не получился бы явный излишек
слишком опасных для русской земли
неугомонных поволжских детишек.

В суп нежелательно класть купорос,
лучше не путать с макакою фавна.
Всех перепортил квартирный вопрос,
а уж историю нашу подавно.

Лес порубили, – осталась щепка.
С щепками смешаны рожки да ножки.
Быстро доводит прямая тропа
с ропшинской вилки до цинковой ложки.

Эта тропа не для нищих бродяг,
Вот потому уходи и не мешкай,
и не смотри, как гадальный медяк
гнусно грозит двустороннею решкой.

МИСТИКА СУХАРЕВСКАЯ И БАСМАННАЯ

Никаких близнецов не кормила волчица, –
ну, а все остальное потомки сочтут.
Апокалипсис может, конечно, случиться,
только он, безусловно, случится не тут.

Духовиты курения в здешнем кадиле,
и отравлены самую злою травой:
нигилисты народ до того добудили,
что приперся в столицу народ таковой.

А вокруг колгота, лимита, голодранцы,
и попробуй избавься от этой братвы,
на костяшках которой подводит баланцы
белоснежно-цыганская совесть Москвы.

Это нищий баланец истории грустной,
где маячат тенями философ больной
и злокозненный Брюс с бородой а-ля-рюссной,
изведенный лакеем и подлой женой.

Только счастья бабенкиной углой душонке
не сулят беспощадные чаши весов,
и уныло по нервам скребут шестеренки
колдуном на Мясницкой взведенных часов.

...Не умея овсы отличать от кокосов,
от кунжута ячмень и от свеклы женьшень,
осаждает безумный басманный философ
недовольную смертью шотландскую тень.

В них едино лишь то, что таятся от света,
и один разоряется ночь напролет,
что Россия идет а-ля-то, а-ля-это,
а другой говорит, что совсем не идет.

По философу горько рыдает больница,
но философ не лезет за словом в карман:
триста лет, мол, Россия в Европу стремится, –
но в ответ лишь смеется фельдмаршал-шаман.

Он-то знает: в аду не ищи филантропа,
он-то знает, почем и какой эполет,
он-то знает, в которое место Европа
безоглядно сползает три тысячи лет.

Но увы, ни к чему не ведут диалоги, –
хоть друг друга несложно понять племенам.
В самоедской коптильне и лондонском смоге
все же общего больше, чем хочется нам.

Не кончается спор, никого не позоря,
кто судил, сомневаясь, – вовек несудим,
и поскольку никто не выходит из моря,
ни на ком не видать десяти диадим.

Нет багряного зверя, и тема закрыта,
задыхается мир в самоедском дыму,
консультант с сожалением чешет копыто
и по лунной дорожке уходит во тьму.

Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов.

Петр Чаадаев. Апология сумасшедшего

СТРАННИКИ В НОЧИ

Что известно двоим, – то известно свинье,
чист ли ты, как стекло, или пьян как сапожник.
О почтенном Дюма и о мэтре Гютье
повествует старинный двенадцатисложник.

Для начала о том, кто душою велик,
кто, скитаясь по трактам от Питера в Потю,
разглядит воровство, малахит и шашлык,
и великую мощь православной щепоти.

Кто расскажет о горькой судьбе городов,
где народы живут, только водкой спасенны,
про медвежью охоту наврав сто пудов,
промолчав о судьбе эполета Массены.

И о том, как богат новгородский купец,
и о том, где достаток и где недостаток,
и о том, как приятен российский скопец,
и какие профиты от красных перчаток.

И о том, как повсюду неграмотен люд,
как опасна в России царева немилость,
и о том, как прекрасен грузинский верблюд, –
обо всем, что ему на востоке помстилось.

Но однако же – две головы у орла,
так что пусть и другая предстанет картина,
чтобы юность в грядущем спокойно могла
не читать несъедобную книгу Кюстина.

Будут факты и мысли довольно верны,
но состроишь гримасу и тут поневоле,
прочитав о красотах кремлевской стены
не иначе как прямо на Марсовом поле.

Но читать и приятно, и даже легко,
как размеренно падают в русскую глотку

чуть не все виноградники тети Клико
под колбаску, ветчинку, стерлядку, селедку.

Здесь цыгане поют, здесь покой и уют,
потому и уместно рассказывать дале,
как повсюду в России к столу подают
то, чего россияне вовек не едали.

Как отрадно постичь в этом чуждом доме,
что, на зависть парижским писательским стаям,
много проще писать о России тому,
кто в России читаем иль просто листаем.

...Тут себе позволяю ремарку одну,
не в обиду тому, кто писал мимоходом,
все же вряд ли разумно любую страну
постигать не умом, а одним пиццеводом.

Хорошо рассуждать, коль живешь вдалеке,
мол, не просто, а прячась под крышкой короны,
сотни лет для кого-то кипит в котелке
двухголовый птенец византийской вороны.

Так что по лбу себя, драгоценный, не бей,
ибо эта зверюга – серьезного вида.
И последний совет: не кричи «воробей!»,
если видишь, что мчит на тебя стимфалида.

20 сентября 1799 года французы, выставив впереди густую стрелковую цепь, повели наступление тремя колоннами по обоим берегам реки Мутен. Между передовыми частями русских и французских войск началась перестрелка. <...> Неожиданно для французов Милорадович развел передовой отряд в обе стороны по склонам и французские колонны очутились перед главными силами Розенберга, укрытыми в виноградниках по всей ширине долины. <...> Последовала атака русских войск. <...> Сражение переросло в истребление французских войск. Унтер-офицер Иван Махотин добрался до Андрэ Массены, схватил его за воротник и сдёрнул с лошади. На помощь командующему бросился французский офицер. В то время, как Махотин, повернувшись к нападающему, ударил его штыком, Массена успел бежать, оставив в руках суворовского воина золотой эполет, опознанный попавшим в плен генералом Ла Курком и предьявленный Суворову.

ОТЕЦ МАТФЕЙ КОНСТАНТИНОВСКИЙ. АНАКСИОС¹. 1857

Тебе также и то известно, что умерщвляет
страсти: поменьше да пореже ешь, не лакомясь,
чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу,
да и то, когда захочется, с хлебцем; меньше
спи, меньше говори, а больше трудись.

О. Матфей Константиновский

Каков реестр, таков земной владыка.
Каков приход, таков архимандрит.
Внимают все, от мала до велика,
тому, что он с амвона говорит.

А он речет, что лучшей нет задачи,
чем выгравить из тела естество:
молитва благодатна наипаче,
коль не вкушаешь вовсе ничего.

Молчит толпа, осмыслить не умея
неистово гремящие слова.
Он голубя мудрей и проще змея,
он хищный овен, оборовший льва.

Язык двуострый от рожденья даден
тому, кто ум в себе переборол,
тому, кто наиболее торквемаден
из ржевских и тверских Савонарол!

Он служит, никому не отпуская
греха еды и подлости питья.
А Гоголь для него – свинья мирская,
из всех свиней грязнейшая свинья.

Он желчен, он на мир глядит угрюмо,
но счастлив тем, что он – властитель дум.

¹ Недостоин! (Возглас в церкви.)

Жаль, не найти во Ржеве Аввакума:
глядишь, его прибил бы Аввакум.

Равно глухой и к избранным, и званым,
он постигает козни Сатаны,
и все твердит убогим прихожанам,
что еще Бог по нас, то кто на ны?

Он чудеса готов являть кликушам,
во зло умеет обратить добро.
Каким таким-сяким поганым душам
писатель смеет посвятить перо?

Какая драгоценная отрада:
за друга выдать общего врага,
лишь аккуратно собственные надо
эпитрахилью обмотать рога.

...Листы в камине тлеют, догорая,
но не горит в камине первый том.
Невелика потеря – часть вторая
в сравненьи с тем убийственным постом.

Прикованный к убожеству скудели,
в упертости ничем непробудим;
плевать ему, что на страстной неделе
«Анаксиос!» – промолвит серафим.

И, тщетно на прощенье уповая,
уже летит, ко Господу спеша,
его душа, пока еще живая,
его навеки мертвая душа.

ДВЕ МАКАРЬЕВНЫ.

1860

Беда Макарьевнам, и Ольге, и Матрене!
Сколь ни усердствуйте в молитвах по церквам, –
что в лужу шлепнетесь, что сядете на троне,
всё в пустосвятыхах обозначаться вам.

Понятно, у сестер характер не подарок,
так не на них одних нигде управы нет,
но вот чтоб их найти среди нянек и кухарок, –
так оторвать язык за эдакий совет!

Есть у молитвенниц по ключику от рая,
а там, в раю, для них – родимый домострой.
Кто первая из них, а кто из них вторая?
А, может, вовсе нет ни первой, ни второй?

Какая-то из них всегда придет и примет
не подаяние, но плату за труды:
благословит сундук и сглаз с невесты снимет,
вдохнет в приданное отсуху от беды.

Для свадьбы – талисман всегда наизготовку,
в мешочек вышитый кладут наверняка
соль четверговую и макову головку,
лоскутик шелковый с кусочком чеснока.

Внушительна сия фигура щегольская,
во всех решениях она – как член семьи.
Какая-то из них, – а вот пойми, какая? –
с любым девишником горазда гнать чай.

Струится дым кадил, стыдбой глаз не выев.
От бабьей наглости захватывает дух.
Грядет Макарьевна на богомолье в Киев, –
и не поймет никто, – которая из двух.

И с ней увечные: слепцы с поводырями,
обрубки жуткие кто драки, кто войны,
с гнилыми язвами, со рваными ноздрями,
безногие скопцы, немые горбуны.

Их не сочтет никто: ну, разве для порядка.
Подобная орда не обратится вспять.
Запишем: странников – всего-то два десятка,
всего десятка три, четыре или пять.

И мерзок вид толпы, и тошнотворно жалок,
зато Макарьевна блаженствует зело.
И к новолетию, под стук костей и палок,
три сотни человек до Киева дошло.

Старуха лыбится звероподобной харей,
какую не сыскать меж тухлых упырей.
Тут вспомнишь пастуха по имени Макарий,
что сдуру наплодил подобных дочерей.

О нем подумавши, припомнишь следом мать их,
а также и телят, что выросли в быков,
а заодно и всех российских пустосвятих,
чьих матерей любил поэт Иван Барков.

Кто душу в них нашел, ее немедля сцапал.
Удобно пользуясь ночьюю темнотою,
две черные свечи старухи ставят на пол
и долго молятся, воззрясь в киот пустой.

Пусть регистрируют приверженницы шайки
не просто каждый вздох, но даже каждый чих,
и сочиняют пусть восторженные байки
о славном подвиге спасения купчих.

Не надо ничего описывать и трогать.
Ну, черный властелин, на землю поспеши.
А, впрочем, что просить: ты лишь протянешь коготь,
и обе приберешь чудовищных души.

ГРАФ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ. ЖИЗНЬ В ОГНЕ. 1863

Вольется и конец в начало,
И всё, что будет и бывало,
Рекою в вечность протечет;
Проглянет вечности денница,
Поглотит числа Единица,
И не вечерний узрим свет.

М. Дмитриев-Мамонов. Огонь

Не то широкий путь, не то скорей лыжня,
не то тропа в бору, которой нет угрюмей.
Полвека от огня до нового огня,
от молодых безумств до старческих безумий.

Полвека псу под хвост: позор для старика.
Кругом – опекуны кислей любых лимонов.
Он – генерал-майор казачьего полка,
он не «мамоновец», он Дмитриев-Мамонов.

Как ныне объяснить бессчастия сии,
как в сердце истребить те памятные лета,
и год двенадцатый, и город Форлуи,
и оба сорванных с мундира эполета?

Легко ли с нынешней смириться срамотой,
с ниспровержением в домашны казематы,
и жаль не юности, а сабли золотой,
и не мундира жаль, а пушкинской цитаты.

Благоразумие тут за безумье чтут,
и потому душа сомненьями томима:
что лишний монастырь, что римский институт
России могут дать, безнравия помимо?

А враг – ну что с того, что жезл в его руке,
в том губернаторе о чести нет помина:

он лыка на родном не вяжет языке
и с Рюриком равнять дерзает Гедимины!

Мошенник и подлец, трусливый сей кадет
бездельничать горазд и мыслить злосюжно,
дивиться ли, что он порядок не блюдет:
от лавки оторвать не посягает гузно.

Врачей присылывал, мерзавец, ономясь,
ужо отправить бы их к черту на гостинцы,
но этот хоть и мразь, однако все же князь, –
а те Романовы и вовсе суть голштинцы!

Ничуть опека в нем не укротила нрав,
хотя и грош цена любой его угрозе.
И бродит по дворцу полубезумный граф,
терзаемый врагом, давно почившим в бозе.

Здесь выход не найдешь, и вечно заперт вход,
суть заточения взаправду ли осилишь?..
Десятка два собак и мальчик-идиот
ему сочувствуют, и бродят с ним одни лишь.

Молитва или брань – вот весь его словарь.
Он мелко крестится, укладываясь тяжело,
того не чувствуя, что источает гарь
от выпавшей свечи затлевшая рубашка.

Но старику во сне мерещится война,
где пахнет порохом осенняя природа,
где жизнь не дорога, где мчат сквозь пламена
герои-казаки двенадцатого года.

«... граф Мамонов, сын одного из фаворитов Екатерины II (двоюродный брат моей жены), юный обер-прокурор Сената, вызвался выставить и содержать на свой счет полк. Гусарский Мамоновский, под названием бессмертного, начал формироваться; командиром его назначили 23-летнего графа Мамонова, с переименованием в генерал-майоры. Сам ли он набирал в офицеры полка отчаянных гуляк, или всевозможные оборвыши и пройдохи и купеческие сынки такого же рода сами ворвались к нему в офицеры, вышло только, что вся эта моло-

дежь во время формирования полка забуянила, загуляла, самоуправничала, требовала всего, не платя ни за что, рубила, пожалуй, хоть и плашмя, своими саблями своих, а не чужих, и довела весь полк до того, что его вынуждены были через несколько месяцев раскассировать, старших офицеров отдать под военный суд, а самого Мамонова заставить выйти в отставку и снять генеральский мундир и эполеты, которые так шли к его красивой наружности. С этого самого времени, как известно, он предался ипохондрии, сошел с ума, и в этом самом состоянии два или три года тому назад умер...»

Д. Свербеев

<...> Конституционные проекты Мамонова были опубликованы в 1906 году. Они включали отмену крепостного права, превращение России в аристократическую республику с двухпалатным парламентом (наследственная палата пэров и палата депутатов). Одной из целей ордена было «лишение иноземцев всякого влияния на дела государственные» и «конечное падение, а если возможно, смерть иноземцев, государственные посты занимающих». Иноземцем же «перестает почитаться в ордене правнук иноземца, коего все предки, от прадеда до отца были греко-российского вероисповедания, служили престолу российскому и в подданстве пребывали, не отлучаясь из России». Это положение было прямо направлено против Александра I, который по мнению Мамонова (параграф 53 «Статут» ордена) был иноземцем, так как являлся внуком голштинца Петра III, и к тому же часто выезжал из России. Средством осуществления преобразований граф полагал военный переворот.

<...> В 1823 году у графа умер камердинер и был нанят новый, из вольных людей, мещанин Никанор Афанасьев, бывший крепостной человек князя П. М. Волконского, начальника Главного штаба и одного из руководителей политического сыска, на чье имя и поступил в марте 1822 года донос Грибовского. В доносе этом сообщалось о неожиданной активизации «полагавшегося давно исчезнувшим» Ордена Русских Рыцарей и прямо называлось имя Мамонова. По свидетельству сына учителя русской словесности в доме графа Мамонова, новый камердинер не столько выполнял свои служебные обязанности, сколько шпионил за графом. Тот, подозревая в слуге правительственного агента, приказал его высечь. Пострадавший явился в Москву к военному губернатору князю Д. В. Голицыну. Тот немедленно направил в Дубровицы своего адъютанта, а когда Мамонов его прогнал, в село явились жандармы и отряд солдат, которые и арестовали графа.

<...> 7 июля 1825 император Александр I утвердил мнение Комитета министров о признании генерал-майора М.А.Дмитриева-Мамонова безумным и учреждении опеки над ним, а также над всем его имуществом. <...> В 1826 граф отказался присягнуть Николаю I, был объявлен сумасшедшим и над ним установлена опека. С 1826 жил в подмосковном имении Васильевское, в 1840–1860 был уже совершенно сумасшедшим. <...> Умер он от ожогов, причиненных случайным возгоранием смоченной одеколоном рубашки.

Компильция по источникам

СТРУФИАН.

1864

В гербе страны – двуглавый конь в пальто,
сидящий на зазубренном заборе.
Непогребенный Неизвестно Кто
три дня лежал в Архангельском соборе.

Его сюда доставили с трудом,
обернутого желтою рубахой,
из города, где высился дурдом
над речкою Большою Черепахой.

Нередко наилучшему уму
не отличить комедий от трагедий.
Ищи теперь в веках того Кузьму,
что по-отцовски звал сыночка Федей.

Считал ли он, что все кругом враги
и лучше будет их казнить заране,
и собирался ль вымыть сапоги
в каком-нибудь Индийском океане?

Кто для него устроил водевиль,
кто требовал того, чтоб он отрекся?
И был ли у него второй Яшвиль,
специалист по части апоплексий?

Поди сынка такого узаконь, –
вмиг зашипит гадюка подколодна.
Но на Руси могуч двуглавый конь,
и волен царь считаться кем угодно.

Бегут, бегут бубновые тузы
из Таганрога в горку и под горку,
чтоб в городе татарского мурзы
однажды угодить в большую порку.

Поди теперь молву утихомирь.
Любой сгодится образ для кивота,
и Неизвестно Что ушло в Сибирь
во имя искупления чего-то.

Шли слухи меж гиббонов и макак,
экспромт не отличался от экспромта,
и умножалось неизвестно как
сказание про что-то и о чем-то.

Что делать – трон достался племяшу.
Однако продолжать я не рискую:
весьма боюсь, что тайну разглашу,
притом еще хотел бы знать – какую.

Куда спокойней, право, для меня
плевать в поток времен быстробегущий.
Наследие двуглавого коня:
бессмертный оттиск на кофейной гуще.

Гремит все той же музыкой кабак,
не отличает форте от пиано,
и в вечность уплывает саркофаг
величественной тайны струфиана.

ВАСИЛИЙ СТАРИКОВ.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС. 1863

Зряще мя безгласна и бездыханна предлежаща,
восплачите о мне, братие и друзи, сродницы и
знаемии: вчерашний бо день беседовах с вами, и
внезапу найде на мя страшный час смертный...

*Иоанн Дамаскин. Стихира 6 гласа
на последнее целование (Чин погребения)*

Об иных говорят – «без особых примет»,
но и это бывает подарком.
Из него получиться не мог Ганимед:
посчитали его перестарком.

Был не очень жесток крепостничий режим,
тут причины имелись иные:
в мастерской он стоял нагишом, недвижим,
демонстрируя мышцы грудные.

Тут не нужен дохляк, ни к чему великан:
лишь бы просто стоял, рассупонясь.
Поднимался на подиум голый пейзаж
простоват, но красив, как Адонис.

Даже двадцать годов ему сразу не дашь:
подтекают у сплетников слюнки.
По бумаге противно скребет карандаш,
это юноши портят рисунки.

Дело даже не только в одном мастерстве,
возражать никакого резона,
потому как приятно видеть Неве
Аполлона, Луперка, Язона.

На жаре да на солнце стоять тяжело,
да и холод зимой всё свирепей,
а ему уже сильно за сорок зашло,
он скорей Одиссей, чем Асклепий.

Только труден любой заработанный грош,
только старится плоть, увядая.
Он все меньше на древнего грека похож,
и все больше – на Ваську с Валдая.

У Сатурна же всё и всегда задарма:
руки сморщил и темя повытер.
Получается, – вовсе пусты закрома,
ну и нужен ли бедному Питер?

Может, все это зря, может, все же не зря,
изменяется разве что дата.
Четверть века – достаточный срок для царя,
для натурщика и для солдата.

И Сатурну плевать, что дворец, что острог,
что друзья, что враги, что изгой.
За спиной – Петербург, за спиной – Таганрог,
впереди – ну хоть что-то другое.

Закипает под сердцем густой кровоток
и звенит в отпевальной стихире,
и уходит все дальше тропа на восток,
и теряется где-то в Сибири.

Служба в Академии Художеств предоставляла семье натурщика некоторую степень социальной мобильности. По архивным документам можно проследить карьеру некого Василия Старикова, «крестьянина села Шуйского», принятого на службу в Академию в 1837 году. А в 1860 году изначально неграмотный Стариков уже сам подписывал квитанции за выданное ему жалованье. Его сын Михаил, родившийся в 1835 году, учился в Академии на правах вольноприходящего ученика; возможно, именно он научил отца грамоте. В 1855-м Михаил был освобожден от принадлежности крестьянскому сословию и перешел на положение полноправного студента. В 1863 году Михаил, к тому времени числящийся свободным художником по гравированию, пишет красноречивое письмо в Правление Императорской Академии художеств с просьбой уволить страдающего ревматизмом отца со службы и разрешить вернуться в родную деревню на покой. Правление выделило Старикову пособие в 25 рублей серебром, в качестве вознаграждения за 26 лет усердной и отличной службы. На этом след натурщика Василия теряется.

ВСЕВОЛОД КОСТОМАРОВ.
ФОРЕЛЬ. 1865

Лучи так ярко грели, вода ясна, тепла...
Причудницы форели в ней мчатся, как стрела.

Кристиан Шубарт. Форель.
Перевод Всеволода Костомарова

В начале и в финале – одна и та же тьма.
Выходит, мы не знали про горе от ума!
Ни ряса, ни сутана безумца не спасут.
Блестящего улана не оправдает суд.

...Веселье, разговоры: гвардейский воротник,
савельевские шпоры, невероятный шик.
Шампанское, улыбки, счастливая пора,
немыслимые штрипки Савельева Петра.

Но, коль не больно ловок, – не тебеби звонок.
Не сочиняй листовок, коль скоро ты щенок.
С тобой лишь поиграли, сажая в равелин.
Ну да, сидишь в центре, так, чай, не ты один.

Кто водит хороводы, так тот и коновод.
Уроды и юроды – один большой народ.
От Писарева-хайла весь Петербург продрог.
Микола и Михайло отправятся в острог.

Ненастная погода, туманы и дожди.
Коль ты не из народа, туда и не ходи!
В его гнезде осиною доносы нарасхват.
Кто пахнет керосином, тот сам и виноват.

Смолкают птичьи трели, печален разговор.
Совсем не до форели, коль ропщет птичий двор!
А кто тут птица филин, а кто петух-индюк?
Тут сам святой Путилин предчувствует каюк.

Тут не процесс, а пытка для чаек и ворон.
Одна живая нитка, при этом с двух сторон.
Так стоит ли усилий усугублять беду
десятками фамилий, придуманных в бреду?

Зачем ходить кругами: мол, непонятно, где
тут Моцарт в птичьей гамме, где Шуберт на воде?
Скажите просто гаду, мол, ты бухой вампир!
Какой тут Шуберт, к ляду, какой такой Шекспир!

Срываются шевроны, нечистая игра.
Серебряные звоны без грамма серебра.
Финал перепродажи, и весь доход таков:
монет не тридцать даже, а пара медяков.

...Все тихо в мертвом доме, и все чернее сны,
и слухи о саркоме уже подтверждены.
Окончены уроки, застелена постель,
и плещется в потоке бессмертная форель.

Технически именно сыщик И. Д. Путилин и посадил в острог упомянутых Михаила Михайлова и Николая Чернышевского.

Серебряные шпоры серебра не содержат (таковое не звенит).

ОТТО ЛИНДГОЛЬМ.
РУССКИЙ МОБИ ДИК. 1866

Ни шашек здесь, ни пешек, ни фигур,
ни флейт, ни саксофонов, ни гобоев,
не Нантакет, а крошечный Тугур,
пристанище воров и китобоев.

Катран, сивуч, косатка и дельфин.
По морю мчится дикая охота:
два негра, два якуга, с ними – финн,
романтик-финн, тридцатилетний Отто.

Простор освободился ото льда,
и рвется растерзать морское лоно
прилив пятисаженный в час, когда
звучит тяжелый вздох евроклидона.

И за кормою птичий шум и гам,
и воздух прян и сладок, как наркотик,
и котики лежат по берегам,
и человека не боится котик.

А капитан в подсчетах и в мечтах,
он окоем осматривает синий,
он знает много больше о китах,
чем знал о них философ Старший Плиний.

И капитану думать не впервой,
что море повинуется мужчине,
и что киту от шхуны паровой
не схорониться ни в какой пучине.

Ни для кого сегодня не секрет,
что капитан от мира не оторван,
он ищет амбру, кожу, спермацет,
и если не китовый ус, то ворвань.

Гребцы отлично ведают о том,
что правит капитан нетерпеливо
туда, где лупит по воде хвостом
чудовище Шантарского залива.

И этот кит к сражению готов,
он белого, неправильного цвета,
и он к тому же больше всех китов,
и это очень скверная примета.

Любые люди для него – враги,
и знают китобои на Тугуре,
что древних гарпунеров остроги
еще торчат в его бесцветной шкуре.

Вот – разворот, и снова – разворот,
плавник взметнулся на огромном теле,
удар хвоста, – но ускользнул вельбот,
летит гарпун, – и снова мимо цели.

Не сбoret богатырь богатыря,
противник силой равен китобою,
здесь повстречались два морских царя
почти что с одинаковой судьбою.

Исхода нет сражению владык,
у каждого из них – своя держава,
не победит злоеший Моби Дик
зловещего шантарского Ахава.

Вельбот не приближается к киту,
пусть покидают силы кашалота,
но он опять ныряет на версту,
и вновь его не загарпунил Отто.

И капитан опять спешит на дек,
не в силах сдаться ни душой, ни плотью,
не ведая, что китобойский век
обрушился в утробу кашалотью.

Этот кит посещал Шантарскую бухту всегда один, никогда не пуская фонтана и только высовывая из воды дыхательное отверстие и часть головы; только один раз, когда автор почти что ударил его гарпуном, он ушел, сделав прыжок, который поднял большую часть его тела из воды. Цвет его был желтовато-серый, и на его спине было несколько белых пятен, одно из которых делало белым его дыхательное отверстие, что и давало возможность его узнавать. Множество уткородок виднелось на его коже и передняя часть головы была покрыта щетиною. Размеры его были громадны и вид его производил впечатление не кита, а скорее морского чудовища прошедших веков.

Отто Линдгольм

БРАТЯ ВЕРЕЩАГИНЫ. ДВА АПОФЕОЗА. 1869

Здесь нелегко воспрять от векового сна.
Спят человек и лес, и словно бы спросонья,
стерляжьей чешуей морщинится Шексна
меж тихих берегов родного Пошехонья.

Еще октябрьский лес прохладен и багрян.
По тихим старицам блестит плавник карасий.
Здесь начинался путь двух мальчиков-дворян:
знакомьтесь с Николая и пообщайтесь с Васей.

Брат Николай порвал с карьерой моряка,
и вот, профессию военную покинув,
в Швейцарии постиг блаженство молока,
чем, верно, насмешил других гардемарин.

В чем дело, – не сошлись, и разошлись добром.
Сметана – тоже вещь, любезны государи.
Меж тем Василия натаскивал Жером
на тигров и слонов, солдат и пифферари.

Дихотомия тут иллюзии сродни,
сноп не рассыплется, коль будет перевясло.
Да только нагло врет новейший Жомини,
что если пушек нет, то не дождетесь масла.

Коль ты согласен с ним, – вовек не возжелай
колбаски иль рыбца, ветчинки иль севрюжки.
И трезво рассудил помещик Николай,
что если масла нет, – то не помогут пушки.

Тут технология отчаянно проста:
коровья требует доения природа,
а молока не пьют по случаю поста,
куда ж девать его на полные полгода?

Стал Николай радеть о здравии коров,
голландскую мечту на Городне взлеяв,
он благодать низвел на головы сыров,
и сыр благословил великий Менделеев.

Но непоседлив был любимый младший брат,
он понял, что война нисколько не сметана,
но даст изобразить Бухарский эмират
и все, что сыщется в пустынях Туркестана.

Художник этот был отнюдь не тыловик,
и зрителям нужна какая-то остратка.
Он пирамиду им великую воздвиг,
что выстроил Тимур при взятии Дамаска.

Конечно, никого сие не вразумит,
не сыщешь стерлядей в тропической лагуне.
Поди не разгляди российских пирамид:
одна из черепов, другая из сулгуни.

Покуда масло бьют, – не будет кончен бой.
Ну и задачу нам вlepили два братана!
Выходит, со своей не справишься судьбой,
пока не разрешишь проблему Буридана.

И где ж теперь друзья, и где ж теперь враги?
Скажите, санитар, не велика ли доза?
Но то уж хорошо, что вдвинуты в мозги
не два сомнения, а два апофеоза.

**ПЕТР КИРИЛЛОВ.
ОКОЛО 1870**

Петр Кирилыч, Петр Кирилыч, слободчанин-угличанин,
прекрати в бумажку тыкать, перед публикой шалья.
Виртуоз-перемудрилыч, овощ наш белокочанен,
если сдачу смог заныкать, – так не более рубля.

Утомившись не впервые, все таскаешь до упада
коньячок, да под стерлядку для московских воротил.
Если прячешь чаевые, – значит, поделиться надо,
ну, а если спер десятку, – так пятерку возвратил.

И никем-то не ругаем, ты слугою безотказным
был, как витязь на картинке, во трактире дорогом.
Управлялся с расстегаем, как не снилось прочим разным,
и сходился в поединке с байдаковским пирогом.

Ты по первому же знаку от буфета мигом двигай:
жди удачи от фортуны и переходи на бег,
но не грохни кулебяку с осетриной и с вязигой
или самовар латунный на пятнадцать человек.

Коль запахло перегаром, – половые помоложе
гостю вмиг на стол поставят водку, пиво или ром.
Говорят, что всё – задаром, а попозже энтой роже
петр-кирилыча заправят, помянут тебя добром.

Всякой сделке сердце радо, – а купчина редко скарעד.
Крупный тут заказ иль мелкий, – брысь с подносом в кабинет.
Кто с удачного подряда полового не одарит?
И гремит в твоей тарелке колокольный звон монет.

Длится пьянка, час десятый, вечер тянется морозный,
гость, полнейший недоумок, и не знает, кто таков
этот тестовец мордатый, предъявивший счет серьезный, –
сто рублей за тридцать рюмок и пятнадцать пирожков!

Ты берег свои таланты на насмешки невзирая,
никому ничуть не ворог, ловко бегал по кривой,
не пошел в официанты, рестораны презирая,
ибо знал, насколько дорог расторопный половой.

Ах, как ловки были слуги, как подать на стол умели,
но подобные картины прошлым сделались, увы.
Светоч хрена и белуги очумел от бешамели
и в родные палестины мирно съехал из Москвы.

Как стареющие волки, годы тащатся устало.
Ты скучаешь, изучая, – где бы выискать жену,
и жалеешь, что на Волге вовсе разинцев не стало:
вот бы в качестве на-чая взять персидскую княжну.

Время ручкой помахало, больше нет красивых жестов.
Смерть готовится нагрязнуть, призадуматься пора:
ведь терпел тебя, нахала, многоумный Ваня Тестов,
чтоб сбегались люди глянуть на Кирилыча Петра.

Оказалась жизнь – уликой, но завидуют потомки:
нас в волненье повергая, вилкой правя, как веслом,
ты в канун войны великой удаляешься в потемки,
свесив ноги с расстегая, растворяешься в былом.

АРСЕНИЙ БЕЛОКРЫСЕНКО. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 1870

*(С извинениями перед Булатом Окуджавой:
навязчивый мотив...)*

Да весь мир познания не стоит тогда этих
слезок ребёночка к «боженьке».

Федор Достоевский. Братья Карамазовы

Если связался с дурною кумой, –
будешь расхлебывать кашу:
Деда Арсения звали Фомой,
Федором звали папашу.
Жил он в Симбирске вдали от семьи,
жил, погруженный в работу,
и за столом у соседа Ильи
сизживал часто в субботу.

...Вот и случилось ему на беду
в сумраке великопостном
в семидесятом печальном году
стать для Володеньки крёстным.
Ты присмотрелся бы к деткам Ильи:
нешто предчувствия ложны?
Что же надежные руки твои
столь оказались надёжны?

Нет бы младенца того утопить,
нет бы его уронить бы!
Нет бы отравы крысиной купить,
чтоб не дожил до женитьбы!
Нет бы пролить драгоценный елей,
нет бы сомнения вскипели,
нет бы во сне увидеть мавзолей,
шею сломать близ купели!..

Нет бы, своим убеждениям назло,
в яд обмакнуть полотенца!..

Сколько б народу за счастье почло
лично угробить младенца!
Нет бы утешить российский народ,
и не видать потрясений!
Что ж ты наделал, несчастный урод,
статский советник Арсений!

Миг одурения, миг забытья,
щеки небриты, шершавы.
Ты отвечай-ка: дитятя сия
стоит ли целой державы?
Время тоскливо свивается в жгут,
прячется жизнь за кулисы,
и с корабля обреченно бегут
белые-белые крысы.

**МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ
И ЕЛИЗАВЕТА АПОЛЛОНОВНА.
ПЕТЕРБУРГ. 1877**

Компания слегка навеселе,
игрой себя заранее дурманя,
не движется: на ломберном столе
атласные колоды Шарлеманя.

До сдачи шаг, ну так бы и вперед,
однако зреет яблоко раздора,
и Михаил Евграфович орет
заранее на бедного партнера.

Знай губернатор, что сдадут и где,
так пусть партнер бы и глядел на двери,
пусть даже и ходил бы по нужде, –
но стыдно сесть на ловленном мизере.

И жаль ему не двадцати рублѐв,
но лишь самой забавы стариковской,
где в мастерах – сенатор Лихачев
и Алексей Михайлович Унковский.

Никто не стал бы тут играть в кредит,
лишь Михаил Евграфович бедует:
как сядет за игру, так и сидит
хоть до утра, – а все одно продует.

Игра партнерам – отдых, интервал,
им завтра лезть в присяжничьи вердикты.
А он в обиде: чуть завистовал,
выигрывал уже, а вот подик-ты.

От ярости его – спаси Христос!
Того гляди, припомнит о рапире!
И то уж хорошо что тут не штосс,
да и не винт, великий дар Сибири.

Увы, душа писателя темна.
Просить его утихнуть – нет резона.
Не может с ним управиться жена,
Елизавета, дочь Аполлона.

Жена всегда – адамово ребро, –
легко ли, кстати, быть женой вулкана? –
пусть перед нею даже не таро,
а тридцать два кровавых пеликана.

Гадание – мучительная страсть
мадам Елизаветы Салтыковой:
но не нужна ей пиковая масть, –
влететь боится в интерес пиковый.

В итоге лишь сироп и благодать,
не отследить ни старца, ни блондина,
ни лошадь, ни мундир не увидеть,
коль нет в колоде пики ни единой.

Кричит супруг про «семь вторых» в гостях,
у старого цирюльника нафабрясь,
она ж гадает всё на трех мастях,
и занесен над миром черный лабрис.

У Сатаны сегодня славный клев,
и губернатор мчит на берег Леты,
где ждет его Порфирий Головлев
и верные червонные валеты.

...Из кабинета доносились громкие крики Салтыкова. Играли в игру, в которой участвуют каждый раз только трое, а четвёртый сдѣт по очереди. Салтыков самым решительным образом не позволял сдающему сходить с места и пройтись, чтобы отдохнуть. Вдруг распахнулись двери из кабинета, и в гостиную влетел Алексей Михайлович (Унковский, постоянный партнѣр Салтыкова по картам (1828–1893). – *Е.В.*) с видом совершенного отчаяния.

– Это уже ни на что не похоже, – завопил он, – не позволяет даже отправлять естественные надобности. – И быстро исчез в противоположенную дверь.

В. И. Танеев (брат композитора)

Вернувшись из Сибири в половине семидесятых годов, я застал Михаила Евграфовича уже первенствующим редактором «Отечественных записок» и по временам встречал его у В. И. Лихачёва, по воскресеньям вечером, где он обыкновенно играл в карты, причём А. М. Унковскому, его всегдашнему партнёру, доставалось от Михаила Евграфовича за всё: и не так сдал – вся игра у противников, и неверно сходил, и зачем садиться за карты, если в них ступить не умеет.

Л.Ф. Пантелеев

Елисавета Аполлоновна, жена писателя, раскладывая пасьянс, вынимала из колоды всю пиковую масть... – и гаданье сводилось к тому, что предсказывало ей одно только хорошее.

«Червонные валеты» – т.е. мошенники. Осенью 1877 г. начался громкий процесс по делу «Клуба червонных валетов» – великосветских московских аферистов. Салтыков-Щедрин принимал в процессе деятельное участие.

ПАРОХОД «САМАРКАНД».
1881

Шел корабль, своим названьем гордый.
Борис Слуцкий

Для барахтания в илистом ручье
не годятся баркентина и шаланда.
Шел колесный пароход по Сырдарье
под названьем «Королева Самарканда».

Перед нами – ординарный эпизод,
может, вовсе и не важный для народа.
Это был вооруженный пароход,
но дехкане не боялись парохода.

Для пустыни – что снаряд, что бумеранг.
Вряд ли нужен броненосец для Арала.
Не надеялся аральский кавторанг,
что дослужится до званья адмирала.

Не ходил он в слишком дальние края,
он командовал почти что плоскодонкой.
Да и то сказать, что в целом Сырдарья
проиграла бы в сравненьи с Амазонкой.

Пароходик шел почти что наобум,
половодие заканчивалось буйно;
но герой наш, рассекая Кызылкум,
скосбочась, сел на мель нитпрунинууно.

Обхохочешься в подобном шапито!
Жаль, на клоунов и прочих капитала
не хватало капитану, но зато
чувства юмора на многое хватало.

Выход найден был, притом весьма толков:
капитан, служа традициям и праву,

всё довольствие для бравых моряков
расписал согласно счетному уставу.

Кто на судне командир, – с того и спрос,
так что лучше ты с советами не суйся,
и не смей под страхом карцера, матрос,
засмеяться в гордый миг поднятья гюйса.

Крайне строго велся вахтенный журнал,
все на судне хоть за что-нибудь в ответе,
неохота попадать под трибунал,
если двинутся войска от Ак-Мечети.

Чтоб внезапность исключить наверняка,
капитан глядит в бинокль и курит трубку:
вдруг дредноуты придут из кишлака
и устроят мореходам мясорубку.

Отвлекаясь на учения порой
и законы соблюдая до упора,
года два наш скособоченный герой
простоял, подобно крейсеру «Аврора».

И поныне в чередѣ былых легенд
так и высится божественный избранник,
нашей доблести незримый монумент,
кызылкумский незадачливый «Титаник».

**МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИЙ.
МЕХМЕД САДЫК-ПАША. 1886**

Как старый лес грустит, внезапно обесптичев,
как в поле без коня тоскующий казак,
так без Чайковского печален град Бердичев, –
тут не заменю ни Конрад, ни Бальзак.

Всего тринадцать верст от той еврейской Мекки:
оттуда краток шлях до родины его.
Возможно ли забыть об этом человеке?
Он для предателей ужель не божество?

Уж лучше бы смолчал и с горя тихо помер,
а не стрелялся бы позорно с бодуна, –
и без Чайковского тоскует град Житомир,
и третья юная неверная жена.

Кто все-таки он был? Где воевал, где дрыхал?
Где жен чередовал? Где набивал кошель?
Не то чтоб Михаил, скорее польский Михал,
мукаррабун Микал, Михайло и Мишель.

Парижский артишок, стамбульский красный перец,
муслиским золотом подкованная вша,
в мечетях и церквях мелькавший троeverец,
турецкий генерал Мехмед Садык-паша.

Айранщик при козле и при коне кумысник,
доильщик при быке, – вот, в сущности, каков
России-матушки старинный ненавистник,
военачальник всех турецких казаков.

Способный выбраться хоть из дерьма во фраке,
хоть мокрым из огня, хоть из воды сухим,
умелец дерзко бить давно убитых в драке, –
воитель «кто как Бог», иль «ми кмо элохим»?

Ни слова ни о ком дурного не проявляв,
всю жизнь в любые лез безумные дела.
Не зря практичный дед, спасавший гайдамаков,
воспитывал его как гордого хохла.

Умевший процветать в любой удобной вере,
он нашивал кресты на белые чалмы,
и тем известен стал, что на его фатере
Мицкевич опочил, скорбя в канун зимы.

Кто знает, сам писал иль просто негра нанял,
он даже в старости не прозябал в тоске
и дюжину томов шутя награфоманил
на вроде бы родном шляхетском языке.

Благонадежный шут, ислам принявший Станчик,
парижский контрабас, балканский тулумбас,
фрукт экзотический: бердичевский дворянчик,
на дубе выросший кошмарный ананас.

Слюну роняющий при каждой дискобольше,
черты оседлости погромный автохтон,
предатель Турции, предатель даже Польши,
гречанкой преданный всего-то за пистон.

С дворянских свергнутый претензий и ходулей,
в доме приятеля седой поджавший хвост,
дерьма кипящего не охладивший пулей,
лишенный и жены, и права на погост.

Потомков эдакой судьбой не веселить бы,
да только вот Господь рассудок отобрал,
и удаляется во адовы селитьбы
сей обесчещенный рогатый генерал.

КАРЛ ФОССЕ.
ЖЕЛТУГИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 1886

Стрелять во всех врагов – не хватит пушек,
да и не факт, что вычислишь врага.
В Мохэ впадает несколько речушек,
и каждая речушка – Желтуга.

Жизнь без пролога, смерть без некролога,
ну, а душа, – а толку ли в душе?
При том, что в той душе – одна тревога,
и в душу не упрячешь лефоше.

Сидеть с лотком, – не надо быть учёну:
а тут совсем не нужен Лев Толстой.
Свезло однажды Ваньке-орочёну:
попался самородок золотой.

А Ваньку не подловишь на мякине,
на конкурентов смотрит бугаём:
мол, император – там, в своем Пекине,
мол, император – в Питере своём.

И поползли – убоги, голы, босы,
все те, кого зазвали на слабо:
старатели, бандиты, спиртоносы,
эвенки, орочёны и сибо.

И старики ползут, и малолетки,
и молокан полно, и могикан,
и вот уже сидит тигрица в клетке,
и возле клетки прыгает канкан.

Кипят в китайце, в боше, в малороссе
суля, ханшин и прочий алкоголь, –
и выбирают главным Карла Фоссе,
а у того один ответ – глаголь.

Сюда бегут из тюрем и острогов,
хотя обречена пойти ко дну
страна, не относящая налогов
ни в правую, ни в левую казну.

А тут еще жида, еще татары,
с бутарами валандаются зря:
а корчмарю совсем не до бутары,
все то, что надо, есть у корчмаря.

Приполз дракон, единым халком слопав
лотки, кубышки, ведра и лари,
и вышло так, что после златокопов
на Желтугу пришли золотари.

Что это было, что все это было?
Грозило тьмой, сумой или тюрьмой?
Отгарцевала сивая кобыла,
отгарцевала и ушла домой.

Уходит ветер, в даль Хингана дунув,
одним крылом проведши по тайге,
где черепа былых маоцзедунов
так и лежат горой на Желтуге.

Желтугинская республика в Приамурье просуществовала на реке Желтуге (притоке Мохэ, впадающей в Амур) три года – с 1883-го по 1886 год. Ее история началась весной 1883 г., когда ороchon Ванька, копая могилу для погребения своей матери, наткнулся на несколько золотых самородков. Начавшаяся золотая лихорадка привела к тому, что к концу первого города в «республике» жили почти тысяча человек; в конце последнего – едва ли не пятнадцать.

Первоначально в республике не было властей и она являлась по сути анархическим образованием. Но из-за разгула преступности на общем сходе были выбраны старосты, старшины и президент – Карл Фоссе, которого наделили неограниченными полномочиями. После чего были введены очень суровые законы, бандитов вешали, смутьянов изгоняли силой, за малейшие провинности наказывали публичной поркой. Первые две недели казни и порки происходили

постоянно. В результате этого в Желтугинской республике преступность резко сократилась.

Весной 1886 года империя Цин, недовольная существованием на её территории Желтугинской республики, переполненной русскими нелегалами, добывающими золото, выслала армию для ликвидации республики. С цинской стороны были задействованы конные эвенки-манегиры, отличавшиеся безжалостностью к побеждённым. Узнав об этом, многие жители бежали. После недолгого сопротивления республика прекратила своё существование. Китайских жителей казнили, отрубив им головы на центральной площади. Русских поселенцев вернули России.

**НИКОЛАЙ АШИНОВ.
НОВАЯ МОСКВА. 1889**

Надраться бы с горя, бутылку спроворя.
Доиграна русская зоря
от Белого моря до Черного моря
и даже до Желтого моря.

...Вноси предложенье, казак, деловое –
тверди, что, мол, козыри крести,
авось заработать не вдвое, так вдвое
надумает негус негести.

Касаемо синих китов и дюгоней,
нет в мире страны непреклонней:
ведь нет у России своих Патагоний
и нет африканских колоний.

Картечниц не вытащим мы из-за пазух,
на власть не разинем хлебало,
зато защитим от акул щелеглазых
троюродный род Ганнибала.

Совсем не жирафы и не носороги,
а только горячая ванна
нужна после очень далекой дороги
дружбану царя Иоанна.

И вот уж совсем неуместна забота,
что нет государственных грамот:
они не помогут, когда на Энтото
попрет из Судана Мохаммад.

При мысли о лютом арабском разбое
и мертвый восстал бы из гроба!
Поверьте, нам дорого море любое,
а Красное море – особо.

Завидуем вам, эфиопам везучим,
отныне все будет в порядке.
Мы Аддис-Абебу до завтра обучим
искусству игры на двухрядке.

...Приходится кончить печальную пьянку
и зубы упрятать в шкатулку:
рыча, итальянцы готовят тальянку,
французы – французскую булку.

А нам бы – всего только шаг до победы:
хватило б казенного кошта.
Однако сдурели совсем жабоеды,
стреляют ни за что ни про что.

Убого звучит окончанье романа:
ногою державной подрывав,
Россия утащит домой атамана
и сплавит к супруге в Чернигов.

И тут мы доходим до тягостной сути:
не зря дожидались арабы.
Сидели бы тише французы в Джибути, –
глядишь, их Россия спасла бы.

Вот так сорвалось эфиопское ралли,
бездарно умчалось в былое.
И в святцы записана вместо морали,
палящая горечь алоэ.

СЕРГЕЙ МОСИН. ТРЕХЛИНЕЙКА. 1891

Он вовсе не был из числа ловчил,
лишь заплутал меж трех российских сосен.
От пневмонии тихо опочил
прославленный Сергей Иваныч Мосин.

Он в жизни дров немало наломал,
обязан был вести себя ершисто.
Его отец прекрасно понимал,
что в жизни светит сыну кантониста.

И этой нищей доле вопреки,
затем, что был в труде куда как ловок,
наш парень поступил в ученики,
стал рисовать эскизы для винтовок.

Но над дальнейшим – разве что вздохну,
дела любви и смерти размежую:
он мог бы полюбить свою жену,
однако полюбил жену чужую.

Вот тут и пригодилось мастерство.
Взяла свое крестьянская порода.
Бердан вполне устраивал его,
но требовались деньги для развода.

Признать афронт способен ли жених?
Надеяться начнет на правоту ли?..
Бодался муж и жаждал отступных.
Сергей – работал на заводе в Туле.

Подобных в мире не найти ветрил!
Грядущий генерал отверг сиесту,
двенадцать лет винтовку мастерил
и заплатил калымом за невесту.

Цела семья, и дети спасены.
В двадцатый век, ямщик, гони коней-ка!
Загрохотав, на две больших войны
повисла над Европой трехлинейка.

Потомок, ты с оценками не лезь!
Еще не то вслепую прется в сети.
Не нам судить Фемиду, ибо здесь
любовь и смерть лежат на требушете.

Одно лишь равновесье в пустоте,
и не поймешь ни хорошо, ни худо:
что лучше, – знаменитый СВТ,
или родное шпагинское чудо?

Тут возникает тягостный вопрос:
легко ль перележать кошмар советский
и созерцать войны апофеоз,
спокойствуя в могиле в Сестрорецке?

Тебя рогатка чтит и арбалет,
и шестопер тебе поклоны дарит,
еще тебе – от калаша привет,
и кланяется знаменитый баррет.

И пусть теперь решает командир,
атака это или оборона.
Мы в бой идем, с девизом «миру мир»,
сражаться до последнего патрона.

ОСИП ЧЕРНЫЙ. ТРЕХПОЛУШКОВАЯ ОПЕРА. 1892

Ты не спрашивай, куда их гонит кнут беды.
Рад приветствовать невзгоду голый как сокол.
Тот, кто смыслит в сиволдаях, – враг простой воды:
падок на *святую* воду нищий богомол.

Закипает сторублевкой гривенный ручей.
Детской лапкою проворной вычищен карман.
Царствует над Серпуховкой кесарь щипачей –
знаменитый Осип Черный и его шалман.

Процветает славный Осип, дел невпроворот:
тут что шкет, что уголовник, – а опять же грош.
Кабы дело было в спросе б, так наоборот:
тут харчевня, тут клоповник, тут не пропадешь.

Здесь наседок примечают, так что будь здоров.
Здесь майданщики жируют и при них бабье,
Здесь умело обучают юных шниферов.
Осип Черный тренирует юное ворье.

Подыщи любых сословий хворого мальчика
иль найди среди ярыжек мамок и папань,
ну, а тот, кто потолковей, не сбледнув с лица,
из капустных кочерыжек делает шампань.

А другой поставит кружку, он себе не враг,
у него простой обычай – плакать про семью.
Собирает на косушку, яко благ и наг,
и приперчивает притчей болтовню свою.

Любят люди побирушек, хоть и бьют порой.
Много надо ли для пьянки, вот и не скучай:
набери кошель полушек, разживись махрой,
будут водка, и баранки, и богатый чай.

Для врагов недосыпаем дудошник, гусяр,
упиваясь дармовщиной, в холод босиком,
бродит с драным попугаем русский савояр,
то с морской ученой свинкой, то ли с барсуком.

Должность бабе незамужней – возле общака,
чтоб, коль выпадет монетка, – так немедля в крик.
Чем ты старше, тем ненужней, сказка коротка.
Много лучше малолетка, нежели старик.

Так и надо обормоту, севшему в вагон!
Хвост зеленый и послушный тянет паровоз.
Тут берется за работу и берет разгон
славный мастер поездушный, сущий виртуоз.

В жизни ты найди, небога, хоть какой-то прок,
но следи: нужна сноровка, не испорти трюк:
зарабатывает много, кто совсем без ног,
но просить не больно ловко без обеих рук.

Береги, дружок, удачу дела своего,
попадешься ты едва ли, ежели в былом
за профессию щипачью и за мастерство
школа Осипа в подвале выдала диплом!

От корчмы поход недолог до другой корчмы,
не к цыганам и не к «Яру» ты гоним судьбой,
и, задергивая полог на пороге тьмы,
скажет вечность савояру: твой сурок – с тобой.

Популярный журналист конца позапрошлого века А.Свирский, изучавший жизнь «дна» изнутри (для чего облачался в тряпье и посещал периодически злачные места), опубликовал в газете «Россия» в 1900 г. ряд статей под названием «Московская голь». Он описал обнаруженную им в Москве еще в 1892 г. и действовавшую на протяжении многих лет «школу нищих». Ее содержал под видом постоянного двора некий человек по кличке Осип Черный. Заведение находилось за Серпуховской заставой. В нем в чайной «без крепких напитков» тайно торговали водкой, тут же были «харчевня» и «клоповник» (ночлежный дом). Осип Черный являлся как бы антрепренером громадного нищенского предприятия – укрывая лиц, незаконно проживавших в Москве, он изымал у постояльцев значительную часть выручки и богател с каждый днем.

БАРОН ГОРАЦИЙ ГИНЦБУРГ. КОШЕР ЛЕ-ПЕСАХ. 1892

Верить в удачу – не надо усилий,
жизнь – это долгая цепь декораций,
вовсе не нужен в дороге Вергилий,
если ты гордо зовешься Гораций.

В бизнесе глупости прочь отодвинув,
на цареградском селе василевсил
водочный мастер, потомок раввинов,
над откупами поднявшийся Евсель.

Сын его средний, хозяин хороший,
всех конкурентов повытолкал взáшей,
в русских царей инвестировал гроши,
так что бароном стал раньше папаши.

Ладно, баронство – оно для порядка,
много вопросов оно погасило.
Сила российская – попросту взятка
(впрочем, а где она только не сила).

Деньги для взяток, милы государи,
бизнесу быть не позволят в ущербе.
(Вот и теперь никакие феррари
лошадь не сменят в классическом дерби).

Верил барон, что во времени скором
близких и всех остальных переселит
в тот изумительный край, над которым
небо лазурно, как сказочный *тхелет*.

Да, до того дотянуть бы не худо,
знаем, что крыть победителя нечем, –
только банкир обойдется покуда
принятым в русской державе наречьем.

Откуп легко перебьет монополька,
но не утратится счет миллионам.
Внуки пусть думают, можно насколько
гению денег считаться *гаоном*.

Трудно отринуть при спорах с таможенной
скверную мысль о дровах и о щепках,
жалко, но жить в Петербурге надежней,
чем под Касриловкой или в Мазепках.

То, что сомнительно, то, что непрочное, –
все-таки в чем-то и как-нибудь скверно,
кошер ле-Песах один, это точно,
дарит нам то, что и вправду кошерно.

Деньги скрываются в знанье арабском,
вот и терпеть полагается бремя.
Лишь в зауральском краю златобабском
время не деньги и деньги не время.

Тонут события в веке злодейском,
гром над страной все ближе и ближе,
умер Гораций на Конногвардейском,
но между тем похоронен в Париже.

Жаль, остается последняя нота:
образом, мягко заметим, никоим
не разобрать на сегодня хоть что-то
в странной балладе, что сложена гоем.

Понятно, что здесь многое непонятно.

Кошер ле-Песах – пицца, приготовленная для Пасхи.

Царинград – молдавское село, на самом деле принадлежавшее Гинцбург-старшему.

Тхелет – синий краситель, рецепт коего полторы тысячи лет как утрачен, – цвет одежды первосвященника.

Гаон (*ивр.*) – гений.

«Арабское знание» – современные цифры.

Золотая баба – легендарный сибирский идол.

И так далее, но тут иначе никак...

МОСКВА ИУДЕЙСКАЯ

Льву Турчинскому

На тех, кто видел небо сквозь волчок,
кто не вскочил судьбе на облучок,
чью жизнь измерить можно только горем,
на тех, кто утомлен и заклеямен,
глядит Зарядье из былых времен
убитым дважды Глебовским подворьем.

Грех вспоминать об этой конуре,
но между тем в Донском монастыре
лежит, и людям памятен донине,
достигший в службе сказочных высот
владелец душ почти девятисот
слепой потомок князя Облагини.

Четыре входа в несколько дворов
и теснота, и запах будь здоров,
стук молотков и брань на галдарейке,
ярмолки, пейсы, талесы, тфилин,
нарцисс Шарона, лилия долин,
еврейчики, евреи и еврейки.

Кошерные камчатские бобры
у скорняков, и отдых от муштры
женатых наконец-то кантонистов,
пике и плюш, вельвет и коверкот,
и Шавуот, и Пурим, и Суккот,
и вечно придирающийся пристав.

Из Режицы¹, и полный генерал!
Но сколько б славы ни понабирал –
что пользы в том еврейском дворянине?

¹ Из Режицы – Михаил Грулев (1857–1943).

И ты давай, крещеный Николай¹,
сородичам удачи пожелай,
и уходи играть на пианине.

Лимон, морковка, сахар и кишмиш,
а только жаль, что и за рыбой фиш
не объяснишься с гоем тугоухим,
но если он абиселе умней,
ты у него не покупай саней
и шмире штейн с подобным гройсер хухим.

Но пусть горят в печах кусочки хал,
и пусть бы на столе благоухал
миндаль, а в крайнем случае, арахис,
шафран, имбирь, корица, водка, мак,
гехакте лебер, цимес и форшмак,
суфганиет и остальные нахес.

И этот мир никто не воскресит.
О Глебовском не молится хасид,
о дедовских надеждах и сыновних,
о суете прервавшихся годин
всплакнет едва ли ребе хоть один,
и даже хоть единый ламедвовник.

...Все позабыто, и притом давно,
счастливое Зарядье снесено,
опять Москва в усобицах погрязла,
и даже мерзопакостный отель
давно снесен и вывезен отель,
и ждут ума от нового шлемазла.

...Не наставляй, любезный, револьвер,
не вырастет ни сад, ни даже сквер,
так велика еврейская обида,
что здесь, насколько скверик тот ни мал,
получится Таймыр или Ямал,
получится сплошная Антарктида.

¹ Николай – Николай Рубинштейн (1835–1881).

Зато в аэропорт подать рукой:
теперь утечи вовсе никакой
не стоит дожидаться иудею,
и память иссыхает, как ручей,
и над Москвой-рекою семь свечей
зажгли борцы за русскую идею.

ЧЕЗАРЕ ЛОМБРОЗО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ. 1898

Долихоцефалам мозговитым
салютует древняя Москва.
Если ты приехал к москвитам, –
очень важно посмотреть на Льва.

Он в рубахе и портках каляных,
к мненью постороннему глухой,
в Ясных летом и зимой Полянах
занят пшенной кашей и сохой.

Лев гуляет средь коров и пасек,
бузину растит, морковь и лук;
там не скачет ни один пегасик,
их спихнул хозяин в Бузулук.

Над хозяйством он парит, как сокол,
зорко озирает каждый куст,
он следит за благородством свёкол,
огурцов, морковей и капуст.

Ест на завтрак пару-тройку редек,
помидор и миску ревеню.
Можно, подтвердит вам каждый медик,
только сдохнуть на таком меню.

Видимо, пренебрегая мясом,
есть возможность сделаться святым,
будь он людоедом-папуасом, –
он едва ли стал бы Львом Толстым.

Трудно жить среди российских дырий,
вот он и устроил чехарду:
крестится одной пудовой гирей,
а с другою плавает в пруду.

Многое ошибочно в рассказах,
может, и не надо бить в набат,
но соотношенья лобных пазух
говорят, что это психопат.

Он – властитель в собственном поместье,
но не властен в собственном уме,
а родись он где-нибудь в Триесте,
так сидел бы у меня в тюрьме.

В свете исправительных методик
никаких не надо докторов.
Я его понаблюдал бы годик, –
он, глядишь, совсем бы стал здоров.

Он все сеет, только гибнут всходы,
мчит страна дорогою кривой,
зря мечтает граф кормить народы
пирогом с травую кормовой.

Дыма нет еще от гаоляна,
страха ни в едином нет глазу,
и на святках Ясная Поляна
пляшет то медведя, то козу.

Призрак над болотами камлает,
рвутся к небу клочья бороды.
Лев, который мяса не желает,
доведед Россию до беды.

МОСКВА БУТАФОРСКАЯ

Столетия здесь поналомали дров.
Куда-то делся Алевизов ров,
и не было китайских церемоний,
когда сносили Чудов монастырь,
и разве что не превращен в пустырь
краснокирпичный этот пандемоний.

Империя махала помелом,
всегда пускалось что-нибудь на слом
во имя украшения цитадели,
империя махала кочергой,
взамен дворца вставал дворец другой,
и получалось так, что все при деле.

История устроила парад,
увяз в дерьме первопрестольный град
по самые, простите, помидоры,
когда, по воле матушки Фике,
чуть вовсе не сползли к Москве-реке
Архангельский и прочие соборы.

Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ¹,
за то и это, главное – за то,
что здесь не все досталось урагану,
что не всегда тут слушали царя,
хоть было все одним до фонаря,
хоть было все другим по барабану.

То славный бой, то просто мордобой
торжествовали в день и в час любой,
мораль медузы, совесть осьминога,
сплошной канкан личинок и червей:
но, к счастью, из пятнадцати церквей
осталось восемь, что довольно много.

¹ Эфхаристо поли, эфхаристо (Спасибо, большое спасибо).

Висела туча, словно синий кит,
а на земле бюро царей Никит
совало бомбу в руки психопату,
бездомный пес рычал на караван,
копал градостроитель котлован
и трепетал, вонзая в грунт лопату.

Торчит неуважаемый дворец,
любимый солонец и лизунец
заезжих дагестанок и декханок,
и сколько тут ни пролито чернил,
но некоторый съезд не отменил
инаугураций, пуримов и ханук.

Не могут ни сезам, ни мутабор
поднять из праха Сретенский собор,
Спас на Бору отправился в былое,
колодец пуст, и провалилось дно,
и легким прахом сделалось давно
все, что лежало здесь в культурном слое.

Страна великих дел не при делах,
стекляшки звезд, фольга на куполах,
и сколько голубь в вышину ни порскай,
его не видит ангельский синклит,
что ничего уже не посулит
видению столицы бутафорской.

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ В ОДЕССЕ. 1901

В стране Овидия, в стране гиперборейской,
есть дом двенадцатый на улице Еврейской,
где до сих пор звучит мотивчик аргентинский,
и где бывал Василь Васильевич Кандинский.

К мамаше здесь он приходил дорожкой узкой,
в душе советуясь с прабабушкой тунгусской,
и как-то раз, испив совсем не лимонада,
решил, что живопись – то самое, что надо.

В Одессе Рубенса не ящички, однако
в цене картины Леонида Пастернака,
у ксендза каждого найдется по гармонии,
и Клод Моне висит в кладовке дяди Мони.

А что б такое утешительное сбачать?
Он размышлял на Дерибасовской, семнадцать,
в том самом доме, где нахально расступонясь,
войну соседям объявил фотограф Ронес.

В том доме публика была достопочтенна,
вставляли зубы у дантиста Константена
и меховщик, и ювелир, и парикмахер,
и знаменитейший рояльщик Оффенбахер,

Кипучий мир контрабандистов и матросов,
пекарня Либмана, кондитер Абрикосов,
гефилте фиш, бычки и скумбрия в томате,
Диамантиди, Синадино, Калафати.

Кто рисовать учился в том краю впервые, –
тот помнит низкие холмы береговые,
и Карантинную, где хочется повсюду
собрать с любой волны по синему этюду.

Он рисовать умел не кое-как, но как-то,
еще не думая о вывертах абстракта,
и солнце южное, как желтая медуза,
к ученику ползло Егудиила Глуза.

Получше всмотришься в подобную картину, –
забудешь всякую дорогу в Аргентину,
а если думаешь, что тут сплошная лажа, –
так не достоин ты одесского пейзажа.

Теперь абстракция в Одессе, и недаром
спуск Деволановский мешается с кошмаром,
кто с ними свидится, тот отшвырнет гитарку,
и мигом ринется в ближайшую винарку.

За два столетия сложился легендарий
бандитов, пекарей, купцов и государей,
ты только вдумайся, какая панорама:
Василий, Сашенька и тридцать три Абрама.

Камалетдин, Богдан, Джованни и Манолис
на общий жребий ненароком напоролись,
не отличила жизнь Исайчиков от Васек,
лишь время выяснит, – кто был маляр, кто классик,

То одного, а то другого виртуоза,
таскают власти на Еврейскую с Привоза,
но наш художник – он особенного вида,
согласно мнению кирпичника Давида.

Пройдя под тысячей над морем вставших радуг,
эпоха гавкнулась и выпала в осадок,
поймала мутную слезу на подбородке
и вглубь картины уплыла на старой лодке.

Простор смыкается, все гуще голубея,
светило рушится в лиманы Хаджибея,
и чаша горечи уже до дна испита,
и в небесах грохочут синие копыта.

ГАВРИЛА СОЛОДОВНИКОВ. ХРАППАИДОЛ. 1901

В Сандуновские бани приходил мыться владелец универсального пассажа миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал – сколько <...>, а совал двугривенный... Парильщик знал свою публику и кто сколько дает. Получая обычный солодовниковский двугривенный, не спрашивает, от кого получен, а говорит: «От храппаидола...» – и выругается.

Владимир Гиляровский. Москва и москвичи. 1926

Помню, в Глазове, Вятской губернии, среди лесов и болот, встретил <...> дворец-гимназию. «На капиталы Солодовникова». На пустыре, во тьме, чудеснейший «дворец света», воистину «свет из сердца», воистину свет из тьмы.<...> Сотни миллионов разбросал Солодовников по всей России. Часть из них воплотилась в богадельни, приюты, школы, гимназии, народные дома, больницы, в приданое невестам-бедным; большая часть была застигнута революцией. Ныне – пропало все.

Иван Шмелев. Душа Москвы. 1930

Вчерашней каши бы, да сутошных бы щец!
Секретов ремесла торгового не выдал
великий тот скупец, московский тот купец,
какого в Сандунах прозвали «храппаидол».

Расстаться медлит он с малейшею деньгой,
за всю не пропил жизнь ни ломаной полущки.
Он миллион скопил, а после и другой,
поднявшись до небес с отцовской поднесушки.

Ему ни для чего бобры и соболя.
Чем хуже тех мехов кафтан на голом теле?
А тратить полгроша на миску киселя, –
то все равно, что есть севрюгу в гранд-отеле.

Ему весьма легко спокойствие найти:
Гаврилыч сел в углу, что твой былинный витязь,
и будет два часа хлебать пустые шти,
а вы компотами своими подавитесь.

И труд-то невелик, а сходит семь потов!
Но он, копеечник, скалдырник, побироха,
не то купил портов и отослал в Ростов,
не то в Горохове наторговал гороха.

И ни к чему ему особый панталык.
Все ведают, что он в делах небеспорочен.
Попробуй отыщи других таких сквалыг:
Россия для сквалыг – страна не так, чтоб очень.

Бывает, должника удавит за медяк,
Бывает, – никого годами не торопит.
Хотя невелики доходы с доходаг,
но он по пяточку что надо, то накопит.

Он бухгалтерию держать горазд в уме
и, сэкономивши на каше и на бане,
глядишь, часовенку подарит Костроме
или гимназию родной Тьмутаракани.

Вот так же и Москва: столица, стыд долой,
вставай да и живи, перед людьми красуясь.
Пусть всюду прогремит: изьди, перелой!
Иль более того: изьди, мерзкий люэс!

И пусть что Мамонтов, что, скажем, Третьяков
спешат в бессмертие вприскокку и вприпрыжку,
но Солодовников нисколько не таков
и жуликам не даст залезть в его кубышку.

Он точно прописал, – кому какая часть,
что во дворцах живым, что мертвецам в могилах,
и хоть советская усердствовала власть,
но и она прочхать всего была не в силах.

Когда по-воровски, когда и напрямки
усердствовала власть, на мир смотря несыто,
но только зарычать могли большевики
на неучтенный чек лионского кредита.

Вот ни рубля тебе, ни пары пяточков, –
утешься, комиссар, болтушкой несъедобной!
И, глядя в наши дни из глубины веков,
во тьме хихикает миллиардер загробный.

ВОЛЬДЕМАР ВИТКОВСКИЙ. ИГРА В ФАНТИКИ. 1901

Вадиму и Федору

Недоказуема бывает теорема,
коль нет задания, так и решенья нет.
Мой прадед фантики печатал для Эйнема,
и то же самое чуть позже делал дед.

На этих фантиках сверкали фейерверки,
и столько радости плодили меж людьми
вполне доступные ландринки и цукерки,
«Кис-кис», «Метелица» и «Ну-ка, отними».

С родней двоюродной не выдержал разборок,
построил фабрику на месте на пустом.
Всю жизнь мне думалось, рабочих было сорок,
а нынче выяснил, что тысяча с хвостом.

Вторая гильдия – не что-нибудь, а что-то.
Нужны подробности, – вниманья удостой.
Где деньги крутятся, там ни к чему литота:
век девятнадцатый, год семьдесят шестой.

Кто нечто делает, тот не никто, а некто,
все получается, коль скоро есть чутье.
У Жоржа Бормана всегда была конфекта,
а у Витковского – обертка для нее.

Свою профессию он знал еще в утробе,
и с ней, любимой, отправился во гроб.
Он строил правнукам сплошное «Лоби-Тоби»,
но вышло всякое, да только не тип-топ.

Не знаю, надо ли расписывать отдельно
все то небольшое, что знаю от отца:
то «Мавритания», то «Эрмитаж», то «Стрельна»
служили прихотям московского купца.

Я тему вечную обжорства не мусолю:
но был величествен когда-то для меня
рассказ, как дедушка решил покушать вволю. –
съел поросеночка и проболел три дня.

...Десятилетия прошли, как кровь по венам,
по Петербургскому любимому шоссе,
свалили правнуки по Франкфуртам и Венам,
и хорошо еще, что все-таки не все.

Не очень мощную, но все-таки когорту
семья старинная империи дала,
неспешно двигаясь не к черту, а к Лефорту,
где все кончаются события и дела.

Здесь послесловие напишется едва ли,
затем, что общие исчерпаны слова,
затем, что тянутся все те же трали-вали, –
однако все-таки ничуть не трын-трава.

НИКОЛАЙ СУДЗИЛОВСКИЙ.
АЛОХА ОЭ. 1902

Жене Лукину

Такая синева, что просто стыд и срам.
Но миг прошел, – и тьма ее переборола.
И песнь, всегда одна, звучит по вечерам:
над берегом поет гавайская виетрола.

Прилив спокойствует, и только иногда
акульки плавники блестят среди лукоморий.
Здесь сахарный тростник, вулканы и вода.
Ну да, конечно же, забыл про лепрозорий.

Да и герой у нас не идеально чист:
мы смотрим на него и только нервно курим.
Не то чтоб он беглец, не то чтоб журналист,
он по профессии блажной крушитель тюрем.

Что в прошлом? Могилев, арест, и вновь арест,
нужна профессия какая-никакая,
и доктор второпях покинет Бухарест,
к фамилии Руссель поспешно привыкая.

Эллада, Альбион, – сплошное шутство,
полезет первым он в любую группу риска.
Он вечно мечется, и странный путь его
похож на улицу кривую в Сан-Франциско.

Он пользы никакой вовеки не видал
ни в «здравствуйте» простом, ни в ласковом «алоха».
Коль что-нибудь не так, – то сразу же скандал,
а если все путем, – то это вовсе плохо.

Он может повторять и десять раз, и сто,
чтоб истину свою вдолбить в мозги народца:
бороться с чем-нибудь и все равно, за что,
и даже ни за что, но все равно бороться.

Видали мы таких слепых поводырей:
мол, поведу на бой, да никого не трону.
Куда Желябову, что лишь менял царей, –
а этот смог бы сам легко надеть корону.

Хоть он и победил, однако хмур не зря,
поскольку чувствует, да только он один ли, –
запахнет жареным в начале октября,
коль скоро в Баффало прикончили Мак-Кинли.

И это для него весьма серьезный знак.
Акула может съесть – но могут съесть акулу.
Придется позабыть о счастии канак,
придется наскоро сбежать из Гонолулу.

Но в вечном драпанье, похоже, что-то есть,
что можно посчитать для всех огромным благом,
поскольку персонаж не сможет предпочесть
архипелаг один – другим архипелагам.

Дальнейшая судьба – пуста, как чистый лист.
Собою и себя и всех других измаяв,
в историю войдет наш славный скандалист
как первый президент зависимых Гавайев.

История темна и призраков полна,
мелькнут всего на миг, – и рушатся в былое.
Реверберирует гитарная струна:
прощай, дружок, прощай, прощай: алоха оэ.

ВЕРНЕР ЦЕГЕ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬ. ПУЛЯ В СЕРДЦЕ. 1903

Кто и отколе, куда и доколе,
характеристики не подберу.
Русское имя, как русское поле:
Цеге-Мантейфель, прошу ко двору.

Век и тяжел, и обидно недолог.
Тайную дверцу на миг приоткрой,
Цеге-Мантейфель, хирург-кардиолог,
темного времени поздний герой.

Ибо, мои дорогие коллеги,
можно уверенным быть до конца:
сердце, врученное доктору Цеге,
больше уже не боится свинца.

Ставится многое нынче на карту,
десятилетия в былое плывут:
города Юрьева городом Тарту
в городе Дерпте еще не зовут.

Годы продлить перед вечной разлукой, –
в этом и есть назначение врача,
и потому не одною наукой
занят профессор, страдальцев леча.

Знает профессор, что кровь – не водица
в доме своем и в чужой стороне;
знание такое весьма пригодится
в будущей дальневосточной войне.

Скверная в мире сегодня погода,
но не мешают врачебной судьбе
восемь столетий баронского рода
с черным орлом в благородном гербе.

Знанию дворянство никак не препона,
ибо кровавые стрелы лучей
мечет зловещее солнце Ниппона
на санитаров, больных и врачей.

Стонет земля, и грохочет железо,
разве что скальпель – как меч-кладенец.
Есть у войны лишь одна антитеза:
сердце живое – и мертвый свинец.

Гибель ощерилась пастью акулей,
только, судьбу удержавши в горсти,
сердце, задетое вражеской пулей,
доктор однажды сумеет спасти.

Тлеет огонь непогашенной злобы,
чашу печали не выпить до дна.
Надо ли думать, что быть бы могло бы,
если бы вдруг не случилась война?

Кончился век в санитарном вагоне,
и господин остается слугой:
пуля бессильно лежит на ладони,
сердце лежит на ладони другой.

В 1903 г. во время русско-японской войны Вернер Генрихович Цеге-Мантейфель едва ли не первым в мире успешно произвел операцию по поводу огнестрельного ранения сердца пулей.

АЛЕКСАНДР ТАЛЬМА.
САХАЛИН. ЖАРКОЕ ПО-ДОСТОЕВСКИ. 1903

У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!».

Александр Островский. Гроза

Что хуже: проказа, холера, чума
иль долгая жизнь в равелине?
Помилуй, Господь, Александра Тальма
на острове на Сахалине.

Известие грянуло в Пензе как гром.
Москву известили депешей:
старух ужокошили двух топором
на улице Верхней, на Пешей.

Великая страсть и большая беда:
украдена куча алмазов.
Раскольников, ясно, заехал сюда,
иль хуже того – Карамазов.

..К вершинам профессии путь каменист,
в науках никто не волшебник.
Прочел Достоевского бравый юрист
и понял, что это – учебник.

К примеру, молодчик увязнет в долгах,
но вдруг разузнает интимно
о том, что старуха сидит на деньгах, –
и станет старуха виктимна.

Преступника нет, и в простое централ,
и не к кому звать костолома.
Соседей старухи юрист перебрал
и выбрал хозяина дома.

К суду интерес непомерно велик,
любая клокочет газета:
У следствия нет ни малейших улик, –
весьма подозрительно это.

Не надо рассказов и прочих былин.
Забыв о мешке и о шиле,
отправить преступника на Сахалин
присяжные твердо решили.

Ни вопли, ни слезы его не спасут,
присяжных ничто не задело,
поскольку в России несправедный суд
есть самое правое дело.

Столицы надолго отправило в шок
ударом судейского жёзла.
О да, Сахалин – это черный мешок,
но шило наружу полезло.

Тут мигом отправили дело в архив,
Фемида не очень жестока.
Провел он, совсем никого не убив,
на каторге только полсрока.

Звучит над Россией восторженный стон,
закончилось все по-простому.
И Федор Михалыч, и Палыч Антон
рыдают в жилетку Толстому.

Народы взирают на Зимний дворец,
ликуют в припадке задора,
и хищно вздымая заветный ларец,
его открывает Пандора.

<...> Суд проходил с 20 по 25 сентября 1895 года. <...> На основании материалов предварительного следствия дворянин Александр Леопольдович Тальма, 1870-го года рождения, женатый, имеющий двоих детей, был предан пензенско-

му окружному суду с участием присяжных заседателей. Он обвинялся в том, что с «заранее обдуманном намерением убить П. Г. Болдыреву, с целью воспользоваться ее деньгами, нанес сначала служанке А. Савиновой, а потом Болдыревой смертельные раны и с целью скрыть следы преступления облил трупы керосином и поджег их». <...>

Валентин Лавров

По выслушании заключения господина обер-прокурора, полагавшего ходатайства Александра Тальмы отложить, и после весьма непродолжительного совещания Правительствующий Сенат определил: прошение поверенных А. Тальмы о возобновлении дела оставить без последствий.

Из газет

...Это было в 1896 г., в Москве. Сижу я за фельетоном, – горничная докладывает:
– Вас желает видеть полковник Тальма.

Фамилия эта тогда была у всех на языке. Болдыревское дело только что кончилось, проигранное Тальмами во всех инстанциях. Юный Александр Тальма был признан убийцею и поджигателем; решение утверждено и припечатано; сам «изверг естества» отправлен – через несколько этапов по пересыльным тюрьмам – на остров Сахалин <...> Писано, когда объявился с признанием «настоящий» убийца Болдыревой, сын медника Карпов. Известно, однако, что суд не поверил Карпову, и процесс его не имел никакого влияния на судьбу Александра Тальмы. Последний был возвращен с Сахалина Высочайшим помилованием. 1903.

Александр Амфитеатров.

MARCHE FUNÈBRE. ВАГОН ДЛЯ УСТРИЦ. 1904

Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь борющийся с пошлостью, всюду находя ее, всюду освещающая ее гнилые пятна мягким, укোরизненным светом, подобным свету луны, Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне «для перевозки свежих устриц» и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Это – мелочи, дружище, да, но когда я вспоминаю вагон и Кукареткину – у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы.

Максим Горький

Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские. Когда лососина, когда семга... Мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь!

Владимир Гиляровский

Не пела птица над гнездом –
Там не было гнезда.

Льюис Кэрролл

Сюда ни Плотника не звали, ни Моржа.
В России дорога подобная закуска.
Первопрестольная, от голода дрожа,
североморского ждала вкусить моллюска.

Однако городу не оказали честь,
отвергли устерса в угоду чайке дерзкой.
Восплакала Москва, что не дали поесть,
и по Кузнецкому пошла на Камергерский.

Чрез Домниковскую, на коей бардаки
рыдали истово, что драматург отыде,
печально створками стуча, на Лужники
угрюмо поползла толпа тридакн и мидий.

Не чайки реяли, но тысячи ворон,
чей гомон то густел, то становился жидок,
и, не тревожимы движеньем похорон,
глазели гребешки на томных сердцевинок.

И монастырь отверз тяжелые врата.
Тоскливо отрешась обетований смутных,
опричь рыдания ничем не занята,
туда вошла толпа жемчужниц перламутрных.

Степенно двигался кортеж вдовцов и вдов
стараясь не спешить и не пороть горячки,
и погребли творца «Медведей» и «Садов»
близ Кукареткиной, близ Ольги, близ казачки.

Ужель виновна та казацкая вдова
в том, что преставилась восьмью годами ране?
Но возмутилась вся чиновничья Москва,
что рядом погребен создатель «Дяди Вани».

Да не поставят «уд.», а только «отл.» и «хор.»!
И вот – продолжился развернутый сценарий,
согласно коему над гробом грянул хор
трепангов, гребешков, рапанов, кукумарий.

На всех довольно тут, не надо дележа!
К чему искать врага в другом устрицелове?
И Плотник втихаря приветствовал Моржа,
держа лимонный сок и уксус наготове.

Стоял июльский зной, но солнечных лучей
не видела толпа во погребальной грусти,
и слышать не могла возвышенных речей
о древних королях и о цветной капусте.

Но голоса высот не внятны для низов.
Улитке вечную не разрешить задачу.
Морские блюдечки не ринулись на зов,
но съели и Моржа, и Плотника впридачу.

Великой сытости потворствовала лень.
Моллюски разбрелись, нимало не замешкав.
А был ли плотник тот, а был ли тот тюлень?
Ответь нам, Алексей, ответь великий Пешков!

Кончается рассказ, и поезд взял разгон,
всю логику круша в сложившейся легенде,
запломбированный уже летит вагон,
чтоб устриц отвезти из Лужников в Остенде.

**ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ.
ТРАНСВААЛЬ. ШАХЭ. 1904**

Приехал Крюгер – и уехал мигом,
отговорив привычные слова.
...Кто обучался воевать по книгам,
пусть полежит в траншее года два.

В последний час республику Оранже
готов спасать российский апатрид,
зачем ему подобное старанье, –
об этом он ни с кем не говорит.

Тут европеец, всю страну облазав,
со страхом осознает до конца:
здесь больше, чем булыжников, алмазов,
а злата больше, нежели свинца.

Вот потому-то поступь и чеканна
у англичан, идущих вглубь страны.
Слон, носорог и антилопа канна
им ныне козырять обречены.

Всем черномазым, желтым, краснорожим,
одна судьба, но проще бы врагу
управиться со стадом носорожьим,
чем вот такой народ согнуть в дугу.

Не всякого, выходит, подневолишь,
а подполковник все переиграл:
для тех, кто дома, – журналист всего лишь,
зато для буров – полный генерал.

А ты бы хвост, любезный, не наперчил,
тому, кто залезает в твой же дом?
Не зря же гнусный тип, какой-то Черчилль,
в мешке с углем сбежал с большим трудом.

Боялся за намыленную шею,
и даже знает, что боялся зря, –
зато для тех, кто изобрел траншею,
теперь изобретут концлагеря.

Пожалуй, пятна вовсе и не пятна,
да и вина, выходит, не вина.
Гора с горой не сходится, понятно,
зато с войною сходится война.

Одна судьба, выходит, у военных,
и грош цена намереньям благим,
а есть ли толк в Цусимах и Мукденах, –
об этом размышлять уже другим.

Мозаику военных анонимов
вовек не проследишь по букварю.
Но Крюгер вспомнит, кто такой Максимов,
и отошлет пятьсот рублей царю.

Не мелочь ли? А, впрочем, Бога ради:
все мелочи в истории важны, –
и уделит судьба по Илиаде
на эти две проигранных войны.

**НИКОЛАЙ ТИФОНТАЙ.
ВАЛЬС ШИНУАЗРИ. 1910**

Ноты открыв, современник, прикинь,
цитра нужна или надобен цинь,
может, уж лучше играть на трубе,
песню о старом китайском столбе
старом, китайском,
о пограничном столбе.

В прошлое пристально нынче смотрю,
вижу, как ты пособляешь царю,
вижу, как даришь России Китай,
старый купец Николай Тифонтай,
старый, китайский,
старый купец Тифонтай.

Только и ты на меня посмотри,
старый хабаровский шинуазри,
старый купец, а скорее герой
родины первой, а больше второй,
родины первой
или скорее второй.

Ты, переводчик, конфликт погасил,
в пользу России кусок откусил;
более века убраться не могли
столб на границе китайской земли,
столб на границе
древней китайской земли.

Видно, приятно казалось тебе
больше не думать об этом столбе,
и от него не пускаться в бега,
русской империи верный слуга,
русского трона
верный китайский слуга.

Пусть из-за спора над старой межей
родина первая стала чужой,
но из холодных российских чужбин
ты возвратишься однажды в Харбин,
ты возвратишься,
ты возвратишься в Харбин.

Воздух болотный туманен и хмур,
Сунгари плещет, впадая в Амур.
Десятилетия идут как полки,
ты похоронен у желтой реки,
смотришь на север
с берега желтой реки.

Пыльная даль за рекою темна,
тихо амурская плещет волна.
Видно, ты счастлив такою судьбой,
более русский чем русский любой,
более русский,
нежели русский любой.

В памяти давние годы свежи.
Цитру закрой да и цинь отложи.
Вместе с Россией века скоротай,
старый купец Николай Тифонтай,
старый, китайский,
старый купец Тифонтай.

В 1886 году в качестве переводчика Тифонтай участвовал в русско-китайских переговорах об уточнении границы, в которых отстаивал интересы России. Во время переговоров Цзи Фэнтай обманул своих соплеменников, что привело к тому, что они поставили пограничный столб не в том месте, в результате чего к России отошла значительная территория под Хабаровском (Китай смог вернуть её лишь в 2005 году), Китайцы считают Тифонтая «изменником» и «предателем» Как «мягко» выразился о нем генерал-губернатор провинции Цзилинь Цао Тинцзе, «внешность китайская, сердце русское».

МИСТИКА ДОМА БИСМАРКА. АНГЛИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Наташе Верди и Васе Коваленко

Сколько извести можно купить на пиастр?²
Малахита не надо задаром.
Никаких тут не будет колонн и пилястр,
и подите вы все к закомарам.

Если хочет владелец, то это закон.
Никаких, господа, оригами.
Здесь одиннадцать окон, и узкий балкон,
и Большая Нева под ногами.

Даже близко сюда не приходит бедняк,
только ветер тяжел и неистов.
Долго разных хозяев менял особняк
благородного рода Капнистов.

Здесь ночами, бывало, стояли войска,
паруса проходили парадом.
Здесь Григорий Голицын валял дурака,
а не здесь, так уж точно, что рядом.

Здесь подковами, будто московский бордюр,
был старинный поребрик обцокан,
и сверкали алмазы танцующих дур
из французского кружева окон.

Здесь немецкий посол отдыхал от двора,
размышляя, терзаясь и бредя,
чтоб наутро, свои перебрав штуцера,
безнадежно пойти на медведя.

Без трофея посол возвращался домой,
и ему становилось понятно,
что медведя, который разбужен зимой,
не загонишь в берлогу обратно.

И в итоге добрался до мысли такой,
что не стоит бороться с потопом,
и Европе куда как дороже покой,
чем бесплодная драка с циклопом.

...То почти что во сне, то почти наяву
для Европы в легенду истаяв,
он стоит у окна и глядит на Неву,
и почти не тревожит хозяев.

Не мигнет, не вздохнет и не кликнет слугу,
ни сражений не вспомнит, ни танцев,
а меж тем на него на другом берегу
вопросительно смотрит Румянцев.

Появляется тень и уходит во мрак,
а за нею – другая и третья,
исчезают и снова приходят вот так
чуть не три беспокойных столетья.

Здесь давно осознали земля и вода,
и мосты, и гранитные глыбы,
что танцоры, однажды явившись сюда,
не ушли б, даже если могли бы.

И кончается ночь, и болит голова,
и стремительно гаснут картины,
и уходит, уходит, уходит Нева,
как последний аккорд сонатины.

МИСТИКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ВАЯНГА. РУССКИЙ ЛУНФАРДО¹

Чем небо Питера – не ширма для ваянга?
К чему искать дворец, коль скоро есть мансарда?
Но все же голубец не перепутать с танго,
а суржик все-таки нисколько не лунфардо.

К царям приходит смерть: не то, чтобы незвана, –
но каждый на Сенной опасен мужичонка.
...Парадный зал похож на сцену бангсавана²,
а свет прожектора похож на свет бленчонга³.

Канун войны в Крыму, а то немного раньше.
Переломился век, себя располовиня.
Но, с грустью думая о глупой Ленорманше,
на льве сторожевом всю ночь сидит графиня.

Бомбисты взрывами страну заколебали,
и даже Эрмитаж – совсем не ухоронка,
и остров Голодай – совсем не остров Бали,
и царские меха – совсем не ткань саронга.

И неприветлив край, хотя совсем несложен:
и дама на Морской совсем не каталанка,
и по Гороховой бредет Парфен Рогожин,
за ширму прячется и входит в роль даланга⁴.

И представляется досадно легендарным
Всё, что хранится здесь у вечности в корзине,
всё то, что некогда творилось на Столярном,
все то, что для царей насочинял Трезини.

¹ Диалект Ла-Платы, «язык танго», особый «социолект». Одной из особенностей танго 1910–1920-х годов было широкое использование этого городского жаргона, который в основном состоял из иностранных вкраплений в испанский.

² Малайская опера.

³ Лампа, подсвечивающая лампу ширмы ваянга.

⁴ Актер (кукольник) за ширмой ваянга.

И белый шум висит, и он бесперебоен.
Он – в белом Рождестве под белою омельюй.
И ночью белою рыдает белый воин
о белой лошади и даме, тоже белой.

Мир улыбался здесь когда-то и кому-то,
великим мудрецам и дуракам набитым,
а на Конюшенной сиял трактир Демута
все больше становясь «Медведем» знаменитым.

Слетевши к озеру без имени, туда, где
замкнула Дудергоф петровская запруда,
на план империи в бериллах и смарагде
с державного герба смотрел орел Гаруда.

Здесь город – что уток, при нем река – основой,
и обыватели внимали временами
тому, как бардаки на улице Слоновой
тряслись, штурмуемы индийскими слонами.

...И двадцать первый век ничем не опорочит
легенды Лиговки и Невского проспекта,
где до сих пор живет и умирать не хочет
лунфардо Питера, душа социолекта.

Пусть все мы брошены в единую коробку,
но там еще среда царит вполне жилая,
и тихо чифируют бездельники вприхлебку,
стакан, один на всех, по кругу посылая.

Лишь миг молчания – и вот опять с затакта
начавшись, рвется марш, и кружится арена.
Все изменяется, но длится без антракта
спектакль заявленный – триумф антропогена.

ЛИРИКА ДВУХ СТОЛИЦ

Тянется пятидесятый псалом,
еле мерцает лампада.
Перекрестились под острым углом
два Александровских сада.

Кружатся призраки двух городов,
кружатся в мыслях и датах
вальс петербургских двадцатых годов,
вальс москворецких тридцатых.

Ветер колеблет листву и траву,
и проступает ложбинка,
та, по которой неспешно в Неву
перетекает Неглинка.

Тени и света немая игра,
приоткрывается взору
то, как по Яузе ботик Петра
переплывает в Ижору.

Это два вечных небесных ковша,
это земная туманность,
это не то, чего просит душа,
это бессмертная данность.

Можно стремиться вперед или вспять,
можно застынуть урюмо,
можно столицы местами менять, –
не изменяется сумма.

Вот и рассвет, просыпаться невмочь,
и наблюдаешь воочью,
как завершилась московская ночь
питерской белою ночью.

Память неверная, стершийся след,
временность и запоздалость, –
то, чего не было, то, чего нет,
что между строчек осталось.

Белая ночь обошла пустыри,
небо курится нагое.
Две повстречавшихся в небе зари
движутся на Бологое.

МИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ. МОСКОВСКИЙ ЛУНФАРДО.

Брыкаловки в стакан на два пальца!
И репете, подумав слегонца.
И – перерыв, век не видать гринкарда.
Рассказ о коммуналке на мази:
закрой окно, задерни жалюзи,
ведь и Москва отнюдь не без лунфардо.

...В том доме было восемь этажей,
ни грабежей, ни даже кутежей:
какой кутеж у чистого народа?
Там не давалось подданства котам,
но в каждой из квартир имелось там
по десять комнат и четыре входа.

Считается, что был хозяин – гад,
но был тот гад нажористо богат
и равнодушен к званию таковому.
Соседей напугав и рассмеша,
он поселил, широкая душа,
на каждом этаже по домовому.

Десхальб шестнадцать было тут квартир,
прихожая, и кухня, и сортир,
а прочее – перечислять негоже.
Крутились тут, как спицы в колесе,
то дююспик, а то парлефрансе,
что альгемайн почти одно и то же.

Кто ж крестится, пока не грянул гром?
В Берлин из серокаменных хором
эспешели никто не рвался съехать,
а домовой жильцов не заушал,
он им благоглаголать разрешал
и даже позволял по фене шпрехать.

Меж тем пентхаус сделался трещаш,
повыползал железный зверь из чаш,
сменились альтернатные мерила,
подотощал запас серебреца,
и свод элефантинного дворца
обрушился на красный бант Кирилла.

Переделились волею старшин
квартирные четыреста аршин
на тех, кого сыскали в подворотне,
тут гарсоньерок – сотни полторы,
и нынче будьте, бывшие, добры,
пустить к себе жильцов четыре сотни.

И началось все то же, что и встарь:
сухарь последний дожевал кустарь,
извозчик обглодал свою же лошадь,
история свивалась, как удав,
но выжил дом, лет пять поголодав, –
Москву не так-то просто укокошить.

В такое время, может, и смешон,
вивер, опционист и грелюшон,
однако никакие палешане
и никакая ушлая братва
не выживет, в неделю раза два
жратвою не разжившись на маршане.

Немедленно пустились в перепляс
поставщики колбас и прочих мяс,
и мерились, – кого и кто большее,
но факты неизменно говорят,
что если кто-то лезет в первый ряд,
тот первым же и огребет по шее.

И тех, кто завести рискнул лабаз,
не допустили больше до колбас,
торговлю приказали обреестрить,

хор недовольных как-то вдруг умолк,
и там, где прежде продавали шелк,
уже не продавали даже пестрядь.

Конечно, будь я Босх иди Доре,
иль сам живи я в том монастыре,
все тайное немедля б стало явно,
но у гадюк Гоморра и Содом,
совсем пропал калабуховский дом
и торжествует Ольга Вячеславна.

И тут мораль привычна и стара, –
что размышлять-то? Ки вевра вера.
Давно сынам империи открылась
ее идиотическая суть,
ее доисторическая жуть,
ее маразм, тупизм и косорылость.

Закончились жесьюи и дююспик,
мы на сто лет заехали в тупик,
затворено родительское лоно,
а кто свалил отседова, – ку-ку:
у нас и двести грамм о-де-моску
не выменять на литр о-де-колона.

Один гремит лунфардо инфини,
бегут года, проскальзывают дни,
и поступь века нового чеканна,
и жизнь течет, как деньги мимо касс.
Иссохло горло, кончился рассказ.
И где мои законных полстакана?

МОСКВА-БАВИЛОН

Москвабург, Москватаун, Москвабад, Москваштадт,
жестяные поляны, бетонные чащи,
перевалочный пункт человеческих стад,
эдак тысячу лет над болотом торчащий.

Угасающий дух, ослабевшая плоть,
друг на друга вслепую ползущие строчки,
предпоследние таты, последняя воль,
камчадалки, тувинки, нанайки, орочки.

Воздух осени горькой печалью набряк,
темносерое облако смотрится в речку.
Враскорячку стоит в подворотне каряк,
прижимая к стене молодую керечку.

В этих каменных джунглях, в кирпичной тайге
скороходы безноги, гимнасты горбаты,
беспользные гривны, таньга и тенге
превращаются в нищие кьяты и баты.

Здесь бобовый король триста лет на бобах,
на трибуне оратор теряет здоровье,
на армянском базаре опять Карабах,
на абхазском базаре опять Приднестровье.

Не понять, что за действо народы творят,
безнадежно зенит и надир перепутав,
сговорившись, эвенк, тофалар и бурят
бьют селькупов, долган, алеутов, якутов.

На молитву становятся перс и таджик,
по проспектам шагают татарские рати,
и все чаще звучит то узбекский язык,
то вьетнамский язык, то язык гуджарати.

Растаман растопырил бездонный карман:
то, что есть, то и есть, никакого секрета,
а туркмен деловито готовит саман
для постройки мечети, не то минарета.

От подобной картины взрывается мозг,
здесь разлука привычна, а встреча случайна,
и дымит анашою дощатый киоск,
где торчит бородища последнего айна.

Мусульманами полон подвал и чердак,
у любого наган, у любого дубина,
и творится намаз, и творится бардак.
Дайте визу в Москву: надоела чужбина.

МИСТИКА АРБАТА. НОМЕР 14.

Вранье, что не случится двум смертям,
случаются и три-четыре смерти.
Здесь шесть колонн пошли к шести чертям:
а может, это были и не черти.

Под каждый не налазишься диван.
Не каждое откинешь одеяло.
Тут, может, был не дом, а котлован,
и вовсе ничего тут не стояло?

Однако на секунду онемей
и загляни в глубины черной хмари:
там спят десятки вымерших семей, –
посадские, холопы и бояре.

Укрыла богачей и бедняков
земли наросшей грубая короста,
и протекло всего-то пять веков
с тех пор, когда не стало тут погоста.

Едва ль об этом помнят москвичи,
но лучше ты не поминай нехстати,
что, мол, Москва сгорела от свечи,
зажженной некой дурой на Арбате.

В подробности особенно не лезь,
уж больно люди были непростые
те, кто позднее обосновался здесь:
Ростопчины, Гагарины, Толстые.

Но город лишь усмешку затаил:
все эти люди – только дым вселенский.
...Вот этот дом построил Михаил
Андреевич, известный Оболенский.

Оборонить хозяина от зла
должны свеча, икона и подкова,
но ни одна примета не спасла
министра-чернокнижника, Хилкова.

Беду накликать он в конце концов:
иди узнай, что он в подвале прятал?
И больше в доме не было жильцов,
помимо тех, кто деньги тут печатал.

И дом ничей, да и земля ничья.
Так и стоял он, медленно ветшая.
Здесь удавилась некая семья,
при этом, говорят, семья большая.

Ни фиников, ни утиц, ни подков
в заброшенных не отыскать жилищах.
...Полиция гоняет босяков
и чуть не в дымоходах ищет нищих.

Но у жандармов руки коротки:
здесь только голоса, здесь только вздохи,
и бродят здесь совсем не босяки,
а те, кто жил тут при царе Горохе.

Их не поймать, их не перебороть, –
а за тряпье хватаешься – ну нет уж:
душа в тряпье старинном, а не плоть,
и это даже не тряпье, а ветошь.

Перед порогом тянутся года,
а дом все так же темен и косящат,
и каждого, входящего сюда,
ведь и сейчас, того гляди, утащат.

То летний зной, то снеговая падь,
и горек век, и улица щербата,
и ни на шаг не хочет отступать
мучительная мистика Арбата.

МИСТИКА ИЗРАЗЦОВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ. ДОМ ИГУМНОВА

Где солнечный глаз неприятно фасетчат
и гнусно мигает морзянкой,
история рвет, негодует и мечет
над древней Большой Якиманкой.

Названием этим наш город издерган,
мы помним его толкованье:
японский девичий зажаренный орган
сие означает названье.

Не так уж и мало подобных историй,
но правда отлична от чуши:
уж сколько в столице ни есть якиторий,
но нет в них подобного суши.

Ну ладно, мы все-таки честно поверим,
что, малость землицы отхрумнув,
построил на ней фантастический терем
купец ярославский Игумнов.

А что не построить, коль денег в избытке?
Художник, трудись образцово!
Сто тысяч вагонов отделочной плитки
наделал завод Кузнецова.

Купец, не желаешь выкладывать грóши,
забывши, что кровь – не текила?
Художник сказал: господин ты хороший,
не дом тебе тут, а могила.

...Женился б купец, – так набрался бы лоску,
смотрелся б, как шах при шахине.
Но он для себя подобрал шлепохвостку,
приятную телом вахине.

Но девка, с купчиной соскучившись за год,
гусара позвать захотела,
и в стену хозяин, уставший от тягот,
отправил холодное тело.

Подобные страсти чужды москвитам,
но в лунные ночи упрямо
лет двадцать гуляла с лицом ледовитым
прозрачная белая дама.

Купца этот призрак отнюдь не конфузил,
полна голова винегретом,
он выстелил весь коридор и санузел
червонцами с царским портретом.

Но царь возмутился: «Берешь не по чину!
Побольше я все-таки стою!» –
и власть через час поселила купчину
за тысяча первой верстою.

Пусть кто-то-то в Швейцарии, кто-то в Разливе,
но все побежали в атаку.
Купец на Кавказе выращивал киви,
а в домик – достался гознаку.

Однако и этот попался под розги.
Охвачена мыслью единой,
страна собрала гениальные мозги
и первым взялась за вождиный.

Великая мудрость в большом аксакале,
он тайнам причастен сокрытым:
в мозгах у вождя гениальность искали,
однако ее не нашли там.

Обманет ли фраер красавца-джигита?
Подайте-ка верную шашку!
Владыка решил поберечь-то мозги-то
и разом прихлопнул шарашку.

И вот – у столетия скверные вести:
отравлена водка в кружале,
и в пряничный дом от французской болести
французы гуськом побежали.

Здесь некий умелец по комнатам лазил
и столько же бегал по кругу,
в итоге – посланца парижского сглазил
и сглазил его же супругу.

Так что, господа, мы имеем в итоге?
Не зря ли заныло сердечко?
На запад, во мрак, по Калужской дороге
плывут и крылечко, и печка.

В руках у столетья немаленький ломик,
а стены – не толще картона.
Стоим мы и смотрим, как пряничный домик
уносит волна Флегетона.

Душа отболела, и пусто в котомках,
но все-таки есть и подарок:
не гаснет окошко, и виден в потемках,
столетья последний огарок.

МИХАИЛ-ВИЛЬФРИД ВОЙНИЧ. МАНУСКРИПТ. 1912

«Игумен Пафнутий руку приложил».
Федор Достоевский. Идиот

Только не взрывом, а всхлипом.
Томас Стирнс Элиот

Когда вопросов нет, – то нет ответов,
и потому о том поговорим,
как между бесполезных раритетов
такой вот обнаружился экстрим.

Его криптограф вылизал любовно,
хватаясь за незримый пистолет.
...Свинью подсунул людям город Ковно,
и той свиньи хватило на сто лет.

Невнятные ходили в мире толки,
читатель дорогой, слышал и ты,
что, мол, на йезуитской барахолке
еще не то укупишь за фунты.

Легенды о везении живучи,
но знамение в том опознаю,
что мелкой разновескою до кучи
купил он инкунабулу сию.

Тут пользы нет от шифровальных сеток,
лишь перепортишь бедные глаза.
Он рукопись вертел и так и этак,
однако в ней не понял ни аза.

Хоть разбирался он довольно слабо
в растениях пампасов и болот,
но распознал, что тут – жабутикаба,
а рядом с нею – точно цефалот.

Повествовалось там о голых дурах,
там звезды затевали карнавал,
и вроде бы о водных процедурах
оригинальный автор толковал.

В той рукописи не было экспромта.
Наш антиквар состарился над ней.
Там говорилось что-то и о чем-то
и где-то как-то, что всего важней.

И стало обладателю казаться,
что он истратил век на труд пустой,
а вот не понял в книге ни абзаца,
и разобрать не смог ни запятой.

Далекий век обрублен гильотиной,
но шепчутся на дальних рубежах,
что тайны этой книги кландестинной
поднимутся еще, как на дрожжах.

Вот я смотрю в графическую кашу
и думаю, скользя по письменам:
обрушится на голову на нашу
все то, что знать не следовало нам.

Мир кончится трагическим улетом,
и нас не сможет больше остеречь
та речь, что здесь жила под переплетом.
...Не дай-то Бог понять нам эту речь.

АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ.
КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ. 1912

...с истомным юношей на выпуклой спине.

Рюрик Ивнев

Говорили: да это сплошная мазня!
Ты писал бы, сапожничий сын, как другие!
...Он в кумач перекрасил гнедого коня,
и на краски была у него аллергия.

Поглядишь на презрение зрительских лиц
и поймешь, – не твое это дело собачье.
Блоку снился монгольский табун кобылиц,
а художнику грезились рыжие клячи.

Увеличить коня и поставить сюда,
а на нем поместить паренька-салажонка.
Хороша у Кузьмы на картинах вода,
и всегда у Кузьмы хороша обнаженка.

Прихотливые линии розовых тел,
то ли темный бочаг, то ли синяя ванна:
многомудрый Кузьма отличать не хотел
Феофана никак от Пюви де Шаванна.

Но подросток нисколько не занят игрой,
и, понятно, коню не нужна огорожа.
Оттеняют друг друга и дышат жарой
лошадиная шерсть и мальчишечья кожа.

И неважно, что скажет об этом родня,
ибо тут и находится наш перекресток:
это брата Кузьма посадил на коня,
чтобы вечно все ехал и ехал подросток.

Только век из подростков творит бедолаг,
конь опять и опять превращается в клячу,

и на красном одре в краснзвездный гулаг
отправляется тот, кто попал под раздачу.

Что осталось в душе, – вот того лишь не тронь,
как бы ни были годы и люди жестоки,
только все еще скачет на западе конь,
только все еще мальчик сидит на востоке.

С этой бурей понятно: пришла и ушла,
сокращаются версты, кончаются годы, –
и возносится Чейну и Стоксу хвала –
двум великим архонтам российской свободы.

Между тем только вовсе отпетый дебил
дожидается гибели века больного,
и не слышит, как топотом красных кобыл
материк отзывается снова и снова.

Все меняется: каждый становится стар,
но у той позапрошлой эпохи на страже,
заключенные в некий магический шар,
все купают и поят коней персонажи.

Перед ними, как шавки, убого скуля
в никуда уползают бездарные годы,
и один только мальчик дает шенкеля
и с конем погружается в синие воды.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ, БРАТ КОНСТАНТИНА. МИСТИКА СКОТОБОЙНИ. 1914

Новость явилась, тревогу посеяв,
и зашептала о ней слобода.
Кликнул на бойне купец Алексеев:
кто православный – поди-ка сюда.

Тут же молва по дворам побежала,
спрос на подобное дело велик,
дорого стоит рабочий-сажала,
сытно прокормит семью весовщик.

Бычьи хвосты – по закону излишек,
вот и клади, сколько хочешь, в мешок:
дома у рубщиков много детишек,
много – у возчиков бычьих кишок.

Глянь, за колодой стоит человек,
дорого просит, – но тут не жалеи, –
неподменяемый мастер насечек,
кто превращает голяшку в филей.

Вся слобода – как единая хата.
Крепко за горло схватил журавля
гордый кузен основателя МХАТа,
гильдии первой купец Николая.

...Но не нашлось кошелька-самотряса,
век-Фортунат завалился в кабак.
Стало державе совсем не до мяса,
ни до чего, ни зачем и никак.

...Спит слобода, летаргией заклята,
свет над лампадой сверкнул и потух,
и не мычат ни волы, ни телята,
и не кричит ни единый петух.

Нет ничего, – ничего и не требуй.
Нет увертюры, – не будет конца.
Вечно кобыле стоять сужеребой,
и не дождется окота овца.

Видишь, приметы всего-то и значат:
это, как хочешь его нареки,
страшное место, где лошади плачут,
где на коленях рыдают быки.

Жалоб не надо, забыты обиды,
нет ни воров, ни шатров, ни цыган,
сникло родео, не будет корриды,
и навсегда отменен тайлаган.

Морду опустишь, зубов не оцеришь,
двор живодерный уносится в ночь.
Детские правила «веришь-не-веришь»
здесь ничему не способны помочь.

Вот и попробуй остаться в сторонке,
если мороз до костей пронизал:
плачут порою не только бурёнки,
плачет, бывает, и зрительный зал.

Разве что мертвый свободен от срама,
но и у зверя свое житие.
Повесть дописана, кончена драма,
занавес рухнул, и пусто в фойе.

Сегодня в Сибирском проезде среди тишины и зелени мало что напоминает о кипучей торгово-промышленной жизни Москвы конца XIX века. Но сто лет назад эти места были выделены под скотобойное дело и мясную торговлю. Важную роль в выборе места для этих мясобоен сыграл закон, принятый в 1882 году, который запрещал прогон скота по московским гужевым дорогам и улицам. Согласно этому закону перевозить скот разрешалось только в вагонах, и для этой цели железную дорогу подвели прямо к этому месту от Покровской и Спасской заставы через деревню Дубровку. Проезжие дороги были замощены булыжником и обеспечивали проезд по ним круглый год в отличие от остальных мест

на окраине Москвы. 20 июля 1886 года состоялась закладка городских боен, а 2 июня 1888-го они были освящены. Бойня включала в себя более 50 зданий, 3 завода, специальную водокачку, скотопригонную площадку, загонные дворы, железнодорожные пути, поля орошения – они же сливные ямы – на Сукином болоте. Городок занимал пространство около 200 десятин и обслуживался персоналом в 1000 человек. Здесь находились мясная биржа, кровяной и альбуминовый заводы, забойные и разделочные цеха, морозильники и погреба. Улицы рядом с бойнями получили соответствующие названия Новая конная площадь, Скотопрогонная улица, Боенский проезд. Сегодня часть бывших зданий «мясного городка» занимает Микояновский колбасный завод, от которого в прежние времена по округе стелился такой запах, что лучше было ходить с закрытыми ноздрями. Сейчас местные жители утверждают, что запаха нет, так как завод использует исключительно замороженную продукцию для производства. Однако порой все же появляется своеобразное амбре в зависимости от направления ветра.

ГЕРМАН РОРШАХ. ДЕСЯТИКЛЕТКА. 1914

Ю. С. Савенко

Храпит при капитанше генерал.
Поручики – при генерал-майоршах.
Россию местом жительства избрал
психолог Герман Ульрихович Роршах

Веснушчат россиянин, конопат,
скорее водки хочет, чем молебна,
а то, что он полнейший психопат, –
так это психиатру и потребно.

Гардемаринш, полковниц и майорш
решил швейцарец изучить настырный:
у россиян в мозгах полнейший ёрш,
у русских баб мозги – бурдюк чихирный.

У них мозги – прокисший маргарин,
короче, не мозги, а ужас тихий.
Майор, полковник и гардемарин
в России тоже, безусловно, психи.

В Россию доктор ехал с мыслью той,
что очень хороша у русских проза,
что здесь живет великий Лев Толстой,
которого оклеветал Ломброзо.

Я непременно здесь упомяну,
о том, как доктор угодил в ловушку:
он даже выбрал русскую жену,
и захотел в российскую психушку.

Страна врача душила, как питон.
Вскипела в нем фантазия больная,

и десять клякс запечатлел картон,
и каждая из них была двойная.

Скажите, что бы значило сие?
У пациента сердце обмирало,
когда давили тяжким пресс-папье
капустницу, монарха, адмирала.

Тянули пациенты кто куда:
увидят двое – пятку, третий – ухо,
кому-то там мерещилась еда,
кому-то представлялась половуха.

Он так пытался стать незаменим
и так не мог никак угомониться,
что ни одна не пожелала с ним
вязаться подмосковная больница.

Так подложили доктору свинью,
тут закипела в нем волна протеста:
он отвалил в Швейцарию свою
на прежнее насиженное место.

Тут хорошо бы кончить карнавал,
но не накинешь через пропасть мостик,
из коей на Россию наплевал
великий мастер психодиагностик.

Швейцария не Русь, и посему
России доктор – как на пятке чирей.
Похоже, что диагноз ни к чему
там, где царят шизуха и делирий.

МОСКВА НЕМЕЦКАЯ

Селился этот люд почти везде,
но в основном – в немецкой слободе:
кто ж думал в те столетья о прописке?
Здесь не было офень и зазывал,
здесь кто-то ум и совесть продавал,
а кто-то пумперникель и сосиски.

Был экономен люд и даже скуп:
готовились форшмак и хлебный суп,
и высоко ценился труд стряпухин, –
на праздник пекся луковый пирог,
и что-то шло секретное в творог,
чтоб получился русский кезекухен.

Сюда еще в Ливонскую войну
селили иноземную шпану,
но царь Иван собрался на гулянку
в году холодном, в семьдесят восьмом,
уже в который раз поплыл умом,
и тут устроил сборную солянку.

Но требовались городу труды
медлительной Немецкой слободы:
как печке пригождается полено,
так немец в дело пустит каждый грош,
и слух для слободы почти хорош
о том, что царь – немецкого колена.

Поди тут разберись, а хоть бы так,
зато мастак и точно не простак,
не возразишь досужему смутьяну:
лукавы немцы, в том сомненья нет,
да только немец изобрел кларнет,
а вовсе не одну лишь обезьяну.

Ах, слобода, не плачь и не ликуй!
Река Чечера и ручей Кукуй
вскипели от лефортовской шампани,
и процветали ритгер с шевалье
на оном, извините, Кукуе,
захаживая в Девкинские бани.

В приказе окопался пастор Глюк,
повел себя как полный мамелюк
среди народа гильдии купецкой.
Отнюдь не из немецкой слободы,
почти одни крещеные жида
учили у него язык немецкий.

Недолго был Кукуй многоголос,
на триста лет империи колосс
умело оказался загарпунен,
и, как всегда, добро пошло во зло,
и там, где Наше Всё произошло,
бездарно обозначился Бакунин.

Был царь одноголов, зато орёл,
лишь Петербург зачем-то изобрёл,
и умотал туда, ко всем досадам,
придумал для империи фасад,
и у майора отнял Летний Сад,
а нет бы обойтись Нескучным Садам?

На то и немец, что обычно нем.
И зря старались Борман и Эйнем
состроить умильные лица:
Кукуй Большой Неве не брат, не сват,
и не иначе, Бисмарк виноват,
что в Петербург отъехала столица.

История запутала ходы:
кого-то застрелили без нужды,
пришел приказ от Золотого Сердца,
мол, не держите лавок и кружал,
и очень скоро вождь пересажал
и Мюллера, и Вебера, и Герца.

Но раньше вышел тот, кто раньше сел,
фамилию сменил и обрусел,
и чай привык из блюдца пить вприкуску,
решив: прозрей, бедняга, поскорей,
и в паспорт запиши, что ты еврей,
а то сошлют на Малую Тунгуску.

Все тот же гонит нас адреналин,
то из Москвы на родину в Берлин,
а то опять в Москву, и ясно людям:
там кабинет, тут тоже кабинет,
там хорошо, где нас сегодня нет,
и много хуже там, где завтра будем.

Все по фигу, и горе не беда.
Плевать, что нас, любезны господа,
считают за алтынников и скаред,
делить не предлагают каравай,
а что в Берлине выдуман трамвай,
так это никого давно не парит.

Душа трепещет дымкой над костром,
под ясным небом то и дело гром,
но тишина с раската до раската,
но в океан уходит ураган,
и остаются вечность и орган,
и фугою становится токката.

МОСКВА ПОЛОУМНАЯ. МАЙ 1915

Если ты не убил за день хотя бы
одного немца, твой день пропал.

Илья Эренбург

Империя неспешно шла ко дну.
Царь Николай проигрывал войну.
Похмелье и восторг в одном флаконе:
на свет явился город Петроград,
и поскакали к черту на парад
толпой с посольства сброшенные кони.

И вскоре до Кремля доплыл паром,
народу дали право на погром,
на спирт, пускай без права на закуску,
сошлась толпа Степанов и Гаврил,
а тот, кто по-немецки говорил,
садился на три месяца в кутузку.

Немедля затрещали черепа;
бухая пролетарская толпа
недолго выбирала атамана,
и вскоре на Кузнецком, дребезжа,
с четвертого летели этажа
рояли в магазине Циммермана.

Не показавши носа из норы,
потомок чистокровной немчуры,
и вовсе ни про что не зная, не ведавая,
Юсупов оставался глух и нем,
когда громили фабрику Эйнем,
когда топили всяких разных шведов.

Не змею уподоблен, но ужю,
кляня под хвост попавшую вожжу,
народных настроений не прощупав,

ни мысли не имея в голове,
примерно три недели на Москве
царил снохолюбивый князь Юсупов

Счастливых лиц кругом – невпроворот.
Всего-то и потребовал народ,
чтоб немцы на Камчатку убирались.
Начальство охраняло статус кво,
желая, чтоб в России никого
не оскорбляло «Rußland über alles».

Семиты уцелели, лишь барон
огреб за титул небольшой урон,
хоть быть могло куда пренеприятней,
но, воплотив еврейский страшный сон,
спустив штаны, издатель Левинсон
стоял среди своей скоропечатни.

А что такого? Ведь всего три дня
в столице шла веселая резня,
кого прибили, так, видать, за дело,
и, сколько воду в ступе ни толки,
за эти, извините, пустяки
вояке настоящему влетело.

...История копала котлован,
в который раз дуванила дуван
страна блинов, икры и кулебяки;
все тот же продолжался карнавал,
пусть Эренбург еще не завывал
на всю страну, какие немцы бяки.

Да все течет, конечно, все течет,
и варианты все наперечет.
Опять народы морду бьют друг другу,
в столице жар, и холод, и озноб,
гремят куранты братьев Бутеноп,
и движется история по кругу.

ЛЕВ ГОЛИЦЫН. НОВЫЙ СВЕТ. 1916

Одно всем нравится вино
затем, что лучшее оно.

Владимир Филимонов.

Водки не пили, ее не любили –
предпочитали нюи.

Георгий Иванов

Это ведаёт каждый, кого ни спроси:
в том недобрая воля ничуть не повинна,
что веселие всей православной Руси –
это – молвить смешно – мусульманские вина.

Можно с белой головкой принять чихиря,
только в эдакой выпивке много ли толку?
Потому-то Россия всерьез и не зря
ценит «Красную смолку» и «Черную смолку».

Кто лозе благородной хозяйственно рад,
тот подарков не ждет ни холуйских, ни царских,
он привык осторожно сгружать виноград
в тарапаны, в глубины давлен татарских.

Этот славный обычай завелся давно:
генуэзским карманам весьма угождая,
новгородским гостям дорогое вино
продавала в тринадцатом веке Солдаёя.

...Скалы древние ветер горячий изгрыз,
серебристая пена побережья одела.
Князь нагую страну превратил в Парадиз,
ибо знал, что название – это полдела.

Помнил князь, что не только удача нужна,
но еще – сочетание лба и затылка.
В девятнадцатом веке сойдет для вина
не кратер, не амфора, а просто бутылка.

Может, труд винодела тяжел и суров,
но зато виноградник поделится щедро
юным Педро Хименесом с дальних бугров
и состаренным долгою осенью Педро.

Но Европа себя довела до беды,
дожила наконец-то до черного часа:
никуда не деваться от лишней еды,
никуда не деваться от рыбы и мяса.

Императоры мигом ввязались в войну:
право гробить себя у любого исконно,
потому очень быстро убили страну
идиотские годы сухого закона.

Не тянулась Россия, восстав ото сна,
ни к французу, ни к греку, ни даже к мадьяру,
но зеленого люди желали вина,
как в народе стыдливо прозвали водяру.

Да и вправду, – зачем вспоминать на войне
благородную власть вкусового букета,
траминер, семильон, пино блан, каберне
или просто шампанское Нового света.

В отвратительный вой превратив эпилог,
свой оскал предъявила эпоха волчицын:
что ответить подобному чудищу мог
винодел, а совсем не «поручик» Голицын?

...Надвигается крымская тень на глаза,
сердоликами горное блещет подножье.
Исчезает народ, остается лоза,
крымский ветер в лицо – и терпение Божье.

МАКСИМ КОВАЛЕВСКИЙ. ЧАЙКА. 1916

...Потом взяли и выдумали, что Комиссар-
жевская – чайка, и Гиппиус – чайка, и чуть
ли не Максим Ковалевский – тоже чайка.

Дон Аминадо

Век девятнадцатый, великий век, когда
стал петербургский двор вполне великолепен,
а у историков имелась борода,
и каждую из них писал художник Репин.

И образа того герой не посрамит,
быть может, факты он и тащит с барахолки,
однако не возьмет гроша за динамит
Максим Максимович, историк-социолог.

...Ты миру показал, насколько важен труд,
вот, ежели чума начнет губить живое,
и, скажем, пятеро из десяти умрут,
то пять оставшихся работать будут вдвое.

Замысливши оmlет, нельзя жалеть яиц.
Ворона – это вещь, однако лучше – чайка.
Но образ мысли сих престонародных птиц
в дни классовой борьбы поди произчай-ка.

Тот классовый подход ты счел за страшный сон,
в нем что-то дикое ты и взаправду понял,
при этом каждого, кто был уже масон,
примером собственным ты вмиг перемасонил.

Свободу славил ты, как жирного гуся,
считал монархию угрозой державе,
и, грозно бороду над Русью вознося,
масонство насаждал в Иркутске и Варшаве.

В Брюсселе, в Оксфорде чадил европоман,
в Стокгольме побывал на службе королевской,
и в оной Швеции завел крутой роман
с вдовой сородича, Софией Ковалевской.

Был скорбен вид морщин славянского чела,
меж тем погромщики – у каждой подворотни,
но не в евреях ты искал причины зла,
а в полукровнутах вояках черной сотни.

Совсем не каменщик тут нужен, а кузнец,
и то еще следи, чтоб не был он пропойца:
увы, Мафусаил давно не образец,
и вряд ли взять пример удастся с Розенкройца.

И вот от Харькова тебя народ избрал,
затем, что Думе стал необходим кудесник, –
великосвадебный российский генерал,
демократический карлсбадский буревестник.

Страна уже почти взяла тебя в отцы,
лишь не смогла тобой заняться чрезвычайка
затем, что вовремя отбросил ты концы,
ворона белая, а вовсе и не чайка.

АЛЬФОНС РАЛЛЕ.
ЗАПАХИ МОСКВЫ. 1929

Крапивную судьбу не костери:
не мучайся, страдая и рыдая.
Седьмой ребенок из Шато-Тъери –
судьба еще не самая худая.

Тут не докажешь, сколько ни потей,
что, мол, семья не больно-то почтенна:
видать, неплохо делали детей
в деревне баснописца Лафонтена.

И вот – Россия, вот парад-алле:
флакончики, цедилки, склянки, втулки;
завел Альфонс Антонович Ралле
свечной заводик в Тёплом переулке.

Не мыкайся и фарт переломи!
Француз решил, годок-другой подумав:
Россию удивить нельзя свечми,
так пусть она отнюхает парфюмов.

Была в Бутырках разве что тюрьма
для бакланья и мелких рукосуев,
и удивились москвичи весьма,
там ароматы странные почуяв.

...Не лаптем тут расхлебывают шти.
Тут каждый хочет, даже протранжирясь,
жене иль даме сердца привезти
не «Царский вереск», так «Букет Амирис».

На пузырьках красивые слова,
но ежели принюхаешься крепко,
благоухает древняя Москва, –
да так, что для ноздрей нужна защепка.

А чем могло бы пахнуть за тюрьмой?
Что городские власти тут предпримут?
И отвалил Альфонс Ралле домой,
нажаловавшись на холодный климат.

А может, и не стоит каждый раз
возжахаться с каким-то иностранцем?
Однако завоняло в грозный час
не кардамоном и не померанцем.

Но что, кому поставится в вину,
какую дрянь стране назначил фатум,
чем пахло тут в германскую войну,
и чем запахло тут в году тридцатом?

Доколдовался лысый псевдоним,
припоминать сегодня неохота,
как целый век, старательно храним,
тут был один лишь запах креозота.

Тот век умчался с солью на хвосте,
и в этом грустный вывод всей новеллы.
Одна «Шанель» в театре Варьете
еще дрожит в руке поющей Геллы.

ИЛЬЯ ПИГИТ. ДУКАТ. 1916

Государя российского верный вассал
мужиком был лихим и невредным,
на эсерскую партию деньги бросал
и на общество помощи бедным.

На профессию вешать не надо собак,
может стать благородной любая.
Задымил над Москвою душистый табак
знаменитого деда Габая.

Тот Габай, говорят, был серьезный джигит,
а табачное дело – халява.
На него аккуратно трудился Пигит,
но Пигиту не нравилась «Ява».

Быть мелодий должно обязательно две:
только так возникает токката.
Оказалось, что можно отныне в Москве
покурить папиросы «Дуката».

Конкурентов полно, говорила молва,
ни вреда, мол, ни пользы никоей,
потому как табак – это просто трава,
и до трубки еще далеко ей.

Долго турок мусолил кровавый кинжал,
глядя кисло, и криво, и косо,
на прилавки Европы, где всюду лежал
чисто русский товар – папироса.

Эту истину твердо постиг человек,
что парадный чертог и каморка
ждут, когда ж привезут драгоценный дюбек
и в продажу поступит махорка.

Можно ль бросить курить? Этот дикий вопрос
проще всякой картошки в мундире,
разве только Шекспир не курил папирос,
ибо не было их при Шекспире.

Но о тонкостях знает отнюдь не любой,
и уверенность неколебима,
что совсем не мираж сей дымок голубой,
а законный доход караима.

...Век плюется окурками, морду кривит,
помирая на старом диване,
и уже не Илья, а племянник Давид,
даст приют неудачнице Фанни.

Где была папироска – там ныне зола,
отправляют поденок в морилку,
ибо Аннушка масло уже разлила,
и оно не вернется в бутылку.

Не дочитан роман, и болит голова,
над землей – духота и дремота,
и не видит никто, что затлела Москва
от цыгарки кота Бегемота.

Забирает героя угрюмый конвой
и уводит во тьму коридора,
где угрюмо скрипит механизм часовой
и грохочут шаги командора.

НИКОЛАЙ ШУСТОВ. РЯБИНОВАЯ НА КОНЬЯКЕ. 1917

Орлы умеют жить без паспортов!
Из темноты времен полупрозрачной
встает великий Николай Шустов,
владыка спотыкачный и коньячный.

Кисетом не заменишь портсигар,
и рысака не поселить на псарне:
осточертел российский полугар
наследнику прикамской солеварни.

Он смолоду поверил в чудеса,
и знай поди, во что еще поверил,
и потому ни разу хереса́
в подвале у себя не размадерил.

...Шарантский аппарат и виноград –
на радость ресторанам и шалманам,
и воинский парад и Арарат –
на зависть наркоманам-мусульманам.

И как-то все пошло само собой:
по кабакам с манерой королевской
устраивали грозный мордобой
студенты Тихомиров и Трацевский.

И оказалось, что не клевета
та истина, что вовсе не готова
быть признана фартовой жральня та,
где не дадут вам коньяка Шустова.

Возможно, даже ведала печать
о том, как можно показать силенку,
и, выпивая, деньги получать,
притом еще куражась на хваленку.

Кто не пахал – дувана не дувань,
но не с такой предьявою к купчине!
Как серафим, сошел на Эривань
коньяк, и пребывает там поныне.

Кто знает, от какой беды леча
(быть может, ото всех – ходили слухи),
явилась нам бутылъ спотыкача
наперекор чихирной бормотухе.

И знает кто, которого числа,
боясь достаться злomu лесорубу,
сама себя рябина превзошла
и перешла через дорогу к дубу.

Пльвя, как пирамида, сквозь века,
сияет горним светом поллитровка,
хоть три звезды, а хоть КВВК,
а хоть совсем народная зубровка.

Настолько брэнд не растерял очки
пред мощью вод сомнительно фруктовых,
что, захвативши власть, большевички –
и те почти не тронули Шустовых.

Такая вот редчайшая судьба:
из глубины времен гордитесь, предки,
что нет на свете лучшего герба,
чем колокол на старой этикетке.

BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES¹. 1918

Ядовитые газы германской войны.
Дирижабли, прививки, котлы, суррогаты.
Как мы были в те годы бездарно бедны!
Как мы были в те годы бездарно богаты!

То цилиндр, то берет, то картуз, то чалма,
и ходили б часы, только сломаны стрелки.
Эту кашу Европа варила сама,
и она же в итоге оближет тарелки.

Если жалко алмаза, – сойдет и корунд.
Если жалко ведра, – так сойдет и бутылка.
Первой скрипкою будет какой-нибудь «Бунд»,
и дуэтом подхватит какая-то «Спилка».

То ли хлор, то ли, может, уже и зарин.
Миномет на земле, а в руке парабеллум.
Аспирин, сахарин, маргарин, стеарин
и пространства, где черное видится белым.

А еще есть Верден, а еще Осовец,
и плевать на эстонца, чухонца, бретонца,
а еще есть начало и, значит, конец, –
все двенадцать сражений за речку Изонцо.

А еще ледяное дыханье чумы,
а помимо того – начинает казаться
что на свете и нет ничего кроме тьмы,
комбижира, кирзы и другого эрзаца.

И ефрейтор орет то «ложись!», то «огонь!»,
и желает командовать каждая шавка,

¹ Война всех против всех (*лат.*).

и повсюду Лувен, и повсюду Сморгонь,
и не жизнь, а одна пищевая добавка.

И кончается год, а за ним и второй,
а на третий и вовсе отчаянно плохо,
а Россия обходится черной махрой,
а Германия жрет колбасу из гороха.

И события снова дают кругалю,
потому как нигде не отыщешь в конторах
ни селитры, ни серы, ни даже угля,
и никто не заметил, что кончился порох.

Полумесяц на знамени бел и рогат,
окровавлены тучи, и длится регата,
и по Шпенглеру мчится Европа в закат,
незаметно пройдя через пункт невозврата.

ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ ИЩЕТ ГОРЧИЦУ. ВТОРОЙ ОММАЖ ИВАНУ ГОЛЛЮ.

Катарина:

Неси все вместе иль одно – как хочешь.

Грумио:

Так, значит, принесу одну горчицу?

Шекспир. Укрощение строптивой

Порыв безумия внезапного пресекши,
в число избранных незнанием незван,
ни гривны, ни куны, ни самой мелкой векши¹
не может заплатить сегодня Иоанн.

Но голод утолить в невидимой столовой
вступает не спеша через проем дверной.
Слепой официант и повар безголовый
его угрюмо ждут у стойки ледяной.

В стране, где не поймешь, – кто кролик, кто католик,
где не туды идет войной на не сюды,
шагает он туда, где за безногий столик
великая нужда уселась без нужды.

Пока официант меню ему бодяжит,
отнюдь не просто так, но с божией росой,
решает твердо он, что в этот день закажет
яйцо без курицы, что сожрана лисой.

Богатый выбор здесь не очень-то и нужен,
здесь всё, что есть в меню, – ни два, ни полтора,
но могут предложить на завтрак и на ужин
суфле из воздуха и суп из топора.

Здесь из-за скудости никто не горячится,
здесь вовсе нет врагов, как, впрочем, и друзей,
здесь древний перец есть и старая горчица,
столь драгоценные, что впору сдать в музей.

¹ Древнерусские монеты: в одной гривне 25 кун, в одной куне – 6 векш.

От здешнего меню тебе не станет худо,
будь ты хоть пионер, а хоть миллионер,
здесь есть дежурное, но фирменное блюдо:
ничто по-ленински на сталинский манер.

...Весь день бесцельное стрелянье без наганов,
прогулки без собак под псиный пустообрёх,
и гордый секондхенд фриганов и меганов,
и три богатыря, что здесь без четырех.

В немислимом саду ведет мотив неловкий
невидимый смычок в невидимой руке,
и мчит на всех парах к доеденной морковке
бессмертный паровоз в бессмертном тупике.

Непредсказуема ненастная погода,
но возвещает век, задрав незримый хвост,
триумф мистический семнадцатого года,
что в девяностые года протянет мост.

Здесь ни симфонии, ни такта, ни аккорда,
но аргумент пустой никак не нарочит.
Здесь слово «человек» звучит совсем не гордо,
затем, что здесь ничто и вовсе не звучит.

Извилистым путем ведет тропа прямая
от беззакония к последнему суду,
а он в толпе стоит, никак не понимая,
зачем мечтать в раю о должности в аду.

Картина без холста, этюд без акварели,
любовь открытая и страсть исподтишка.
И ледяной октябрь уже настал в апреле,
и от Москвы бегут бесплотные войска.

РОССИЯ В ПОМОЕ. ОПЕЧАТКА. 1918

(Пишу на службе.)

Опечатка:

«Если бы иностранные правительства оставили в помое русский народ» и т. д.

«Вестник Бедноты», 27-го ноября 1918, № 32.
Я, на полях: «Не беспокойтесь! Постоят-постоят – и оставят!»

Марина Цветаева. Дневники

El sueño de la razón produce monstruos.

Сон разума порождает чудовищ.

Франсиско Гойя

Уж год это длится, да-да, вот уж год!
...Гремит приказанье прямое:
«России довольно обычных невзгод.
Оставьте Россию в помое».

Прочхали страну, упустили царя,
последние пропили брюки,
и в свете событий последних не зря
дрожат у наборщика руки.

Сирена ревет, будто раненый зверь,
ушам угрожает и пяткам.
Придется эпохе привыкнуть теперь
еще не к таким опечаткам.

Не скоро еще звуковое кино,
покуда кино лишь немое,
и черные щупальца тянут на дно,
а в сердце сплошные помои.

Евразия скрыта великою тьмой.
У стен Харбина и Варшавы
откуда ты взялся, Великий Помой,
на голову нашей державы?

Давай-ка, Помой, посидим тет-а-тет,
скажи, по которой неволе
явился плескаться на семьдесят лет,
а если точнее, – так поболе?

Рассудок во тьме померцал и погас.
Народы запутались в войнах,
и валом пошли как цунами на нас
помои с помоек помойных.

То вправо, то влево швыряет магнит,
а выхода даже не снится,
и ежели что-то теперь и манит,
так разве одна заграница.

Но даже и эти надежды умерь.
Безрадостен труд бутафора,
спасать бесполезно все то, что теперь
течет в горловину Босфора.

Уж год это длится, да-да, вот уж год!
И жутью встает аватара
эпохи, в которой последний магот¹
глядит со скалы Гибралтара.

И вряд ли от сока лемур красногуб,
и тени ползут по сетчатке,
и в душу вползает кровавый инкуб,
покорный слуга опечатки.

И гибнет рассудок, глухой и немой,
и бесятся выверт и вычес,
и вечный помой облекается тьмой
в истерике черных капричос.

¹ Магот, или берберская обезьяна, – единственная обезьяна, живущая в диком виде на территории Европы (в Гибралтаре). В Гибралтаре существует поверье, что пока на скале живёт хотя бы одна обезьяна, город останется британским.

**ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ.
ТАШКЕНТ. 1918**

Люди – что яйца из писаной торбы:
редко какое годится в музей.
Был бы ты, кабы брильянтов не спер бы,
просто один из великих князей.

Раз уж украл, – то давай, соответствуй,
взрослым бы стать, полагаю, пора.
Очень тобой недоволен отец твой,
сын Николая, потомок Петра.

Раз в государстве крадут миллиарды, –
каждый ворует, и это закон,
но, между тем, в Петербурге в ломбарды
часто ли носят брильянты с икон?

Очень уж много страниц протокола, –
слишком сильны голоса запевал,
думаю, камешки эти, Никола,
даже и вовсе не ты воровал.

Надо совсем уж утопнуть в нирване
и оказаться глупцом-жеребцом,
чтоб не понять, что прелестную Фанни
видеть не могут мамаша с отцом.

Если спасешься, – так разве что чудом,
чудо случится, – так будь начеку,
вот и отваливай прямо к верблюдам,
вот и накручивай хвост ишаку.

Все варианты судьбы обмерекав,
выбери самый заветренный кус,
только спасибо не жди от узбеков, –
им все равно, что шайтан, что урус.

Город в жаре, как в горячем дурмане,
зреет в подвалах густой мусаллас¹,
пьют ли, не пьют ли вино мусульмане,
пусть все равно переходят на квас.

Только к какому прибегнуть оружию,
чтобы с пустынею выиграть бой,
чтобы, не прячась за тушу верблюжью,
все-таки воду направить в Узбой?

...Все эти битвы и дикие крики,
глупость одна и одно воровство.
Ты для чего отрекаешься, Ники,
или умней не нашел ничего?

Год восемнадцатый мчит, стервенея,
сердце сжимая и ум цепеня.
Кровью густою течет романея
с первого дня до последнего дня.

Дряхлому веку никто не советчик,
крест на могиле – совсем не сандал.
Танцы узбеков и пляски узбечек, –
это не то, чего князь ожидал.

Только и общего – блеск темно-синий,
вышло, что замыслам всем вопреки,
вы – за пустыней и мы – за пустыней,
а посредине – сплошные пески.

Век растворяется в пламени алом,
вышла страна вместе с нами в тираж,
и исчезает над древним Аралом
великокняжеский мертвый мираж.

¹ Узбекское крепленое вино.

**ВИКТОР АРДАШЕВ.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 1918**

«Екатеринбургский Облсовдеп Сафарову Прошу
расследовать и сообщить мне причины обыска и
ареста Ардашевых особенно детей в Перми.

Предсовнаркома Ленин».

На следующий день, 3 июля, еще одна телеграмма:
«Поправляю предыдущую мою телеграмму: Арда-
шев арестован Екатеринбурге, а не в Перми.

Предсовнаркома Ленин».

Оберегая дух, убережешь ли тело?
Стараться надо ли, коль скоро все помрем?
Забавный родственник, двоюродный брателло,
теперь живет в Москве, работает царем.

Зачем пошел служить, – спросить бы надо веско,
да только вечно врет любимая страна.
Кому нужна свекровь? Кому нужна невестка?
Что человеку – жизнь? Что жизни – имена?

А впрочем, фактами людей не ошарашив,
возьми-ка ты перо, внеси на чистый лист:
Ульянов – адвокат, нотариус – Ардашев,
двоюродный юрист, родной авантюрист.

То к истине прильну, то от нее отдернусь, –
чуть светится она как липовый алмаз.
Что слово «махайрод», что слово «эпиорнис», –
одно трясение дурных воздушных масс.

Каракас, Богота, Сан-Паулу и Сантос, –
плетение словес, непроданный товар.
Бердичевский прищур, калмыцкий эпикантус, –
как это совместить, чтоб вышел Боливар?

Не ускользнуть избе на тонких ножках курьих,
и белым черного не сделать кобеля.

Когда работаешь в далеких Верхотурьях,
то лучше не бежать из местного кремля.

Статистов для войны судьба понабирала,
кто виноват в беде, – себя не обвинит.
Тех, кто не защитил ни Волги, ни Урала
швыряют под топор на красный родонит.

Кто лошадь потерял, тот не ищи подкову,
и трубка ни к чему, коль скоро нет махры,
да и любой расстрел матросу Хохрякову
не кажется бедой, а так, хухры-мухры.

Влезать в подробности врагу не пожелаю,
в истории всегда отыщется близнец:
есть пуля Виктору, есть пуля Николаю, –
обоим выписан билет в один конец.

Патроны у чека для всех в одну расценку,
уж сколько их ни есть, а все лежат в горсти.
А что застрелен был, – так сам полез стенку,
а то, что стенки нет, – так можно возвести.

К какой истории случайно не притронусь, –
тропинку в ней найти совсем не тяжело,
езде-то жрет детей вечноголодный Кронос
езде-то чавкает несытое мурло.

Не шибко далеко уже до мавзолея,
не постреляешь всех зарвавшихся растяп.
Ильич не от отличит Перми от Уфалея,
но победителям всегда прощают ляп.

... Жаль: как начну копать, – так сразу и устану.
На небе и земле – все та же чехарда,
и телескоп разбит, и веры нет секстану,
и стрелка компаса не смотрит никуда.

ИВАН МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ. 1918

Зачастил пономарь, и его хрипотца
говорит: небогатыми будут поминки,
и не тешит печальное сердце скупца
миллион, разделенный на две половинки.

Значит, мало украл, коль вечерней порой
был в расход уведен на чухонские пожни,
потому что как раз половинки второй
не хватило на подкуп советской таможни.

Ты, казалось, повсюду натырил с лихвой,
цирковой акробат, разбитной человек:
то ли ты из дворян, то ли папочка твой –
знаменитый еврей и фальшивомонетчик.

То ли ты кальвинист, то ли ты духобор,
то ли мудрый раввин – выпускник ешибота,
то ли крупный шпион, то ли попросту вор,
для которого кража – всего лишь работа.

То ли скупщик рыжья, то ли взломщик простой,
при отмычке, ноже, топоре и киянке,
греховодник отчасти, отчасти святой,
добровольный наемник российской охраны.

То ли шахматный конь, то ли шустрый конек,
что стоит близ кобыл, полагаясь на случай,
мастер тихо лежать и бежать наутек
к драгоценной заначке в норе бурундучьей.

Предлагая лошадке дрянной сеновал,
между тем ты сулил золоченую сбрую:
если ты полмилльона легко своровал, –
что же ты не украл половину вторую?

Ты к вершинам взлетал и спускался на дно,
упиваясь врожденною хитростью змея;
и, бывало, удачно играл в казино,
совершенно при этом играть не умея.

Оставались война за войной позади,
обрастать орденами входило в привычку:
ты Владимира гордо носил на груди,
а под ним Изабеллу носил, Католичку.

Ты любого просителя гнал за порог,
и всего-то листок доставал из бювара,
и, царапая наскоро несколько строк,
извлекал из чернильницы литры наваара.

Но страдал от своих же неспрятанных шил,
не умел отрешиться от жизни хорошей,
понемногу слабея в дороге, спешил
от тюрьмы до тюрьмы, от галоши к галоше.

Осознав, что судьба у тебя не ахти,
ощутил себя спицей в чужой колеснице,
но, с портфелем брильянтов пытаясь уйти,
был опознан женою на финской границе.

Ты стоишь на снегу: натуральный пингвин,
и, бессильно смотря на рубеж вожделенный,
улетаешь в дыру между двух половин
неудобосказуемой части вселенной.

ЕЛЕНА МОЛОХОВЕЦ. КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ. 1918

....салат из картофеля: сварить в соленом кипятке картофель, очистить, нарезать ломтиками, смешать с 3 ложками прованского масла, 2 ложками уксуса, солью, перцем и рубленой зеленью.

Елена Молоховец. «Подарок молодым хозяйкам»

Решив перекусить, не стражди ананаса.
Селедку не ругай и лука не бесчесть.
В родном Архангельске вполне хватает мяса,
и рыба всякая обычно тоже есть.

Сколь ни блюда поста, диету ни тетёшкой,
святого из себя великого ни строй, –
не накормить семью немытою картошкой,
ни петухом живым, ни мойвою сырой.

Напротив! Для стола продумай каждый атом,
на многом экономя, но мужа и отца
утешь селедкой, картофельным салатом
и самую простой начинкой голубца.

...Но в будущем, в бреду, безумствует потомок,
за преступления готов стоптать тебя,
за то, что речь вела про осетров и сёмог,
прислугу верную мордюя и гнобя.

Он опознает грех во пироге капустном,
объявит огурец едой для баронесс,
картошку назовет деликатесом гнусным
и в луковке узрит омара бордолез.

В кадушке с медом он увидит дегтя ложку,
ему любой рецепт – что корабельный бунт,
хоть куры на Сенном пять штук всего за трешку,
а сёмга и осетр всего полтинник фунт.

...Пусть хоть не с первого, так с третьего захода
пятнадцати столов решительный адепт
тебя предпишет звать врагинею народа,
воруя у тебя любой второй рецепт.

Однако же не все решит тираж суммарный,
и родина тебя не бросит под каблук,
не сможет запретить инспектор санитарный
ни суп картофельный, ни огурец, ни лук.

...Ничем не удивить ни Колыму, ни Яик,
тут скатерть каждая – что самобранный плат.
Не первый миллион признательных хозяек,
священодействуя, готовят твой салат.

Он скромной трапезе и лучшему застолью
вполне уместною прибавкою порой.
Всего и нужно-то – картофелина с солью,
а если две иль три – так это пир горой.

Не надо бы страну корить великой пьянкой,
когда закуски нет ни рядом, ни окрест,
а кто дает рецепт с намеренной подлянкой, –
так видно же всегда, что он того не ест.

Он праведен во всем, он совесть полирует,
но лишь тебе прощать что тигров, что овец:
кто хочет воровать, так пусть себе ворует,
он – призрак ледяной, а ты – Молоховец.

Ты о хулителях не думай, бога ради,
не создадут они ни фарша, ни котлет, –
пусть горько умирать в безбожном Петрограде,
пусть завершив дела, пусть в девяносто лет.

Но прынет в небо свет и разрешит загадку,
но память о тебе не порастет травой,
и через сотню лет отправят в допечатку
не только Библию, но и подарок твой.

ФИЛИППИКА

Задаются вы на макароны...

Георгий Иванов

Счастливец в мире тот, кто ест хоть иногда!
Кто ничего не жрет – одну чернуху лепит.
...Придется посему все долгие года
к еде испытывать то ненависть, то трепет.

Легко ли въехать в рай на голоде верхом?
Сколь долго разум ты рецептами не пичкай,
а все не будешь сыт, – и яростным стихом
начнешь сражение с тупой молоховичкой.

...Как щуку позабыть? Не думать о леще?
О раках жареных? О, есть ли в реках раки?..
Державина читать бесплодно и вотще:
нет в мире пирогов, как нет и кулебяки.

Блажен, кто голод свой смиреньем забодал,
что ж до Державина – нет выдумщика краше,
в том нет сомнения: он сроду не видал
шекснинской стерляди, ни даже пшенной каши.

Наздравствоваться кто б возмог на каждый чих,
все мысли о жратве пора услатить за скобки.
Чума бы забрала всех тех молоховчих,
что смеют пить супы и лживые похлебки!

Желудок, что же ты идешь на поводу?
Где счастье? Нет его в маисе и редисе.
Когда бы только знать, кто избрел еду, –
поймать ту гадину, да врезать во усысе.

Во имя ли харчей вести борьбу за трон?
И слюни надо ли пускать в голодном трансе?
Кто слепо верует в кастрюлю макарон,
тот ярый солипсист, погрязший в декадансе.

Конечно, можно бы в историю не лезть,
почета нет рабам работы иждевенской,
кто может уяснить, насколько выше честь
каракалпакская – таджикской и туркменской?

Так сгинь же, требуха, и проклят будь, сычуг,
смиряли дух постом умеренные предки, –
и твердо помнит плоть, что ни к чему для слуг
в тарелках оставлять богатые объедки.

Возможно ли судьбу оплакивать сию?
Кто выбирает путь, тот за него в ответе.
Кто проклял эскалоп, тот возносить в раю
навек обречен моление о котлете.

ПРЯ ДОНСКАЯ ВСЕВЕЛИКАЯ

В ночь на Ивана Купалу в заповедном лесу задержали двух безумцев-домовладельцев, искавших «инженер-траву».

Виктор Севский. Дом на костылях

Балобан на Дону не могёть забагато:
энто надобедь зырить на ту скиперду!
Длится чуть не столетье донская регата,
и приличного слова о ней не найду.

Знаменатель велел, чтоб нашелся числитель,
и в сусеки Лубянки полез книгочей,
разнесчастный старик, сталевар-закалитель,
подписавший письмо четырех стукачей.

Но неправильный свет та тетрадь излучала,
потому не дрожала рука старика,
и все то, что написано было сначала,
поменяли на то, что велело ЦК.

Было все поначалу ни валко, ни шатко,
но врубили конвейер, и стало легко,
и помчался Григорий, помчался Мишатка,
не успев на губах просушить молоко.

И на каждой странице имелась причина,
чтобы вилы для боя святого добыть,
чтобы твердо сказать, что Григорий – мужчина,
и не может поэтому женщиной быть.

Были справа удары и слева удары,
и о том сообщал романист напрямки,
что, мол, красные хлещут немало водяры,
но поменьше, чем хлещут ее беляки.

Беляки комиссарам позорно продули,
уступив погребам медовух и сивух,
и трещали в сюжете четыре ходули,
и роман ковылял на оставшихся двух.

И неважно уже, что о ком говорится,
коль отдельно хвосты и отдельно рога,
потому как побить полагается фрица
и засеять у тещи две тысячи га.

...Обозначилась в книге крутая интрига –
не оценишь иначе, как словом на «хе»,
и легла на прилавки великая книга,
не слабей, чем роман о великом чучхе.

Что с народа возьмешь? Он что дали, то схавал,
лишь похмелье наутро, и в брюхе штормит,
лишь у трона стоит и хихикает дьявол,
имениннику в торбе суя динамит.

Вот и спорим теперь, чья рука наваяла,
все четыре томины тупой скукоты,
будто важно, кто сшил в лоскуты одеяло,
и на нитки разъехались те лоскуты.

И, зверея, сидим над книжонкой дурацкой,
выясняем, кто славен, а кто пресловут,
и сияет огонь над могилою братской,
от которого в ужасе кони плывут.

А непойманный Чичиков лезет в карету,
чтобы новую где-то затеять гастроль,
и не видит никто, как в глубокую Лету
победительно шествует голый король.

ГЕНЕРАЛ ХАРЬКОВ. 1919

Кириллу Еськову

Мы не можем сказать русским, борющимся против большевиков: «Спасибо, вы нам больше не нужны. Пускай большевики режут вам горло». Мы были бы недостойной страной!... А поэтому мы должны оказать всемерную помощь адмиралу Колчаку, генералу Деникину и генералу Харькову.

Дэвид Ллойд Джордж, 1919

... и полагала, между прочим,
что Харьков – русский генерал.

Владимир Набоков

Мы выступаем завтра на заре,
и посему поберегите нервы.
Полковник Вятка выстроит каре,
хорунжий Мценск ответит за резервы.

План наступленья, в сущности, таков:
кольцо вокруг врага затянем туго –
в кустах заляжет подполковник Псков,
рванет в атаку генерал Калуга.

Корнет Дербент, чуток попартизань,
тылы врагов перешерсти немного.
На левом фланге – капитан Рязань.
На правом фланге – старшина Молога.

Когда же ниспадут лохмотья тьмы
и разгорится свет на небосклоне,
легко издалика увидим мы:
марширен унзре бессере колонне.

О да, суровы правила войны!
Сомнения куда подальше спрятав,

вступают в бой черкесы-пластуны:
подъесаулы Витебск и Саратов.

Победы нашей миг да будет свят!
Сверкают сталью наши рукавицы,
нас, провожая в бой, благословят
великие княгини Черновицы.

Да, эта драка будет весела,
но горожан ничем не потревожит.
Поднимет меч барон Махачкала,
и каждый комиссар в штаны наложит.

Пускай Россия хлещет брандахлыст,
но лейтенант Смоленск упрется рогом, –
не устоит кровавый большевист
пред генерал-майором Таганрогом!

Я думаю, примерно к Рождеству,
чтоб дать закончить пьесу драматургу,
мы предоставим маршала Москву
военному хирургу Петербургу.

Мы за победу намешаем ёрш
и выпьем в честь свободы древнерусской,
и в провансале квашенный ллойд-джордж
окажется отличною закуской.

ПАВЕЛ ШТЕРНБЕРГ. КРАТКИЙ КУРС БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ. 1917

По городу летит бронетрамвай.
Проклятьем заклеянный, не зевай,
вставай и не пролеживай полати.
Земля и небо ходят ходуном.
Прямой наводкой лупит астроном
по цифре «два» на Спасском циферблате.

Не опасаясь пропасти в овсе,
прислуга кабаков и медресе,
рассвирепев, кобенится с похмелья,
в надеждах на добавку задарма.
К орудиям у Вшивого холма
повыползали дети Подземелья.

Команда: фойер! Дружное ура!
История закончилась вчера,
сегодня – начинается другая.
Конец Кремлю, империя – враздрызг,
и к телескопу липнет Василиск,
мерзавцу-звездочету помогая.

Не до планет сегодня, не до звезд.
Столица превращается в погост.
Ликуют мамелoшн и ридна мова.
Бандиты собираются в синклит,
и по Кремлю уверенно палит
расстрельный матерьял тридцать седьмого.

От запаха кровавого пьяна,
печальная прощается страна
с Лефортовым и Триумфальной аркой,
и больше ни березок, ни рябин,
а только Санчагоу и Харбин,
а только Левашово с Коммунаркой.

Молитесь о грядущих временах,
солдат, крестьянин, нищий и монах,
молитесь о себе, о божьих тварях,
о тех, кто гибнет в тысячах Вандеей,
о раненых на сотнях площадей,
о мертвецах в десятках Пивоварих.

Указывает множество примет:
из Питера приедет Бафомет,
и станут футуристы-Василиски
подсчитывать в уме и по слогам,
что хуже: двадцать пять и по рогам –
иль десять лет без права переписки.

В прицел профессор пристально глядит,
бандит и троглодит, и эрудит,
прямой наводкой лупит, свирепея,
в дыму осенней бури осмелев,
и пусть к чертям пойдут Пегас и Лев,
и сгинет в небесах Кассиопея.

Давно забыл покорный звездам раб
Арктур, и Бетельгейзе, и Акраб,
Канопус бесполезен для майдана,
да и понятно, что соблазн велик
не помнить про двойной Садалмелик,
и наплевать на Альфу Эридана.

Его глаза восторженно горят,
и безотказно падает снаряд
на тех, кого назначил он врагами,
и тянется кровавая страда,
и в небо всходит красная звезда
не как-нибудь, а вверх двумя рогами.

...Тоскливая мышьяная возня.
Картины наступающего дня
подернуты пороховою дымкой,
и ни рабочих нет, ни юнкеров,
и не видать конца войне миров
с кремлевским человеком-невидимкой.

**РОБИН КОТ.
БЕССАРАБСКАЯ ФУГА. 1920**

Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.

Эдуард Багрицкий. Дума про Опанаса

Пробуждается совесть не в каждом жлобе,
да и Феникс порой не встает из горнила.
Эта повесть возникла сама по себе
и легенду сама про себя сочинила.

Правда с ложью в единый попали компот,
выяснением истины разум не тешь ты:
Робин Гуд, уголовник по прозвищу Кот,
был рожден в бессарабском местечке Ганчешты.

Говорили, что в нем золотая душа,
говорили, что он благородный владыка,
а парнишка был вор и к тому же левша,
а парнишка был пень и к тому же заика.

Ты заставь его пить за здоровье братков, –
не осилит он даже второго кувшина
да и рост у него только сорок вершков,
это значит, что два с половиной аршина.

Он огнем романтизма совсем не горит,
да и конь не похож на кусок рафинада,
да и череп его не особенно брит,
ибо лысину брить совершенно не надо.

Кем он в точности был, – знает разве что дюк:
может, бравый гайдук из лихих переростков,
только все же скорей не гайдук, а бандюк
из числа неизвестно каких отморозков.

Жил в душе у него благородный ковбой,
что коровок гоняет под солнцем и ливнем,
он гордился собой, уходя на разбой,
и достоинств иных никаких не найти в нем.

...Царь уволился, напрочь дела запустив,
не рыдала по нем ни единая баба,
а верховную власть захватил коллектив
бандюков совершенно иного масштаба.

Стало ясно, что подвиги ждут храбреца:
заподозрив великую силу в совдепе,
подхватился герой, оседлал жеребца
и стрелой полетел в бессарабские степи.

Таковые бойцы у совдепа в чести:
без таких не управишься с людом строптивым.
Оказалось, что очень ему по пути
с упомянутым выше большим коллективом.

Задрожал перед ним чуть не весь материк,
по молдавским степям наскочил аллюром,
намахался папахой великий комбриг,
не давая боев ни Махнам, ни Петлюрам.

Бесполезная жизнь до конца прожита,
гром эпохи все дальше, минорнее, тише,
разве только поют о величье Кота
из подполья глядящие белые мыши.

До побачення, чао, сайонара, адью,
исчезают печали, кончаются беды,
и бандиту теперь в некотором бою
никакой не предвидится новой победы.

ПАВЕЛ МАКАРОВ.
АДЬЮТАНТ. 1920

Непросто нанести портрет на холст.
Художнику нужны азарт и смелость.
Блестящий генерал был очень толст,
и тяпнуть коньячку ему хотелось.

Не надо видеть в том большой вины,
и можно ль этим удивить потомка?
Любой поймет: в условиях войны
винодобытье очень трудоемко.

Не надо вшей искать в чужом тряпье, –
стереотипов тут не поломаю.
Тот офицер стал личным сомелье,
служившим только генералу Маю.

...Сперва Тифлис, а позже Бухарест,
а следом – путь на север, к Перекопу.
Он только отыскал себе насест, –
но тут судьба и выдала синкопу.

Что спросишь, если морда кирпичом?
Но коль спросили, – так само собою:
он ни при чем, он знает, что почем,
годится он хоть к бою, хоть к гобою.

Глаза у страха вечно велики,
однако же страшней всего при этом
смотреть, как в бой идут большевики
под лозунгом: «Вся выпивка – Советам!».

Кто пить не хочет – сразу выйди вон,
из фактов примитивный вывод сделай:
никто делить не хочет выпивон
на красный, на зеленый и на белый.

В глазах рябит, но что ни говори,
есть понимание в этом адъютанте:
коль генерал желает пино-гри,
так хоть из-под земли его достаньте.

Шампанское тащите, и шартрез
несите, генералу потакая,
«Кокур», и «Магарач», и «Ай-Сорез»,
и не забудьте два ведра токая.

...Былое погружается в муар.
И вот для всяких сучек-белоручек
в который раз марает мемуар
не то подпольщик, а не то поручик.

Такой вот удивительный хоккей,
такой футбол на сцене ресторана:
его превосходительства лакей –
суперзвезда советского экрана.

Могилы исторгают мертвеца,
и даже пес на кладбище не лает,
и длится ночь, которой нет конца,
и страшный сон кончаться не желает.

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУХОВА. ШАБОЛОВКА. 1922

Инженеру понятны законы теней,
сочетания самых неясных гармоний:
должен выглядеть дом максимально древней,
ну, а башня – насколько возможно наклонней.

Не печалься, не хнычь и о том не курлычь,
что, мол, кто-то и что-то неправильно строит.
Пусть уж тем утешается бедный москвич,
что не падает шуховский гиперboloид.

Время многие вещи смололо в муку,
не расскажешь о них некоторым жаргоном.
...Воевал за клиента когда-то в Баку
коногон с мулогоном, а тот – с ослогоном.

Бочки с нефтью возил апшеронский народ, –
но однажды, продымленный воздух понюхав,
от завода до скважины нефтепровод
положил за три дня непорядочный Шухов.

А еще он лудил нефтяные котлы,
были две стороны у подобной медали:
от него пострадали не только ослы,
водовозы – и те от него пострадали.

На природе не могут иные коты
упустить ни одной пробегающей мыши,
а Владимир ваял кружевные мосты,
над вокзалами строил ажурные крыши.

Где подземный чердак, где надземный подвал,
при незримых сортирах незримые ванны, –
если б он ненароком блоху подковал,
танцевала б она лучше Павловой Анны.

Он в империю вбухал немало трудов:
на ажурные башни взирали угрюмо
современные готы Торговых Рядов
и грядущие гунны грядущего ГУМа.

Лицезрением скифы натешились всласть
и большую мечту извлекли из портфеля,
ибо твердо решила советская власть,
что она покарает мерзавца Эйфеля.

Никогда себя клоп не объявит клопом,
и холопы себя не зачислят в холопы.
Коль нельзя молотком, то хотя бы серпом
надо грозно махнуть перед носом Европы.

Только время и здесь предъявило права,
безразличный судья приговор накарябал,
и уже никому не нужны кружева
безнадежно отставших от века парабол.

...Что железо стареет, – отнюдь не секрет,
перемена веков – не вопрос антрепризы.
Бесполезною вышкой торчит минарет,
словно символ гибридный Парижа и Пизы.

Черный парус трепещет, и берег далек,
Млечный Путь растянулся змеею гремучей,
и последний дотлел голубой огонек,
исчезая в межзвездной неправде колючей.

АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ. СТАКАН ВОДЫ. 1922

Любовь, как стакан воды, дается тому, кто его просит.
Жорж Санд

Цветет черемуха, и горе – не беда,
и это – истина простая.
Хранит история, сгорая со стыда,
жену красавца Коллонтая.

Он был троюродный, он был совсем не глуп,
и он не стал бы пить цикуты:
притом что прочие, кто получал отлуп,
стрелялись через две минуты.

Кому не нравится – так мать его туды.
Кому-то кнут, кому-то пряник.
А выпить хочется тебе стакан воды, –
так подставляй-ка подстаканник.

Кто не согласен тут, – не смыслит ни шиша.
Вовек не ведала афронта
натура светлая, рабочая душа
прапрапраправнучки Довмонта.

О, с этой женщиной едва ли кто сравним!
Мужчинам не давала спуску,
любя учителя и гимназиста с ним, –
и поваренка на закуску.

С ней были мичманы, дворяне, голытьба
и трудовой народ застенка,
а пролетарский пост, куда взнесла судьба,
не снился и мадам Биценко.

Порой была добра, порой бывала зла,
служила красному прогрессу.
С ней тиф не справился, холера не взяла,
сожрав Ларису и Инессу.

Нарком призраения ответить не готов,
что лучше – просо иль овсянка, –
среди лилий тигровых и полевых цветов
цвела советская росьянка.

Хлеща арапником и цирковым бичом,
но чаще хлопая перчаткой,
поняв заранее, что будет и почем,
советской стала дипломаткой.

Вела великий спор о пользе и вреде
нерасцветающих черемух,
отлично шарила и в пиве, и в воде,
сия бабенция не промах.

Ну да, имеются святоши и ханжи
меж тех, кто против жаркой ночки.
Но ты свободен будь и попросту скажи –
бери воды четыре бочки!

А просишь пятаю, – так тоже не впервой.
Цвел посреди советских кочек,
дар Македонии культуре мировой,
сей хищный аленький цветочек.

В прекрасном имени – стодолларовый хруст.
Помрет – начнется истерия,
по Александровкам везде воздвигнут бюст,
и запоет Александрия.

Смерть – не препятствие, удел ее таков:
восстанет, страшной мезтью бредя,
и поведет на бой ораву мужиков
дипломатическая леди.

ОЛЬГА ФОН ШТЕЙН. СКАЗКА О СТАРУХЕ БЕЗ СТАРИКА. 1924

То в седле золотом, то верхом на еже
по незримым истории тропам
этот странный птенец из яйца Фаберже
проскакал по России галопом.

Вековушина доля всегда тяжела,
женихи – будто мертвые души,
но подумал арфист – «эх, была не была», –
и женился на той вековуше.

Было ей двадцать пять, а ему шестьдесят,
тучи сплетен пошли по народам.
Но слова, как лапша, на ушах не висят:
дело кончилось просто разводом.

Новый муж оказался почти генерал,
на него бы ей надо молиться,
только вздумалось дамочке, черт бы побрал,
возжелать золотого корытца.

Не фамилию надо менять, а судьбу,
неуместен удел содержанки.
Для корытца того золотую избу
столбовой захотелось дворянке.

Там брильянтами будет отделан бассейн,
не устроит иное царицу:
потому как несложно для Ольги фон Штейн
с Эрмитажа продать черепицу.

Взятка здесь, взятка там, началась чехарда,
но она приготовилась к драме,
улизнувши едва ль не из зала суда,
очутилась в каком-то Майами.

Во Флориде бы так и осталась она,
впрочем, думать об этом – наивно.
У России рука не особо сильна,
но длинна до того, что противно.

Что сильнее, чем взятка, в родной стороне?
Тут кого бы не взяли завидки?
Пребывала, судьбою довольна вполне,
от отсидки до новой отсидки.

И опять революции муторный бред,
хрен последний без соли обглодан.
На дворянскую честь покупателя нет,
но еще Эрмитаж не распродан.

Власть советская всех изваляла в дерьме,
в коем стразы хранить неуместно.
Оказалась она в Костроме и в тюрьме,
а точней – ничего неизвестно.

Кострома не Москва, ибо верит слезе.
Даже годы ее не губили.
И опять в ка-пе-зе на кривой на козе,
и оттуда – на сивой кобыле.

При Советах непросто прожить без рыжья,
и в финале той жизни нелепой
вместе с дворником, выбранным ею в мужья,
торговала капустой и репой.

И уже не слышать провожающих лир,
дозвучала соната до точки:
разместился в прологе отец-ювелир,
а в финале – капуста из бочки.

СИДНЕЙ РЕЙЛИ.
КВИКСТЕП. 1925
(ЧЕЧЕТКА)

А что же до сих пор никто не спросит:
откуда у судьбы подобные коктейли?..
Встает из тьмы времен секретный одессит,
кого запомнил мир как господина Рейли.

Архивы говорят, что парень был угрюм,
что не гордился он судьбою пролетарской,
что не ирландец он, а Шлёма Розенблюм,
и что родился он в Одессе на Болгарской.

И только стукнуло ему тринадцать лет,
весьма решительно он развернул оглобли:
не талес и тфилин, а нож и пистолет
нашел на Гаванной и записался в нобли.

Он имя поменял, а с ним и гардероб.
Фанфары грянули, взгремели барабаны, –
и наш чечеточник подальше от Европ
отправился плясать в пески Копакабаны.

Он весело плясал на многих берегах,
то ставя твердый знак, то доходя до точки,
то по уши в деньгах, то по уши в долгах,
то в доме собственном, а то и в одиночке.

Не то чтобы красив, но верток и умен,
и тронам честь воздав и старым табуреткам,
сменил десяток жен и множество имен
и головы дурил чуть не пяти разведкам.

Еще служил в войну в канадских ВВС,
разжился ксивою, в делах необходимой,
прокрался в Петроград и с яростью полез
в борьбу великую за свой карман родимый.

В такие дни не грех заняться грабежом,
коль нет правительства, – не угодишь на нары.
Что пролетариям возиться с фабержом,
и в грязных нужниках нужны ли фрагонары?

Однако на сто лет не хватит фабержа,
и наш герой легко протанцевал по шканцам,
себе любимому всех более служа,
где мог, наворовал, и отвалил к британцам.

Шпион-то ты, да вот не смыслишь ни шиша,
рыбак, оплакивай у моря долю рыблю,
на всей стране лежит отрава Сиваша,
и все погребено под этой мертвой зыбью.

Тут что ни делай, всё – упущенный момент,
один сплошной провал, а выход только снится,
и будь ты хоть сто раз легенда из легенд,
но ближе ад и рай, чем финская граница.

Работал бы расчет у здешней солдатни,
глядишь, и ни к чему расхлебывать кисель бы.
В чековской камере досиживает дни
одесский Одиссей, Наполеон без Эльбы.

Тропа уводит вниз, во тьму и напрямик,
Раскалено чело, пересыхает глотка,
и вот последний шаг, и вот последний миг,
и солнце не взошло, и кончилась чечетка.

АРКАДИЙ КОШКО.
СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ. 1926

Как много странных тайн унесено в века.
Что может знать о них подросток-однолеток?
Нижегородская шампанская река
и миллионщиков несла, и мидинеток.

Всё, прежде бывшее, преобразилось в тлен,
все яйца Фаберже разбиты для омлета,
тот, кто для сыска был вполне известный член,
известен стал как член Верховного совета.

Пренебрегла страна основами основ,
свои же принципы отбросила фортуна,
притом что среди моих надежных топтунов
имелся Иванов на каждого Гриншпуна.

Сей православнейший еврей-головорез
по сотне раз сидел на съезжей под арестом,
а нынче во главе какой-то эр-ве-эс
грозит Атлантике своим причинным местом.

Преступник следаков, бывало, что дурил,
хотел бодаться он, да пыжился комоло.
Тогда казалось мне, что я ловлю горилл,
а нынче все они – орлята комсомола.

Где прежде был огонь, – осталась горсть золы.
В кровавый пепел флаг зловеще перекрашен,
и целы только те двуглавые орлы,
что на разбойников глядят с кремлевских башен.

Всё надо бы начать с очередной главы,
но жаль, проблема тут отнюдь не трехрублева:
московский голова уехал из Москвы,
зато приехал нос майора Ковалева.

Страна, где с жаждою прославиться в веках,
ведром воды запив настойку мухомора,
идет к курьерскому пахать на рысаках
кривое зеркало российского раздора.

Живые призраки притонов и малин
на сценах дергались и подбивали клинья,
а тот, кто вздрагивал при слове Сахалин,
стал нынче депутат от Красносахалинья.

Князь нынешний стоит, усами шевеля,
спокойствуют под ним что воры, что воровки.
Кто прежде убивал вдову за три рубля,
спокойно тискает сегодня сторублевки.

В Париже снова ночь, она темным-темна,
просвета не найду, куда ни отступи я.
Заучит Запад пусть, что для Руси нужна
не дипломатия, а дактилоскопия.

Что пользы жалостно умасливать содом,
что пользы обсуждать решение любое?
...Мне снится по ночам, что рухнул мертвый дом
и следствие идет по делу о разбое.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ. КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВЧК. 1926

Игорю Петрову

...со следами ошибок молодости
на конопатом лице.

Владимир Гиляровский

Это же огромная сумма денег!
И я рада, что теперь мне есть, на
что покупать свободу.

Светлана Алексиевич.

Интервью 2015 г.

У наркома должна быть полна кладовая,
чтоб ему не держать бутерброд в кобуре.
В понедельник стерлядка пойдет паровая
а во вторник индейка с бобовым пюре.

Подойдут для меню господарские фляки,
эта штука отлично пойдет под коньяк:
ведь по матери предки наркома поляки
и папаша его, вероятно, поляк.

У наркома на завтрак сырковая масса,
тяжелы у него трудовые деньки,
пусть нарком посидит на икре вместо мяса,
у него на работе и так мясники.

Ведь нельзя постоянно спешить на работу
и отталкивать гневно стакан с молоком.
Хорошо приготовить цыпленка в субботу,
потому как детей обожает нарком.

Никого из чужих он не пустит к жаркому,
кочерыжки – и той не оставит врагу,
потому как на службе привычно наркому
из буржуйского мяса готовить рагу.

На Лубянке нельзя околачивать груши,
там во всем обязателен точный расчет.
Он отлично умеет подвешивать туши,
все, что надо, сечет и прекрасно печет.

На Лубянку не ездят заради безделья,
там никто не грустит и небес не копит,
там такой винегрет и такая паэлья,
что посмотришь – и вмиг пропадет аппетит.

...Бедолага преставился, дело закрыто,
пастуху разрешили овечек пасти,
но всегда у страны эшелон динамита,
под парами стоит на запасном пути.

Разгорается свет в криминальном тумане,
и великая честь – не служба в эфэсбе,
положить в кошелек динамитные мани
за лакейский отчет о наркомской судьбе.

Получается – хватит советской ливреи,
чтобы арии петь в королевском дворце,
получается – есть персонаж в галерее,
со следами ошибок на женском лице.

Вот и будет висеть он, умы будоража,
будто черный кобель, что отмыт добела,
представляя собою гибрид холуяжа
и простого желания хапнуть бабла.

Голова разболелась, и ноют печёнки,
лишь выдать, как вцепились в диплом по-мужски
эти две исключительно ловких ручонки,
эти две не особенно чистых руки.

В ту зиму из-за недостатка рабочих для очистки снега в Кремле привлекались жены ответственных работников. Когда Дзержинский узнал, что комендант Кремля П. Д. Мальков освободил от этой работы его жену, которая только что

вернулась из эмиграции, в кабинете коменданта зазвонил телефон: «Я не понимаю – волновался Дзержинский, – почему, когда все работают, моя жена должна быть освобождена от работы? Считаю ваше решение неправильным... Прошу вас в дальнейшем моей семье не предоставлять никаких привилегий». <...>

Ловлю себя на мысли, что мне все время хочется цитировать самого Дзержинского. Его дневники. Его письма. И делаю я это не из желания каким-либо образом облегчить свою журналистскую задачу, а из-за влюбленности в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные. Я знала: Дзержинский очень любил детей... Тысячи беспризорников обязаны ему новой жизнью...

Светлана Алексиевич. Меч и пламя революции

По воспоминаниям соратников Дзержинского, ел он плохо, пил пустой кипяток. Сергеев приводит случай, имевший место в Сибири в 1922 году: «Однажды, когда я сидел вдвоем с Феликсом Эдмундовичем в его вагоне, товарищ принес ему стакан молока. Феликс Эдмундович смутился до последней степени. Он смотрел на молоко, как на совершенно недопустимую роскошь, как на непозволительное излишество в тяжелых условиях жизни того времени». Такого рода фактами богаты воспоминания большевиков.

Врачи, следившие за здоровьем Дзержинского, рекомендовали ему употреблять следующие продукты: «1. Разрешается белое мясо – курица, индюшатина, рябчик, телятина, рыба; 2. Черного мяса избегать; 3. Зелень и фрукты; 4. Всякие мучные блюда; 5. Избегать горчицы, перца, острых специй». <...> И Дзержинский строго придерживался рекомендаций медиков. Вот, например, одно из многочисленных его меню: «Понед. Консомэ из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски; Вторн. Солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом; Среда. Суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста; Четв. Похлебка боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек; Пятн. Пюре из цв. капусты, осетрина ам, бобы метрдотель; Суббота. Уха из стерлядей, индейка с соленьем (моч. ябл., вишня, слива), грибы в сметане; Воскр. Суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа».

Николай Непомнящий. Загадки истории России. 2012

ЛЕОНИД КРАСИН.
ЭЛЕКТРОНАРКОМ. 1926
(«МУРКА»)

Чуден и прекрасен был электрик Красин,
и мастак заглядывать в сердца,
и Морозов Савва тоже был красава,
тоже был ну просто молодца.

День настал туманный: Савва въехал в Канны
поиграть в фартовом казино,
но до той малины, взявши ветвь маслины,
Красин осторожно влез в окно.

Вечер догорает, Савва все играет,
пьет коньяк и просит огурца,
но, согласно моде, Красин на комод
прячется и тихо ждет купца.

У купца в избытке золотые слитки,
у купца без счета серебро,
Савва съездил в Канны и набил карманы,
ибо Савва ставил на зеро.

Не жалел нагана дядя из Кургана
Савва злобу в нем разбередил,
и под утро Лёня мигом, не филоня,
всю обойму в Савву разрядил.

Так что, боже правый, хрен бы с этим Саввой:
быть чему – того не миновать,
а для коммуниста что спереть монисто,
что в церковной кружке побывать.

Мы, назло охранке, будем грабить банки,
превратим монархию в дерьмо,
и сойдет за друга нам лихой ворюга
с неприличной кличкой Камо.

...Подлый гад германец всем устроил танец,
задудел в поганую дуду,
чтобы диктатурке радовались урки
в сказочном семнадцатом году.

Пусть бы гепеушки в каждой деревушке
взгтели несознательный народ.
Служит в продотряде не корысти ради
тот, кто хочет кушать бутерброд.

Кто идет в полпреды, кто-то в людоеды,
чтобы при бутылке первача
ведать распродажей гнусных Эрмитажей,
о пайке служебном хлопоча.

Здравствуй, славный Лёня, здравствуй, наш тихоня,
выбрось драгоценный партбилет,
и плыви на форум тот, что под забором
по тебе скучает много лет.

Урка, спрячь ухмылку, уноси в могилку
и кастет, и шпаер, и перо,
пусть звезда с опаской смотрит с башни Спасской
на лихой погост политбюро.

НАФТАЛИЙ ФРЕНКЕЛЬ. БРЫЗГИ ШАМΠΑНСКОГО. 1926

Что за яблочко в пасти у здешнего льва?
Даже звезды зимы от вранья косоглазы.
Но на сердце доселе хранят острова
пир во время чумы, пир во время проказы.

Внук раввина впервые за много веков
и монахам, и уркам готовит подачи,
и летят в Антарктиду с родных Соловков,
цепenea от страха, полярные крачки.

Только этим плевать на слова директив,
подневольной толпой исполняемых тупо,
здесь правительство нынче – чахотка и тиф,
и свирепствует круп хуже Фридриха Крушпа.

Полагается двигаться верным путем
и, приветствуя радостный труд перековки,
четвертинку столетья отрезать ломтем
под икру и шампанское в рабской столовке.

Что ж не праздновать тут, с дорогою душой
к Неффалиму-владыке тихонько подсыпшась?
Он умеет устраивать хипиш большой,
никому не позволив устраивать хипес.

Убедит он любой ненадежный притон
не играть с гепеу ни в лапту, ни в горелки,
он-то знает давно, на который чарльстон
покупаются лучше всего недострелки.

Новогодней баланды глубокий черпак
причитается каждому в нынешнем цирке,
чтобы каждый сплясал новогодний гопак,
ну, а если не спляшет, – сгниет на Секирке.

Четверть века упало в довременный мрак,
потому-то и времени нынче не жалко.
И танцует с троцкистами весь женбарак,
и одета по моде любая хабалка.

И в подпитье решив, что была не была,
этот остров не хуже, чем всякий соседний,
на узбекском рубабе играет мулла,
напевая негромко про «есть наш последний».

И на многие страсти сейчас неделим,
среди урок, красиво одетых-обутых,
разомлев, размышляет завхоз Неффалим
о родной мастерской на Больших Арнаутах.

Кто узнает, что выпадет нам в январе?
И молчит монастырь, и не ведает гнева,
а его протопоп и заезжий кюре
крестят слева направо и справа налево.

И колеблется вечность на Божьих весах,
И рождается кашель в груди нездоровый,
и гармоникой страшной висят в небесах
багрецы высоко над страной багровой.

И сиянье полярное пляшет фокстрот,
освещая тропу от варяга до грека,
и приветствует весь соловецкий народ
четвертинку вторую двадцатого века.

БОРИС ФОРТУНАТОВ. АСКАНИЯ-НОВА. 1928

От постороннего глаза упрятав
в сено истории много иголок,
жил литератор Борис Фортунатов,
главный в Аскании-Нове зубролог.

Не был горбатым и не был хвостатым,
не был российского трона опорой,
только и знаем, что бравым солдатом
в армии был неизвестно которой.

Вряд ли он был из великих героев,
бурей эпохи случайно рожденных,
не сотрясал некоторых устоев
скромный слуга Колчаков и Буденных.

Книги писал, а отнюдь не доносы,
нежность питал к байбакам и тапирам,
правда, пускал поезда под откосы,
правда, у Каппеля был командиром.

Чем по Европе таскаться с войсками,
право, имеется много резонов
в том, чтоб не красных мирить с беляками,
а разводить антилоп и бизонов.

Твердо избравши стезю таковую,
был он, как в финскую баню с мороза,
брошен Буденным на передовую:
на асканийские горы навоза.

Без промедлений и без перекуров
принял Асканию он как подарок:
коль воскресить не получится туров,
то разводить лебедей и казарок.

Стоит ли звать к топору черемиса?
Нужен ли памятник в каждом улусе?
Вымрут, глядишь, без стараний Бориса
канны, гауры, муфлоны, ватусси.

Не изводить же слонов на жаркое!
Пусть-ка узнают о том, что по силам
нашей науке устроить такое,
чтоб за Советы сражаться гориллам!

Пусть, не жалея ни жизни, ни шкуры,
строим идут на зловещих соседей
резус-макаки, гиббоны, лемуры
с дивизионами белых медведей.

Но воспротивился век твердолобый,
и выдается расстрельная квота.
Сходится мнение Тройки Особой
с мнением ирбиса и бегемота.

Время такое: обычное дело
просто не выдержать участи тяжелой,
только и радости – вместо расстрела
дали при лагере сдохнуть вольняшкой.

Занавес черный уже наготове,
но ничего не прикроет кулиса,
ибо поныне в Аскании-Нове
молятся зубры за душу Бориса.

Жаль, что в подробностях я не сумею,
изобразить этот венчик терновый,
эту элегию, эту камею,
это крещендо Аскании-Новы.

УМБЕРТО НОБИЛЕ.
НИ КРЕСТА, НИ ШАМПАНСКОГО. 1928

Неприятен вопрос, омерзительно клеек,
но приходится оный поставить ребром:
двадцать девять рублей и шестнадцать копеек, –
это ж сколько выходит монет серебром?

Обожает ефрейтор судить генерала,
воробей обожает орать на орла.
Лет пятнадцать душа у него отмирала,
всё куда-то рвалась и с трудом умерла.

Ну, конечно: стихи – это вроде товара,
вы простите поэту его прямоту.
У кого-то построчный подсчет гонорара.
У кого-то последний балласт на борту.

Убегает в ротатор за строчкою строчка,
ни во что не врубается бедный народ,
да и строчка ломается на три кусочка,
чтобы «альфа-ромео» стоял у ворот.

Только дали бы право народные слуги,
маскарадные звезды московских малин,
подарить знаменитой московской подруге –
аккуратный такой, небольшой цеппелин.

Это очень обидно, что за шесть построчий
получаешь всего-то два жалких рубля,
а на них ни крестьянин, ни бедный рабочий
ни укупит ягня, не прокормит теля.

А тем временем когти острит Муссолини
и народные жаждет присвоить труды,
и летит генералишко на цеппелине,
и спешит опоганить советские льды.

Он летит, сотоварищей злобно покинув
в смертоносном краю навороченных льдин,
а в продаже почти не найти цеппелинов
а ведь нужен в подарок всего-то один.

И пора приказать, не вникая в детали:
пусть следили б за тем на советской земле,
чтобы всякие Нобиле тут не летали,
чтоб один пролетарий летал на метле.

...Вот и слух, что кого-то в лесу пристрелили,
вот и щурится мрачный портрет над столом,
вот и грезит несчастный Самсон о Далиле
и грозит сам себе вороненым стволом.

Наплывает газетная стая пираний,
обступившие бесы готовят смолу,
и последним ехидно смеется Афраний,
тридцать первой монетой стуча по столу.

Говоря о моем стихе, называя его рубленой прозой, Полонский врет, утверждая, что рубление делается ради получения двух построчных рублей.

Все вы знаете, что единственная редакция на территории Советского союза, в которой платят два рубля за строку, – это «Новый мир».

В Лефе всем, и мне в том числе, платят 27 копеек за строку, причем вы отлично знаете, что весь свой гонорар мне приходится отдавать Лефу на не оплачиваемые Госиздатом канцелярские расходы.

Владимир Маяковский. Речь от 5 марта 1927 г.

...За деньги нельзя сегодня приобрести автомобиль, например. Ни один частный гражданин не может владеть им. Имеются, конечно, исключения. Я знаю известного поэта, «политического поэта», который заработал много денег и получил разрешение купить себе автомобиль.

Доктор Поль в разговоре с генералом Умберто Нобиле. 1931

Нобиле подвергся резкой критике со стороны руководства страны во главе с Муссолини и проправительственной прессы. Особенное внимание уделялось

тому, что Нобиле якобы трусливо бросил свою экспедицию на произвол судьбы (имелась в виду его эвакуация), и неясностям в судьбе Мальмгрена. В целом обвинительный тон был взят и американской, и советской прессой. Владимир Маяковский написал стихотворение «Крест и шампанское», в котором Нобиле был назван «фашистским генералишкой», который «предал товарищей».

Википедия.

Владимир Маяковский. Крест и шампанское. Июль 1928* 108 строк x 27 коп = 29 р. 16 коп.

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ.
PECUNIA NON OLET¹. 1929

«Бред пьяного кондитера»

Ле Корбюзье о Соборе Василия Блаженного

Черт тебе велел к черту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

Иван Бунин. Русская сказка

Славься, брутальность, долой травести!
Ты приходи-ка на помощь, смекалка!
Город, конечно, придется снести, –
он устарел, потому и не жалко.

Все возраженья – оставьте толпе.
Много ль возьмешь с обывателей глупых?
Ежели дорог вам стиль «*обишарте*»,
ну и прекрасно, живите в халупах.

Выбор: бывшее «*люли-разлюли*» –
или дворец из стекла и металла.
Очень уж мало в России земли,
вот и базарить ее не пристало.

Смерть корнеплодам во имя ботвы,
рыбки вредны для сольфеджио птичек.
Нужно следить, чтоб на месте Москвы
зря не торчал ни единый кирпичик.

Город пока что похож на амбар,
где карамельщик налег на спиртное.
Так что, как только не станет хибар,
тут же сносите и все остальное.

Кремль подмывает речная волна
(первым снесем его, напоминаю), –

¹ Деньги не пахнут (*лат.*).

думаю, вовсе река не нужна,
лучше ее мы направим к Дунаю.

Я понимаю, что вам нелегко
камни убрать со своих огородов.
Стиль «разгроме» или стиль «раздрако» –
могут потребовать неких расходов.

Город ваш – скопище ветхих берлог.
вы головы не ломайте особо.
Просто введите сортирный налог –
двести сортиров на два небоскреба.

Дух революции в вас не потух.
Верю: в России огромный излишек
маней, пекуний, гринов, шелестух,
тугриков, бабок, купилок и фишек.

Так что давайте: ударим сплеча,
плакать довольно о жизни вчерашней.
Если не хватит, пардон, кирпича, –
надо пожертвовать Спасскою башней.

...Только успел он промолвить сие, –
как возмутилась община рептилий.
Выгнали славного Ле Корбюзье,
без обсуждения фасадов и стилей.

Пусть небоскребы растут как грибы,
только учитывать надо при этом:
нечего к демону рваться в рабы,
нечего в карты играть с Бафометом.

**ФЕЛИКС ЛЮБЧИНСКИЙ.
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ. СОЛОВКИ. 1931**

Семь сестер, поселившись в Утином гнезде,
озаряют сошествие бабьего лета
на каштаны в немислимом городе, где
Богородица смотрит на мир с минарета.

Две Медведицы в небе твердят ектенью,
погружает в наркоз веселящая закись,
и вдыхает его ледяную струю
аравийский хромой верблюжонок Арракис.

Этой сладкой отравой мир опоён,
что ни миг, ожидая рывка урагана,
а по скалам неспешно стекает в каньон
ля-минорная вечность от клавиш органа.

Изваяний здесь больше, чем малых икон,
но помочь прихожанам способен, пожалуй,
разве только один лишь небесный Дракон,
отвернувшись на миг от Медведицы Малой.

Но и он тут бессилен, как слабый кожан,
слишком много в Подолье сарматского беса,
и созвездье не внемлет толпе прихожан,
для которой сейчас завершается месса.

Только зло не одержит победу в борьбе:
у стригоя не будет законной добычи,
даже если удачи само по себе
не приносит счастливое имя Феличе.

Но пускаться за нею не надо вдогон,
кровью реки полны и грозят водопольем,
и стольпинским ужасом лязгнул вагон,
и уже не горит ни звезды над Подольем.

...Век статью предъявил, открывая кредит,
и зашарил прожектор по дальним сугробам,
и на черное небо никто не глядит
в этом самом шестом, в этом самом особом.

Остров намертво впаян в полярную тьму,
только светят по-волчьи глаза вертухаев
в православном скиту, превращенном в тюрьму
для любых христиан, мусульман и бахаев.

Над снегами воздвигся смертельный вольтер:
здесь никто не посмеет отбросить вериги,
здесь единый конклав человеческих вер,
несовместный союз побежденных религий.

Торжествует зима, цепенеет тюрьма,
тени Анзера тонут в нагряншем ветре,
и не звезды горят, но вскипает чума
в перевернутой чашке небесного Петри.

Нет ни малой надежды в полярном краю,
только музыка мечется в черном эфире,
и священник твердит про себя ектенью
ибо знает, что это и впрямь *диэс ирэ*.

АНАТОЛИЙ ЛУНАЧАРСКИЙ.
АКАДЕМИК. 1933

По мощам и елей.
Патриарх Тихон

О, как привычна песня эта, как знакома!
Вот вам история советского наркома!
Его не тюкнули по темечку в притоне,
его прикончили на отдыхе в Ментоне.

Не хоронил его никто на белом танке,
лишь в стенку с зубчиками сунули останки,
там, где похрапывал смиренно дядя Вова,
чье тело мертвое куда живею живого.

Стать порывался дядя Толя мушкетером,
однако выглядел домушником матерым,
хотел казаться капитаном де Тревилем,
но дирижировал убогим водевилем.

Имея опыт в токованьях глухариных,
не забывал он и о прима-балеринах,
и, пребывая полномочным наркомпросом,
угробил все, во что совался длинным носом.

В его речах цвела великая мудренность,
альтернативная кипела одаренность:
она грозила тем проектом страховитым,
чтоб мы писали древнеримским алфавитом.

Умело Гоголя оставив без шинели,
он верным был антрепренером Розанели,
и хлопал крыльями над фильмом меримейным,
считая дело это бизнесом семейным.

На Круглый рынок с вождением глаза,
он полагал, что это круче Колизея,

и видел в Хитровке российский Капитолий
наш знаменитый Луначарский Анатолий.

Усами тощими в истории отпрядав,
он стал любимой иконой казнокрадов,
и в полный цурес превратил последний нахес
наш знаменитый академик Крошка Цахес.

Он и теперь, на зависть прочим сибаритам,
с непролетарским хочет справиться ивритом,
и всё, что сдохло озирает отрешенно
без Бома Бим, убогий Пат без Паташона.

Откуда выползли безвестные грязнули,
за что и как его в Ментоне мочканули, –
не надо думать, потому как сгнили зерна,
и это вовсе не смешно, а тошнотворно.

Воспоминания о Толике подмокли,
но след останется в мучительной Эль Чокле,
и не унизит даже слабая гримаса
великий город кавалера де Рибаса.

Одни смеются, а другие плачут люди,
припомянув свияжский памятник Иуде,
но дяде Толе будет памятник обычный:
кол из осины перед стенкою кирпичной.

МОСКВА СЛОБОДСКАЯ МЕЩАНСКАЯ

И в дождь, и в снег, и поздний в листопад,
туда, где нынче Сергиев Посад, –
точнее обозначить не умею, –
устав от мира и от маеты,
во времена Ивана Калиты
молиться шел народ к Варфоломею.

Изрядно веселился млад и стар,
в те дни, кроша литовцев и татар,
усобицею жизнь разнообразя,
а там холмы, болота, омута,
а на Москве дождался Калита
того, что хан убил Тверского князя.

...Протоптан путь до Лавры от Кремля,
два дня пешком, сквозь рощи и поля,
дорогой, всех иных наинетленной,
два дня пути от Черной Слободы,
туда, где монастырь держал бразды
сменяемых столетьями правлений.

Был этот путь воистину велик
для нищих, и убогих, и калик,
с годами все упрямей и настырней
тянувшихся в блаженные места
от башен у Крестовского моста,
похожих на кирпичные градирни.

Разбогатевший в Шелковом ряду
почти еще пустую слободу
скупил купец подворно и подомно,
порезал на участки пустыри,
и понял: сколько людям ни дари,
земная память так же вероломна.

Купцы плодились, как в лесу грибы,
кто пасынки, кто баловни судьбы,
кто мчался в Яр с очередной шатенкой,
кто строил церкви, кто особняки,
кто ждал, когда его большевики
поставят перед фактами и стенкой.

Здесь доктор жил, и жил аристократ,
а больше те, кто сделался богат,
семишники с полушками считая,
и удивил едва ли слобожан
захавший к Перловым Ли Хун-чжан,
великий канцлер цинского Китая.

Здесь знали толк в расценках и торгах,
здесь мог селиться выкрест при деньгах
и не селился старовер упёртый,
все было строго, на один покрой:
цвет общества – на Первой и Второй,
а нищета – на Третьей и Четвертой.

В Аптекарский Петровский огород
старался не ходить простой народ,
не думавший о всяком девясиле,
но меж ветвей старался соловей,
и было столько маленьких церквей,
что их большевики не доносили.

Рождались, умирали господа,
и жизнь не торопилась никуда,
свет зажигался, гости приезжали,
здесь не было крушения основ,
а коль бывал зарезан Иванов,
так это заносилось на скрижали.

Звериным руководствуясь чутьем,
купец полдома тихо сдал внаем,
а сам ушел к себе на верхотуру,

чтоб серафимам и музы́ке сфер
внимал поэт, играя в шмен-де-фер,
не отвлекаясь на литературу.

...Ожесточились нищие сердца,
не стало ни поэта, ни купца,
в Мещанской упразднили мещанина,
зато повырастали вдоль тропы
серпы, знамена, звезды и снопы,
и прочая опасная лепнина.

Такой вот маньеризм и рококо,
и от Кремля и Лавры далеко,
и еле-еле светит день вчерашний,
и только церковь Троицы в Листах
возникла и стоит в родных местах
недоспасенной Сухаревой башни.

Градирни на Крестовской снесены,
безумный век объелся белены
и перегрызлись годы-волкодавы,
и можно вовсе не ходить туда,
где больше не доходят поезда
в Прибалтику, до города Виндавы.

ИУДА КОШМАН. КРАСНОДАРСКИЙ ЧАЙ. 1935

Тщетно просимого не получая,
можешь рехнуться, хоть волком завой.
Чая стакана российского чая
даже не жди, что найдешь таковой.

Ты, получается, вовсе не вправе
плюнуть на волю неведомо чью.
Если в сельпо не нашел саперави, –
может, отыщется правда в чаю.

Множество мнений в подобном вопросе,
только, пожалуй, склонюсь к одному:
чая не любят сибирские лоси,
да и медведь равнодушен к нему.

Но для патриция, и для плебея,
к завтраку чашка-другая нужна:
жаль, от Москвы далеко до Тайбэя
и Варанаси не там, где Дубна.

Чай, привезенный невемо откуда
спутать с крапивой легко невзначай.
...Дед с Украины, крестьянин Иуда,
взялся выращивать собственный чай.

Ясно, чувырлица не без приятцы
вякнут: не троньте родной каравай,
только вот имя записано в святцы
и на пархатых давай не кивай.

Ежели руки до дела охочи,
что-нибудь вырастет наверняка.
Вроде бы близко до города Сочи,
в Сочи и надо искать маклака.

Запросто костью окажешься в горле,
даже задаром товар принося,
и старика от порога поперли
славные дети быка и гуся.

Много в России купцов безголовых,
думает каждый надуть горожан
тем, что замечен в хибарке Перловых
канцлер империи, князь Ли Хунчжан.

...Время ушло, торгашей рассказача,
это наука вперед – не хаами.
Все-таки выпала деду удача,
правда, годам к девяноста семи.

Только у жизни дурные причуды,
не убедишь ты ее, хоть убей,
Вроде бы помнят заварку Иуды,
только надежней кататься в Тайбэй.

Эта новелла – дурного пошиба,
хочешь не хочешь, теперь не серчай,
что никому никакого спасибо,
и никому ни пятерки на чай.

Все еще старая тянется свара,
и не кончается чертов канкан.
В небо возносится дым самовара,
стынет заварка, и треснул стакан.

МИХАИЛ ЛЕВЕНСОН. ТОРГСИН. ТРИ РАССТРЕЛА. 1938

...кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем?
Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы
его, что ли? Конечно, – саркастически кривя рот,
во весь голос орал бывший регент, – он, видите
ли, в парадном сиреновом костюме, от лососины
весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то,
нашему-то?! Горько мне! Горько! Горько!

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

Восемнадцатый год – то ли гунн, то ли гот.
Коченеет страна нежилая.
В мире скверных погод нужен точный подход:
расстреляем царя Николая.

Поспросавши слегка, подберем смельчака,
пусть за дело возьмется умело:
пусть эсеры в чека загребут Колчака, –
и свершат процедуру расстрела.

Дорогой кавалер, ты бесцветен и сер,
так что совесть свою свою не насилуй,
ты, понятно, эсер, но легко в эсесер
подойдешь для работы нехилой.

...И под скрип мокасин шли народы в торгсин
будто мухи на тухлое мясо,
поташив из трясин за куски лососин
три гроша золотого запаса.

У кого номинал, у того и пенал,
держат оный не ради фасону.
Если есть виргинал, – не бросайте в канал,
отнесите его Левенсону.

...Он большой соломон развести на лимон
латышей или всяких эстонцев,

он почти гегемон, и бессребреник он,
и согласен на тридцать червонцев.

Где найти апельсин, где купить керосин,
где возьмешь их, такая досада!

Ну, а вы клавесин отнесите в торгсин,
и купите себе все, что надо.

Если есть клавикорд, – обменяйте на торт,
сахарок получите за слитки, –
ну, а если милорд в убежденьях нетверд,
пусть милорд собирает пожитки.

Деньги – это балласт: электричество даст
золотая река Днепростроя,
Левенсон – не фантаст, он отменно зубаст,
и не будет разрушена Троя.

Продолжая игру, расстегнет кобуру,
возгордившись трудом добровольным, –
на советском пиру гордо плюнет в икру:
Левенсон обойдется линкольном.

...Поздно прятать концы: вот приходят гонцы,
каждый – в кожаном, в лучшем костюме,
и его, подлецы, уведут под уздцы,
чтобы грохнуть в лефортовском трюме.

Не нарушим табу и подуем в трубу,
и восторженно грянем в кимвалы!
Ты же, Миша, в гробу не ропщи на судьбу:
очи бачилы, що купувалы.

КАРЛ ГУСТАВ ЭМИЛЬ МАННЕРГЕЙМ.
1940

Почетный маршал, регент-берендей,
большой знаток людей и лошадей,
герой в бою, игрок на ипподроме,
корнет Кавалергардского полка,
не спасший адмирала Колчака,
недолгий президент страны Суоми.

Конечно, утверждать я не берусь,
что он спасать бы стал Святую Русь,
но обмозгуем, на глазок прикинув
расчет возможных выгод и затрат,
коль умирять мятежный Петроград
послал бы он сто тысяч белофиннов.

Пожалуй, через три-четыре дня
притихла бы тупая матросня,
пришипился бы город малохольный,
и поберег бы собственный живот
какой-нибудь Путиловский завод,
какой-нибудь, возможно, даже Смольный.

...Кавалерист не помышлял, поди,
что именно швейцарские вожди
в конюшне императорской устроят,
как всех своих жокеев обдурит
бухой эпилептический гибрид,
научно-фантастический зеброид.

Bien sûr, natürlich, varmastì, of course:
звалась его столица Гельсингфорс
не только петербургскими царями.
Видать, и не мерещилось ему,
как на нее посыплются в дыму
московские корзины с сухарями.

Случайно не случилось ли тогда,
что лошадей заели овода,
и удержать не вышло колесницу?
И не был ли рогат или хвостат
прославленный сто первый депутат,
решивший сдвинуть финскую границу?¹

Не выиграть ни скачку, ни пари.
Опять летели с неба сухари
у краешка всеевропейской свалки,
спастись пыталась моська от слона,
и шла позиционная война,
напоминая драку в коммуналке.

А дальше – царство памяти и снов,
и больше ни чинов, ни орденов,
любимая кобыла у лафета²,
дописана последняя глава,
и повесть мемуарная черства,
как жесткая армейская галета.

Что наша жизнь? Музейный экспонат.
Мусолит Парка высохший канат,
пройдет лишь миг, порвутся волоконца,
но надо все же взять под козырек:
хотя с трудом, но маршал уберег
родной приют убогого чухонца.

¹ 25 июня 1941 парламент Финляндии проголосовал за войну с СССР. Против не выступил никто; но из 200 депутатов 99 не стали голосовать. Объявление войны состоялось с перевесом в один голос.

² Реальная лошадь по кличке Катя.

ИОСИФ СЛАВКИН. ОБЕЗЬЯНА ВОЖДЯ. 1940

Гнедых у нас – обыкновенно пара.
Два адвоката – это уж для форса.
Нам одного из них дала Самара,
другой из Стародуба сам приперся.

Владимир, адвокатский труд забросив,
рванул навстречу марксовым идеям,
но вел себя куда скромней Иосиф,
поскольку был всего лишь иудеем.

...Вожди еще порой мотались в Горки,
где умирал состарившийся барич,
а между тем московские задворки
комфортно обживал Иосиф Арьич.

Гремел над Русью колокол Демьяна,
январь густой лазурью купороса,
рыдал народ у гроба покаянно,
но кое-что задумал хитрый Ося.

При нэпе труд юриста, прямо скажем,
напоминал дорогу к эшафоту.
Иосиф посидел перед трельяжем
и перешел на новую работу.

Не захотел, по размышленьи здравом,
мотаться по Стокгольмам и Парижам:
он был не только лысым и картавым,
он умудрился стать еще и рыжим.

Художники проведали, шалея,
немыслимую новость вот такую,
что за двадцатку он из мавзолея
позировать приходит в мастерскую.

Своих клиентов он совсем замучил
почасовой высокою оплатой,
но среди всех московских ильичучел
он максимально был ильичеватый.

Он рисковал, но тут сказать уместно:
ему за это даже не влетело,
поскольку для витрины, всем известной,
иметь удобно запасное тело.

Но альфу ляпнув, ляпнешь и омегу,
уж больно сильно засмердела липа.
И накатала на него телегу
известная вдовица прототипа.

И в тот же день его к стене приперли:
бросай сию непыльную работку.
И руки смерти чувствуя на горле,
он сбрил усы и тощую бородку.

Кто и кому кого напомнил рожей?
Товарищи, чего вы тут шумите?
Ни на кого отныне не похожий,
он сделался юристом в Мясосбыте.

Сюжет уходит, лишь на миг пригрезясь
и в перспективе выглядит убого,
но в сотый раз доказывает тезис
о том, что дьявол – обезьяна бога.

БОБРУЙСКОЕ ГОНЕВО. ОММАЖ ЭФРАИМУ СЕВЕЛЕ

Черта оседлости – вполне плавильный чан.
Сама себя за хвост история поймала.
Возьмите бобруйчан, возьмите жлобинчан, –
поймете сразу же, что сходства очень мало.

В Бобруйске не у всех дворянские гербы,
не каждый подкупить Рокфеллера способен,
но помнят старики, как некогда жлобы
приплыли по Днепру и заселили Жлобин.

Соседу нервному история нужна,
однако хочется его спросить сурово:
что было б, откажись питать Березина
речушку¹, что ползет на юг от Бочарова?

...Какой найти предлог, какой найти глагол,
как ныне объяснить тунгусу и вогулу,
что составляло мир бобруйских балагол,
как называли тут любого балагулу?

Попробуйте взглянуть в магический кристалл,
но вряд ли вам понять, уж сколько ни вникайте,
тот легендарный дух, который процветал
в незабываемом бобруйском идишкайте.

Он меньше слаще был, чем сахар и сироп,
но много ли того, о чем припомнить стыдно?
Не зря же круглый год благоухал укроп,
и даже попадья жила на Инвалидной.

Здесь православный знал, зачем кусочки хал
перед субботой сжигали в печках тётки;
здесь тот, кто свитки рвал, от тифа подыхал,
а кто кресты ломал, – тот подыхал в чахотке.

¹ Днепр.

Здесь протекала жизнь, как струйка в решето,
и только имена переставляла драма
всегда по несколько, чтоб не держал никто
Абрама-Хаима за Хаима-Абрама.

Попробуй поискать, – везде найдется перл,
Тевье какой-нибудь или скрипач на крыше.
Легендой балагол был Арбитайла Берл,
который, так сказать, чуть шире был, чем выше.

Чтоб отравиться вам, какой он был атлет!
Теперь таких найти не думай даже назло.
А если кто и есть – о том и мысли нет,
чтоб он не победил какого-то шлемазла.

Кто мир без балагол тогда представить мог?
Печально, что песком любая станет глыба,
а в городе давно не сорок синагог,
но ведь одна-то есть, вот и на том спасибо.

Былое возвратить и думать не могли:
халястра все-таки совсем не дом культуры,
и в вечность убрели бывшие битюги,
в потемки увозя давно пустые фуры.

Посмотришь в небеса, – и не увидишь дна,
и не найдешь в стогу пропавшую иголку,
и в Иордан течет река Березина
и в море Мертвое уносит треуголку.

КАРО АЛАБЯН. ПЕНТАКЛЬ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ. 1940

Сцена – это примечательного характера
политическое учреждение.

Ханс Георг Гадамер

Потрясая мидян, ужасая древлян,
нагоняя на лица румяна,
понастроил такое Каро Алабян,
что пошла нарасхват валерьяна.

...Вождь огладил усы, пребывая в бреду,
упразднил и халупы, и сакли,
и велел в Самотеку всобачить звезду,
чтобы ставить спектакли в пентакле.

Не велел экономить в Кремле казначей,
приказал наострить кочедыки,
чтоб смотрели все пять театральных лучей
на вокзалы и хату владыки.

Если надо поставить судьбу на зеро,
может быстро окончиться драма,
но, видать, был масон многоумный Каро,
и ему удалась пентаграмма.

Был театр освещаем и ночью, и днем,
и построен никак не иначе,
чтоб в Москве красоваться троянским конем,
и желать мессершмиттам удачи.

Если надо идти, так уж сразу ва-банк,
и придется выкладывать цену,
но зато без труда самолет или танк
на такую поместится сцену.

Что на сцене сплошная идет срамота,
так полны ликованием жмени,
а что в зале порой не слышать ни черта,
так претензии все к Мельпомене.

...Огорченно стоит, не телясь, не мыча,
дочь Таганки и внучка Лубянки,
золотая звезда без шестого луча,
без винта и без орденской планки.

Над столицей снега разбросала пурга,
и, гримасой лицо исковеркав,
театральный пентакль растопырил рога
и готовит массовку берсерков.

Часовой, матерясь, досылает патрон,
наплевав на законы грамматик,
и под пули со сцены в пять разных сторон
оловянный уходит солдатик.

Он спешит уходящей эпохе вдогон,
одержимый недугом сугубым,
и угрюмо стоит портсигар-пентагон,
металлическим цыкая зубом.

Все ничтожней судьба и все мельче петит,
и все громче грохочет железо,
и кончается время, и ветер свистит,
и все тише звучит Марсельеза.

БОРИС ИОФАН.
ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК. 1941

Помнят российские грады и веси
как из кирпичиков создал мечту
тот, кто когда-то родился в Одессе
с ложкой, серебряной ложкой во рту.

Истина гибнет в сомнительных спорах,
но не загубит ампирных красот
славный ударник, талантливый Борух,
выстроит домик квартир на пятьсот.

Пусть от истерики скорчится комик,
но знамениты, кого ни спроси,
серенький козлик и серенький домик, –
две величайших легенды Руси.

Издавна люди живут перешептом,
но виноват ли, в конце-то концов,
дом, из которого вывезли оптом
в ночь одну половину жильцов.

Ежели это обдумать беззлобно,
не разводя шоколад-мармелад,
органам было куда как удобно
ездить на сей человеческий склад.

...Долго и нудно валяешь ты Ваньку,
круглые сутки торчишь в мастерской,
строишь ты терем, а выстроишь баньку
против избышки за грязной рекой.

Терем огромен, проект эпохален,
ты постарайся, сил не щадя,
строгие залы партийных читален
втиснуть под левое ухо вождя.

Скучно ложиться в привычные рамки,
ты, романтический архитектор,
строил с размахом воздушные замки
и разработал незримый бетон.

Только пришли вавилонские кары,
и вспоминать настроения нет,
как над землею воздвиглись кошмары,
чтоб не воздвигся твой каменный бред.

Встало грядущее криво и косо,
и опознала однажды братва
невероятный фундамент колосса
в теплой водичке бассейна «Москва».

Так завершилась легенда Иофана:
ряской болотной подернута вся
лужа подошедшего левиафана
или чудовищного карася.

Голос гармошки гремит из болота:
то ли цыганочка, то ли фокстрот.
Строят ли что-то, ломают ли что, –
всё-то при деле российский народ.

Без отпеванья прощание длится,
и с огорченьем склоняет рога
козлик, что сдуру испил из копытца
главного в русской земле сапога.

МИСТИКА ЧЕРТОРЫЙСКАЯ И ПРЕЧИСТЕНСКАЯ

Через коллектор темная вода
течет от Патриаршего пруда
меж кирпичами в каменной обшивке,
и вспоминает те года, когда
Чертольская стояла слобода
над берегами Сивки и Ленивки.

Здесь домики лепились возле рва,
здесь жили, так сказать, хозяевá
не первые, и даже не вторые,
здесь было до реки подать рукой,
но не водилось рыбы никакой,
в ручье вот в этом самом, в Черторые.

И было здесь не перечесть вокруг
промывин, и оврагов, и яруг,
и алтарей в дохристианском стиле,
здесь зорко охранял любой порог
какой-нибудь Перун или Сварог,
покуда весь народ не окрестили.

Здесь мелкий бес, и черен, и бескрыл,
намучился, покуда землю рыл,
однако очи царь взметнул соколы,
благословил дорогу и пустырь,
отправился молиться в монастырь,
и сделалось Пречистенкой Чертолье.

Темны от мошканы и комарья,
стоят Козьеболотские края,
и путь от них до Соймонова тяжек,
течет к далекой Волге по трубе
ручей, давно не нужный сам себе,
через Тверской бульвар и Сивцев Вражек.

В загробном мире дел невпроворот,
у призраков Пречистенских ворот
работа есть у каждого фантома,
там отпеванья тянется обряд,
и тлеют, и никак не догорят
последние строенья Скородома.

Рисует пиктограммы на стене
Фагот, блистая лопнувшем пенсне,
и о подошву тушит папиросу,
и ползает по трубам старый хрыч,
известный Алоизий Могарыч
и молит дать для ванны купоросу.

Когда светило в Питере зашло,
тут загремели молот и кайло,
и круглый год хрипел насос дренажный,
старьевщики скитались по дворам,
был монастырь снесен, и взорван храм,
и вновь построен храм многогаражный.

Была довольно сильной власть Кремля,
сотрудникам давала векселя,
и, глядя на историю с лафетов,
большой бассейн наплакала со зла,
но в общем-то не хуже всех жила
Страна Советов без Дворца Советов.

Трудился раб, и был над ним прораб,
но выше всех в итоге стал Зураб,
тянулась бесконечная резина,
и как-то не заметила Москва,
того, как, перепулав кузова,
грузина обменяла на грузина.

...Замолк фагот, не хочет петь труба,
опять по кругу движется судьба
столицы от салюта до салюта,
не отличить холопов от господ,
и тычет то в икону, то в айпод
потомством оклеветанный Малюта.

И сколько ни меняешь имена,
опять чертям на откуп отдана
сия благочестивая дорога,
опять Москва сгорает со стыда,
и стынет в трубах мертвая вода,
и Энгельс тупо смотрит на Сварога.

AQUA GRAVIUS QUAM SANGUINE¹

Сто сорок дней к Москве ползли войска
и доползли до минус сорока.
Почти замерзло топливо в машинах.
Вершки идут войной на корешки.
Гудериан идет на Петушки,
и он не слышит криков петушиных.

Всего-то нужно, Господи прости,
не дать врагам копыта унести,
сломать рога и оборвать стрекала, –
трясет Москву, она почти в кольце,
и все решат четыре дня в Ельце,
и через месяц будем у Байкала.

Еще не вылез русский грамотей
ни из курной избы, ни из лаптей,
не протрезвел от пьяного угара,
рабы ничем не лучше, чем вожди,
пусть даже Ниагара впереди, –
германцу по колено Ниагара.

Неодолим судьбы круговорот:
впустую хорохорится банкрот;
проторговался, ну так и закройся.
Всем недовольным лучше околеть,
поскольку никому не одолеть
висящего в зените хакенкройца.

Но не желает видеть бог войны
сломавшегося льда реки Дубны,
проснувшейся под черными волнами,
стены воды, что рушится во тьму, –
и не сулит победы никому
громада рукотворного цунами.

¹ Вода страшнее чем кровь (*лат.*).

Изгоя переборет ли изгой?
В сторонку отложив на час-другой
заботу крестьянах и цыганах,
смыкаются две линии врагов:
идет война приемьшей богов
с племянниками идолиц поганых.

Вода хранит от пламени Москву,
не удержаться танку на плаву,
ему не хватит ярости звериной,
не выполнить ему наказ вождя,
и, в ледяную бездну уходя,
ему не притвориться субмариной.

Нет очевидцев, и не нужен штраф,
наказан будет всякий, кто неправ,
и правый не избегнет наказанья,
не будут разбираться господа,
что в этой жизни кровь, и что вода,
и что такое – точка замерзанья.

Открыты шлюзы, вывернут бетон,
хохочет сухопутный Посейдон,
обрушилась небесная секира,
война до кульминации дошла,
и гордого германского орла
уже склевал двуглавый голубь мира.

БАРБАРОССА

Что ж вы кажете вместо фасада испод,
что ж вы солью посыпали раны?..
Император поперся в крестовый поход
и дошел до сельджукской Куваны.

Палестиной разжиться, – ну самый бы смак,
а проигрывать крайне досадно,
но король, за кольчугу держась, как Ермак,
утонул посреди Каликадна.

Не поверивши в это, какой-то браток
посчитал себя страшно фартовым,
и решил попереться ордой на восток,
позабывши о Третьем Крестовом.

В мутном небе кругляшкой мерцает латунь,
снег поет, что твоя канарейка,
хоть вороной лети, хоть бураном тайфунь,
только где же твоя телогрейка?

На любого морозы нагонят тоску,
наступленье – гнилая идея,
хоть бы кто-то сказал наперед дураку,
что не надо будить берендея.

Нешто мы не бивали нахальных Европ?
У сражений исход одинаков.
И на битву с вампирами царь-ликантроп
посылает орду волколаков.

Ибо мясом такую орду не корми,
не подсовывай форд или виллис:
шли на западный фронт волколаки людьми, –
и волками в пути становились.

Упыринушка, силушку зря не транжирь,
ты не выдашь себя за акулу!
Побрыкался денек соплеусый упырь,
но учапал подальше за Тулу.

К сожалению, тут возникает вопрос
и не терпит вопрос камуфляжа:
на знаменах таскать имена Барбаросс –
это очень опасная лажа.

Бить друг друга по морде куском колбасы –
это жребий отменно сизифов.
Может, лучше друг друга не драть за усы,
а взглянуть на слетевшихся грифов.

Наживешь ли ума, дотянув до седин?
Тут придется напомнить для смеху:
если йеху дерутся один на один,
мир достанется третьему йеху.

ГЕВОРК ВАРТАНЯН. ДЛИННЫЙ ПРЫЖОК. 1943

Александр Триандафилиди в Ростов

Когда родился армянин, еврей заплакал,
персидский шах закрыл глаза и долго квакал,
крестьянин русский что-то тихо пробалакал,
а турок, горестно вздохнув, уселся на кол.

Объявим буквами большими на экране:
таких историй не рассказывают няни,
их проще выстучать на старом барабане,
а лучше слушать под коньяк в хорошей бане.

Так вот, друзья, сидите тихо на диване.
Я расскажу вам о великом бонвиване,
что был на горе всякой сволочи и рвани
рожден в Ростове, а точней – в Нахичевани.

Геворков дед рахат-лукум варил в Иране,
об этом тоже сообщаю вам заране,
вам не расскажут про такое в ресторане,
и это точно не записано в коране.

Советской воблы обожравшись и тарани,
грядущий штирлиц оказался в Тегеране,
императивы изучил персидской брани
и вырос в мастера шпионской филиграни.

Мир натерпелся в годы те немалых страхов:
вид у держав восточных был довольно ахов,
пусть европейцев числил шах за вертопрахов,
но Гитлер мнения не спрашивал у шахов.

Имела мнение Британия иное.
Советам тоже наступили на больное.
Тут сотворили из Ирана под спиртное
то знаменитое свиное отбивное.

Дошло в союзниках терпение до точки:
и так-то были там отнюдь не ангелочки.
Все трое съехались туда поодиночке,
чтоб отбивную ту порезать на кусочки.

Теперь в историю добавим мы румянца:
тут облажалась бы любая сигуранца.
Шпионом сделало Геворка-новобранца
благословение Ивана Агаянца.

И тут внезапно предстает на авансцене
в арийцы вышедший еще в олигоцене,
при листьях дуба, то ли даже при драцене,
известный штирлиц по фамилии Скорцени.

Поверить можно ли таким ужасным драмам!
Ну нет бы душу утешать курбан-байрамом!
Мы распознали в этом выскочке упрямом
того, кто значился как «человек со шрамом».

Наверняка он состоял в какой-то ложе,
служил Германии, но все-таки похоже
на то, что вроде бы еще кому-то тоже:
об этом можно прочесть на гнусной роже.

На конференцию Скорцени сделал стойку,
он Тегеран считал за полную помойку,
пусть соберутся эти трое на попойку, –
так вот угробить сразу всю святую тройку.

Но он не знал: за ним прислеживают зорко,
ему не светят ни танцорка, ни икорка,
и в Тегеране началась большая порка,
при этом именно стараньями Геворка.

Скорцени плакать не позволили в жилетку,
уж то спасибо, что не запихнули в клетку,
а Вартанян, возьмите это на заметку,
с Гоар Леоновной полвека шел в разведку.

Эль Чокло вряд ли тут при чем, но это – ретро.
Однако слушатель торопится до ветра,
поскольку может и не выдержать уретра,
а той истории еще три километра.

Тут не история, тут просто докладная,
и сердце греется, бывшее вспоминая,
и верить хочется, хоть нынче жизнь иная,
что всё гудит на Богатыняновской пивная.

ПОЛЛИ АДЛЕР.
МАДАМ НАВСЕГДА. 1943
(МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА)

Сколько бедную землю враги ни утюжь, –
а народ нарождается снова и снова.
Потому и заглянем в полесскую глушь,
в христорадницкий штетл, в местечко Янóва.

...Ну не то чтоб она родилась во дворце,
ну не то чтоб мечтала о звездах на небе,
ну не то чтоб училась в самом Егупце,
но читать и писать научилась у ребе.

То москаль, то хохол, то бульбаш, то цыган
шерудили в округе, с евреями ссорясь,
и подальше, в какой-нибудь там Мичиган,
отослал свою тохтерле папенька Моррис.

Что такое – еврейке оставить семью, –
не поймешь, даже если большой юдофил ты.
Ей на время пришлось превратиться в швею,
а такая работа – совсем не гефилте.

Да еще мужики тут – то ниггер, то гой,
нет бы трахаться им со своею кухаркой.
Перл решила, что хочет дороги другой:
коль живешь средь ворон, – как ворона и каркай.

Выбрать девочек – та же игра в поддавки:
все в порядке у женщины было со вкусом,
и голландца себе пригласила в дружки,
и голландец тот был ну никак не зулусом.

Тот голландец варил башмалу на спиртах,
предложил ей для дела в подарок забачать
то, чего не привидится даже в мечтах, –
респектабельный дом этажей на пятнадцать.

Кто бы думал, что в жизни вот так пофартит?
Счастье рядом, так вот и хватай поживее.
В тот же миг кумт мит эсн а гройс аппетит:
а гекончете стала мадам на Бродвее.

Если пьянка пошла, – отворяй погребца,
наливай и глотай, проливая на пузо.
Учинила к тридцатому году судьба
кинофильму, достойную Марио Пьюзо.

Было Полли ворочать большие дела
не сложнее, чем стрелы таскать из колчана.
Выбирая защиту, она поняла:
Аль Капоне – фуффло против Лаки Лучано.

Сан-Хосе, Сан-Франциско, Майами, Детройт,
вы не смейте мадам наступать на мозоли,
а не то вам устроит она зисн тойт,
ибо девочки многое могут у Полли.

Коль военный бы чин полагался мадам,
так она бы тянула на чин генерала.
Восемь лет Аль-Капоне ходил по судам,
а она меньше месяца зекам стирала.

Словно главная в улье великом пчела,
раздающая мед, мы при этом отметим,
так нехило на свете она пожила
и на пенсию тихо ушла в сорок третьем.

В Калифорнии лето и яростный зной.
А мадам, подустав от привычной картины,
под пьянящие песни кукушки ночной
отлетает навеки в свои палестины.

...Это время от разрушения Второго храма до создания Государства Израиль.
Время галута – период гонимой и бездомной нации. Народ находился в рассеянии. Давид Бен-Гурион посвятил свои исследования теме «Ликвидация галута

и возвращение в Израиль», будто евреи всего мира сейчас немедленно бросятся в лоно нарождающегося государства. Он был социалист и романтик и верил в химеры. Этого не произошло. Но язык идиш был запрещен, а в городах ходили по улицам молодые люди и вслушивались в речи, которые вели меж собой евреи. Услышав народный язык, израильские бригадильцы немедленно пресекали такое общение. Были запрещены театральные постановки на идиш, издание книг, концерты. Это был самый настоящий геноцид против людей, поверивших в свое спасение на родине. И проводился он со всей большевистской непоколебимостью. <...>

А на Второй авеню в Нью-Йорке работало 28 театров на языке идиш, два – на Бродвее, при этом каждый театр выпускал журнал на этом же языке, а всего в США выходило около 150 изданий на мамэ-лошн во главе с ежедневной газетой «Форвертс», с которой в свое время сотрудничал Лев Давидович Троцкий. Эти издания непременно публиковали уроки английского для вновь прибывших, без них и еврейского театра трудно себе представить жизнь евреев Старого и Нового света, которые, неизменно перемешиваясь, жили в единой культуре идиша. Так что приезжая в Нью-Йорк «из глубин Расеи», пройдя под факелом свободы через остров Либерти, любой местечковый искатель счастья оказывался не в безъязыком пространстве, а в родной языковой среде, где ему как могли помогали быстрее освоиться на новых берегах.

Владимир Левин

ГЕНРИХ ЛЮШКОВ.
ЯПОНСКИЙ БОГ. ДРАПОВАЯ РАПСОДИЯ. 1945

Зачем, и кто, и под кого косит, –
едва ли знал его портняжный папа,
который был не просто одессит,
но был профессор по вопросам драпа.

Ищи таких меж нищих и царей!
О том, как был сынок его нахрапист,
сказать не может никакой хорей
и уж давно никакой анапест.

Припомянем с ответственностью всей,
как фраерюг вытаскивал на танцы
японский бог, матрацник Моисей,
известный от Алешек до Констанцы.

Тот занимал достойный пьедестал,
для всей Болгарской буйно куролеся,
и пред японским богом трепетал
шибенник Гесель, для знакомых – Геся.

Любя Одессу поперек и вдоль,
он изучил, где чисто, где нечисто,
отрекся от иных возможных доль
и выбрал долю тёртого чекиста.

Он получал по званию каждый год.
Враги ховались от него, приструнясь:
он был звездой в созвездии Ягод
и до буржуев не имел рахмунес.

При нем цвела приморская чека,
он был портной уже совсем хороший,
пока еще не мастер драпака,
но мастер деревянных макинтошей.

Закукарекал жареный петух
о том, что в мире – новые порядки,
но Геселю сказал звериный нюх
о том, что надо драпать без оглядки.

А тут до Харбина подать рукой,
а уж какие в эсэсере страхи, –
того не скажет дактиль никакой
и, кстати, ни единый амфибрахий.

Ну, помогай теперь, японский бог,
спасай и от хохла, и от кацапа!
И был сговорчив бог, и он помог,
когда дошла история до драпа.

Конечно же, поклацал карабин,
но если посмотреть на дело шире,
то занятый японцами Харбин
уж как-никак не штольня на Таймыре.

Ужо в Кремле получают по ушам,
от страха преждевременно состарясь.
Немного пошептаться по душам
в Харбин кого-то отослал Канарис.

Пусть не победа, так хоть статус-кво,
что русские японцам, что евреи.
Как ни был бог силен, но у него
случился острый приступ диареи.

Поди теперь такое отстирай!
А для японцев – что араб, что янки,
и вот недопеченный самурай
укокан к утешению Лубянки.

История печальная сия
понятно, уж никак не для гурманов,
японский бог-отец ему судья,
и мать его с Куяльницких лиманов.

Журчит бестротекущая вода,
и все живое навсегда уснуло
в загробной Бессарабии, куда
увез чекиста черный балагула.

АПОФЕОЗ РЕПАРАЦИИ.

1948

Время чем горестней, тем бессловесней,
пусть промолчать иногда тяжело.
Что ж ты заводишь военные песни,
в сотни вагонов груза барахло?

Врезав японцам, Европу затюкав,
ты возглавляешь военный парад,
турок-османов и турок-сельджуков
надо бы вынудить сдать Цареград.

Дал твой противник мореного дуба, –
так ведь и доски нужны для гробов.
Если сосед тебе выбил два зуба, –
пусть приготовит он двести зубов.

Тут никаких не бывает рецептов,
нет снисхождения старым врагам,
пусть рассчитаются Дрезден и Трептов,
вот и несут к генеральским ногам

лайку, шевро, пистолет для дуэли,
полный рубинов молочный бидон,
Маркса штаны и штаны Дизраэли,
три кубометра немецких мадонн.

Что здесь де-факто и что здесь де-юре?
Полон ли жемчугом грязный стакан?
Надо подумать о собственной шкуре,
если страна угодила в капкан.

Бриллиантином полны чемоданы.
Видно, поэтому рот до ушей,
мчишься в Москву, – попадешь в Магаданы,
так что и валенки крепко подшей.

На подчиненных свирепо нахрюкав,
веянье века ловя налету,
ты, безо всяких тактических трюков,
тыришь могильную чью-то плиту.

Тащишь к вагону козу на шпагате,
лошадь для мамы, овцу для сестры,
форды, феррари, фиаты, бугатти,
ящички лучшей виргинской махры.

Досьита вряд ли хоть кто-то нагрёбся,
если не взял, – так зато обслюнил.
Мы б увезли пирамиду Хеопса,
коль не сумели бы выкачать Нил.

Мир цепенеет, в бреду заморозясь,
все погружается в дым конопли.
Вот и конец, и случился митозис
на середине германской земли.

Старость, хоть чем-то сегодня порадуй!
Но ни один не блестит черепок,
и остаются лежать за оградой
валенки старый и старый сапог.

Маршалы, стройся! Айда по лафетам,
нынче равны бедняки и цари.
Лишь на погосте зимою и летом,
горько фальшивя, поют снигири.

ГЕНЕРАЛ БОРИС СМЫСЛОВСКИЙ. ВАДУЦ. 1947

Валентине Синкевич

Одним – поражение, другим – торжество,
и нет никакого закона.
Дивизия ждет неизвестно чего
на фоне хребта Ретикона.

Имеешь ли право вот эту страну,
проведшую годы над бездной,
за то осуждать, что не лезла в войну,
на подвиг не шла бесполезный?

У фронта легко огрести по рогам,
следы понапрасну не путай,
ползи через силу к альпийским лугам,
дивизия армии дутой.

Едва ли рассчитывать стоит на суд,
хотя разговоры ведутся:
что будет с солдатами, – то ли спасут,
а то ли попрут из Вадуца.

Солдат не прокормишь чужим пирогом
и пойлом чужим из корытца:
тому, кто Германию смял сапогом,
едва ли преградой граница.

Кому интересно, где князь, где бандит,
кто кесарь, кто сторож амбара?
В Кремле императором нынче сидит
усатый жиган с Авлабара.

Никак не загнется проклятый кинто,
кровавые сливки снимая.
Не хочет помочь генералу никто
в начале холодного мая.

Твердят генералу в лицо: поделом,
проиграно русское дело.
Одной лишь немецкой фуражки седлом
довольно сейчас для расстрела.

Уж форму хотя бы сменил, хоронясь,
два доллара дал костюмершам, –
да только и так не унижится князь,
и спорить не станет со СМЕРШем.

Взводи, не взводи проржавевший курок, –
мерзавцы останутся с носом.
На Рейне – пороги, а через порог
ступать не дано кровососам.

И пусть эфемерно такое житье,
однако не движется сцена:
солдаты сидят, оседлав острие
иголки, торчащей из сена.

Похожие факты всегда налицо,
любая поведает книга,
что мы перетерпим не только кацо,
но даже татарское иго.

Не надо, Европа, о том не жалей,
откуда узнали бы судьи,
о том, что упрямей любых Лорелей
сидячие русские люди?

Неласков пейзаж и безрадостен вид,
да только не надо сиропа.
Россия над битым корытом сидит,
но это корыто – Европа.

ИВАН МЯСОЕДОВ. ФАЛЬШИВАЯ КУПЮРА

У кого монастырь, – у того и устав.
Всякой славы и всякого горя отведав,
много Харьковых всяких и много Полтав
в долгой жизни проведал Иван Мясоедов.

Рукоплещет восторженный зрительный зал,
глупый зритель не хочет роптать на длинноты.
Очень странную родине честь оказал
благородный маэстро фальшивой банкноты.

Иоанн отоварил мальчика слегонца,
в этом зритель почувал великую горечь,
но легко своего бы прикончил отца
раскрасавец-атлет Иоанн свет-Григорьич.

Вдоль эпохи его тяжело, но несло,
у него не в заводе ни деньги, ни куры.
Пусть монеты чеканить ему запаadlo,
но забавно печатать в подвале купюры.

Угодивши в Берлин, – не наделай беды,
аккуратно полиции делай подарки,
не терзай себя вечным бритьем бороды
и успешно печатай немецкие марки.

Был никем он в Берлин на гастроли не зван,
не учел, как проста у купюры орбита.
Таковых слишком много натискал Иван,
и однажды попал на харчи Моабита.

Понял мастер, что дело запахло бедой,
что вокруг не былая страна идиотов,
рассчитался с тюрьмою, повел бородой,
и немедля назвался фамилией Зотов.

Он Германию мигом отправил к свиньям,
ждут поклона в Берлине, так пусть не дождутся.
Угодить портретисты умеют князьям,
а дорога легко доведет до Вадуца.

Небольшие, конечно, пойдут барыши,
но уж лучше решиться на дело такое:
наплевать на шиши, знай пиши для души,
и тебя, бедолага, оставят в покое.

У великого Рейха пусты закрома,
и другие державы чадят, как огарки.
Нет незыблемых ценностей, все же весьма
в Лихтенштейне в почете почтовые марки.

За всемирною славой отнюдь не гонясь,
он искал от свирепой отчизны защиты,
потому и не выдал художника князь,
что князья не купюрой единою сыты.

Каждый зверь обзаводится тайной норой,
чтоб туда не совалась враждебная лапа,
а купюру чужую подделать порой –
это все же не труд для чека и гестапо.

Живописец, конечно, одет и обут,
коль пора помирать, так уж лучше в уюте.
Может, вовсе не плохо на речке Чубут,
но совсем не Россия на оном Чубуте.

Цель весьма высока, только жизнь коротка.
Опускается занавес, кончилось действие.
Над купюрой поддельной смеются века,
а у вечности попросту нет казначейства.

Удаляются глина и грязь из лотка.
Наблюденьем старатель на прииске занят,
чтоб осталась лишь горсть золотого песка,
из которого пусть что хотят, то чеканят.

МИСТИКА РЕЧНОГО ТРАМВАЯ

От Сетуни до Малого кольца
найдутся три-четыре ручьёца
и переход в известный Парк Культуры,
где каждый обихожен буерак,
где тянется Андреевский овраг
и мерзнут чайки в устье речки Чуры.

Нескучный сад не сильно настоящ,
там эльфы посреди фальшивых чащ
болтаются, о глупостях судача,
и там, как раз для публики такой,
над не совсем загаженной рекой
еще стоит Канатчикова дача.

Зато напротив – символы беды:
остатки той Хамовной слободы,
светившейся спокойствием когда-то,
где славный архитектурский кагал
почти что без затрат навоздвигал
ряды хором для знати хамоватой.

Медлительные ханские послы
и на подъем бывали тяжелы,
и ничего не ждали, кроме взяток,
на них нередко вешали собак,
меняли связки белок на табак,
а перебили разве что десяток.

Торчит над Стрелкой стометровый штырь,
весьма условный русский богатырь,
которого не сыщешь монструозней, –
в Азовский собирается поход
недоколумб и недодонкихот,
и результат антригрузинских козней.

Здесь не тревожат разума людей
ни запахи Болотных площадей,
ни аромат эйнемского цуката,
в два рукава заключена река,
а то, что Кремль еще стоит пока,
так в том конфликт распила и отката.

Ну, а пока не проданы кремли,
напротив – что хотели, то снесли,
и не было малейшего скандала.
Опять лежит Россия на боку,
и тащится к царёву кабаку
затем, чтобы добро не пропало.

От Яузы до Шлюза прямиком
кораблик действительно влеком,
лишь археолог вспомнит напоследки
волшебный век, что ныне так далёк,
и то, как был прекрасен бутылёк
под козырьком смирновской этикетки.

Начав поход с Крутицкого холма
известные Димитрий и Косьма
разворошили польские помои,
и посейчас уверенной тропой
народ идет с четвертого в запой
и пьет без остановки по седьмое.

Десятки лет сносили монастырь,
но кто сносил, – пусть ищет нашатырь,
и нет ему занятия безутешней:
цвели чертополох и астрагал,
а тут переполох – и Марк Шагал
стал именем для набережной здешней.

И медленно кончается бетон,
и близится Коломенский Затон,
языческий, святой и разношерстый,
и как-то вспоминается порой,
что здесь к столице княжества второй
как раз ведут коломенские версты.

...На берегах рождается гибрид,
и не поймешь, – кого и кто дурит,
чернила превращаются в белила,
твердит ампир, что он вполне модерн,
и про Юдифь не слышал Олоферн,
и кто Самсон, – не ведает Далила.

Твердит горох, что он не помидор,
кричит чердак, что он не коридор,
и врач не доверяет пациенту,
и тень наведена на ясный день,
лужковский стиль еще на чью-то хрень,
и Мёбиус на пальце вертит ленту.

Река петляет, как в лесу лиса,
и небеса меняют полюса,
мелькают спицы, вертится ступица,
кипит вода, шипит сковорода.
...Прошу сдавать оболочки, господа.
Паромщик просит вас поторопиться.

ВЯЧЕСЛАВ ОЛТАРЖЕВСКИЙ.
ВДНХ. 1948

Часто носом землю роешь, мучишься в Москве:
вознесем на зависть бриттам счастья вороха!
Думал, что начальству строишь ты весехаве
ну так радуйся: стоит там вся ведеэнха.

Знак таротный засандален в дело неспроста,
и не просто для потребности, а исподтишка.
Не просек товарищ Сталин кельтского креста,
а не то бы там тебе бы враз секир-башка.

А зевнули, – так едва ли впарят мотовство.
Кум ворует понемножку, многих не хужей.
Впрочем, на лесоповале вряд ли для него
можно выстроить сторожку в тридцать этажей.

С мастерами побалакав, стал куда смелей,
пятилетку обмерекав в мертвой темноте.
Нет красивше тех бараков, что среди полей
понастроил ты для зеков там, на Воркуте.

Комиссарчик, как его бишь, чудо совершил:
вырос лагерь из сугробин, расступился мрак.
А чего не приспособишь, если жить решил?
Был неслыханно удобен длинный тот барак.

Беспорядок в доме отчет, милая земля.
На печальный крик голубкин не придет никто.
Но усек, что глупо зодчим ладить штабеля
то ли Сталин, то ли Пупкин, то ли конь в пальто.

Все уносится на круги в нашем бытии.
Мастер вышел втихомолку, забежал к врачу,
поселился у подруги, молодой швеи,
вышивальщицы по шелку и по кумачу.

Отверзают аты-баты новую главу.
Торжествуют буратины, всё информбюро!
Пусть украсят стилобаты новую Москву, –
доломиты, травертины, мрамор и габбро.

Привезут всего, что надо, полный эшелон,
все Советскому Союзу кланялись дабы!
Пусть восстанет колоннада на пятьсот колонн.
По фронтону – кукурузу пустим и гербы.

Только жаль, на этой трассе тоже есть финал,
меркнут розы, никнут астры, вянет весь букет,
и выходит, нифигасе, ты того не знал,
что осыплются пилястры и сгниет паркет.

До конца дочитан свиток, не сыскать следов.
Не дожив, не доработав, не избыв хандры,
так и бродит пережиток канувших годов
среди мертвых самолетов и другой муры.

Не поймешь, в который склеп-то плещет темнота,
устремляясь на заставу пышных похорон.
Только знаю, что с адепта кельтского креста
ничего за переправу не возьмет Харон.

ОТТО КОНСТАНТИН ГОТЛИБ ФОН КУРЗЕЛЬ. БУХЕНВАЛЬД, 1951

То ли уголовник, то ли любовник,
тот еще вояка, тот еще кобель:
оберштурмбанфюрер, проще – подполковник,
славный петербуржец господин Курзель.

Без высокой цели, без военных маршей,
он любил Россию, и наверняка
заходил к Курзелям в гости Гиммлер-старший,
не напоминавший жуткого сынка.

Выстроились пушки, залегла пехота,
только так случилось на полях войны,
что российский воин, живописец Отто
побывал на фронте с каждой стороны.

По команде первой брал наизготовку
все, что супостату причинит урон;
дали бы возможность, – он бы взял винтовку
и повоевал бы с четырех сторон.

На былых окопах выросла крапива,
но в Москву не сманишь Отто пирогом.
Он уехал в Мюнхен, и налег на пиво,
и еврея главным объявил врагом.

Он семита видел в каждом переулке,
ждал, что разразится главный мордобой.
Он любую кепку числил за ярмулкэ,
пейсом полагая бакенбард любой.

Слушал он парада рев тысячеустый,
полагал, что Рузвельт – жид и людоед.
Он любил сосиски с кислою капустой
и носил в кармане красный партбилет.

Что твои моржихи, что твои тюленьши,
бабы предъявляли миру телеса,
на его картинах гордо уберменши
покорив Европу, рвались в небеса.

Чем норд-ост отличен, скажем, от зюйд-веста?
Можно ль недоуздом заменить узду?
...Он торчал в Берлине, не боясь ареста,
даже в сорок пятом роковом году.

Сплавил эпоха чистых и нечистых,
и решили Отто прочно запереть
в Бухенвальд советский, где при коммунистах
тоже заключенных умирала треть.

Что-то не предвидел, что-то недослышал,
драться не умея с красною чумой,
как-то все же выжил, как-то все же вышел
и опять за пивом отвалил домой.

Родина отвергла, бросила подружка,
всюду грязь и темень, как ни посмотри.
Только и осталось, что пустая кружка
и удар последний в восемьдесят три.

Брошены в корыто сломанные кисти,
холст не загрунтован и стоит пустой,
вот и нет картины, вот и нет корысти,
и ударил хвостик рыбки золотой.

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ. ОЧЕНЬ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

Описанного им вида звёздного неба, по всей вероятности, вообще не было ни разу за весь исторический период времени, кроме указанного здесь дня. Если бы против этой даты были целые горы древних манускриптов, то и тогда их всех пришлось бы считать подложными.

Николай Морозов. Откровение в грозе и буре

Петербургский закат возмутительно розов.
Воздвигается нечто на месте пустом.
В равелине сидит страстотерпец Морозов,
размышляя о супе с известным котом.

У России еще не таких виртуозов
наберется десяток под каждым кустом,
потому и не хочет сегодня Морозов
пресловутую воду носить решетом.

Избегая особо подробных прогнозов,
позабить невозможно о факте простом:
небеса с потолком перепутал Морозов,
сочиняя за томом внушительный том.

Столько лет отсидишь, – наберешься психозов,
на году двадцать пятом иль двадцать шестом,
апокалипсис лично опишет Морозов,
расспросив Карла Маркса о Льве о Толстом.

Богословов, биндюжников и водовозов
призывая на бой с Иисусом Христом,
в академики выйдет великий Морозов
и науку оставит за грязным бортом.

Аргументы бегут впереди паровозов,
игнорируя общее мнение о том,
что давно их отверг гениальный Морозов,
и пора им накрыться облезлым хвостом.

«Илиада», к примеру – творенье колхозов,
а возможно – еще и совхозов притом,
и об этом предмете ученый Морозов
поклонится своим и чужим животом.

Археологи в почве, помимо навозов,
ничего не найдут ни сейчас, ни потом,
потому как на пне восседает Морозов,
и никто не оспорит подобный симптом.

Даже самый надежный дурак стоерозов
обречен зарубить на носу долотом:
ни во что никогда не поверит Морозов,
потому как бессмысленно верить в фантом.

Наступает година зловещих морозов,
жизнь буксует, скрипя на ходу холостом, –
но ликует Морозов, как Павлик Морозов,
и грозит современникам средним перстом.

ФОМЕНКО

Пирамиды в Египте танцуют фламенко
под прелестную музыку Шарля Гуно.
Их сегодня под вечер воздвигло Фоменко,
да и сфинкса построило тоже оно.

Инквизитор, судья и работник застенка
попытались добиться чего-нибудь, но
расколоть не смогли убеждений Фоменко.
К сожаленью, такое не смоешь пятно.

Во дворе Эрмитажа изба-пятистенка
Петербургу известна как Дом Мимино.
В этой мрачной избе проживает Фоменко,
по ночам иногда выходя в казино.

Две недели уже, как открыла туркменка
изумительный способ варить толокно.
Но и в этом сомнения есть у Фоменко,
ибо способа людям понять не дано.

Ильичу упирается в спину коленка,
на пороге – октябрь, и ему не смешно,
что и данную вещь отрицает Фоменко,
потому как не верит в такое кино.

Не античность была, но была переменка,
и на ней на куски распилили бревно.
Вот об этом уж точно писало Фоменко,
на Венецию глядя из Омска в окно.

Посреди Ленинграда стоит извращенка,
отдыхая по принципу «все включено»,
но ее Ярославной считает Фоменко
и ее приглашает сыграть в домино.

В небесах – облака золотого оттенка,
смело викинги тащат судно на гумно,
и на это глядит с пониманьем Фоменко,
и находит разумное в этом зерно.

Как несложно в ацтеке увидеть эвенка,
потому, вероятно, что всем все равно, –
так что первым сие осознало Фоменко,
для мультфильма рисуя большое панно.

Над вареньем и кашей вздымается пенка,
мышь дочиста в погребке съели пшено,
но на мелочи эти плевало Фоменко,
и сидит в пятистенке в своем кимоно.

Ибо лишь математика – это нетленка,
ибо людям разумным понятно давно,
что в истории всюду сплошное Фоменко,
вот и прорубь, – и можно спускаться на дно.

АПОФЕОЗ КОНСПИРОЛОГИИ. ЧАЙНИК РАССЕЛА

Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, добавь я, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов.

*Бертран Рассел, лауреат Нобелевской премии
отчего-то по литературе.*

Не надо лгать, что ковы не куются!
Тут вариантов нет ни на пятак.
Не верите в летающие блюдца?
Они хотят, чтоб вы считали так.

Они озон сдирают с небосклона,
организуют похищенья тел.
И даже на макете «Аполлона»
никто из них летать не захотел.

И мы обречены дышать на ладан.
Вполне живые, петь за упокой.
А президент в Америке – бен Ладен,
а вовсе не Обама никакой.

Сидите в уголочке и любите
и никотин, и кофе, и этил.
А чайник мчит по солнечной орбите,
который Рассел в небо запустил.

Построить пирамиды – дело плево,
отлично строит Пирамидострой.
А Брежнев был родной сестрой Хрущева,
а Сталин был Андропова сестрой.

Пророкам относительных теорий,
нет места на языческой Руси:
вот и сиди, и даже в крематорий
теорию свою не относи.

Они к рукам прибрали всю планету,
но, как и прежде, прячутся в тени.
Не надо говорить, что их, мол, нету!
Откроем тайну: мы и есть они.

Миллениум великих тайн наквасил,
и даже мудрецам не по себе,
и новый чайник в космос мечет Рассел:
поскольку так решило ФСБ.

Вопрос окончен, вычерпан, опростан,
философ подписал коммюнике,
и чаепитья ждет загробный Бостон,
и чаевые держит в кулаке.

МИСТИКА БОРИСОВСКИХ ПРУДОВ

Болезнетворный вѣх, осока и алтей,
вода, зеленая от тины,
пристанище ехидн, родимый дом чертей,
микулинские палестины.

Не лезь к ехиднам в грот, а то ведь и сожрут.
Судьба чертям препоручила
Цареборисовский полупроточный пруд:
не то бочаг, не то бучило.

Здесь водяной дремал и кувыркался бес,
носила царская охота:
не то, чтобы Байкал, не то, чтобы Лох-Несс,
а просто русское болото.

Но дамбу выстроил неполноправный царь
и водяных назначил зорко
смотреть, чтоб рос налим, подуст, карась, пескарь,
судак, чехонь и красноперка.

Бояре Стрешневы оберегали грязь,
не ведал жернов остановки,
из речки Язвенки ходил кормиться язь,
а из Чертановки – чертовки.

Впотьмах болотницы катались по росе,
но государственною волей
перечеркнуло пруд Каширское шоссе,
в бетон переселивши троллей.

Уже водовики в затонах не кишат,
изведены чертополохи,
ленивых горожан по берегам страшат
одни лишь водяные блохи.

Ни рощицы для ведьм, ни пней для колдунов,
лишь, опасаясь очевидца,
мусолит лестовку обрюзгший Годунов
и к церкви подойти боится.

Бетонную страну не видит он в упор,
а только внемлет отголоски
того, как в Угличе еще и до сих пор
играют в ножички подростки.

И год от января спешит до декабря,
век мается в дурных забавах
уже давно рукой махнувших на царя
тех самых мальчиков кровавых.

Истаивает свет очередного дня,
царит молчанье над галёркой,
ничто не движется, лишь речка Городня
ползет под красноватой коркой.

Снежинки в воздухе порой на миг замрут
и танец начинают снова,
и ничего не ждет заледеневший пруд
царя Бориса Годунова.

МИСТИКА ПРЕСНИ

Здесь мастера ковали палаши,
здесь мелкие селились торгоши,
здесь на досуге пел срамные песни
смотритель государевых собак,
здесь Сумароков шествовал в кабаке,
стоявший возле устья речки Пресни.

Для кухни государева дворца
здесь добывали стерлядь и гольца,
и на столах бывала лососина,
карась плескался в дебрях камыша,
а нынче, вероятно, ни ерша
не выловит рыбак из керосина.

Здесь Бубна с Кабанихой шли вдвоём,
чтоб слиться с Пресней в общий водоём,
однако Пресня к играм охладела.
Пока бурлили страсти в озерке,
прилипло слово «красная» к реке,
как банный лист к известной части тела.

Внук лихоимца барственных кровей,
голландский сад устроил князь Матвей
у речки Студенец в раю Трехгорном,
и некогда, пресытившись Москвой,
под Канавелу запил труп живой
в цыганском переулке Живодерном.

Здесь потешались несколько веков,
здесь рыскали обыщики волков,
в овраг чуму закапывали предки,
боевики хранили динамит
на фабрике, где полоумный Шмит
доламывал свои же табуретки.

...Здесь часто спрятать хочется глаза,
здесь царствует грузинская шиза,
пугая в зоопарке Божьих тварей,
мышей едят на завтрак журавли,
и, крепко накурившись конопли,
ворочает булыжник пролетарий.

Вокзал товарный грубо и борзо
стал бойким перевалочным СИЗО,
первоначальной школой зуботычин.
Благослови, Господь, сию тюрьму!..
Да только неизвестно почему
сей пересыльный пункт неромантичен.

Здесь высится салезианский храм,
скитаются легенды по дворам
и двигаются тени, обесплотев;
здесь вечная обитель тишины,
и две различных музыки слышны –
из храма, и из дома, что напротив.

Кукушка пролетела над гнездом
и пожелтел известный белый дом,
отправилась на пенсию кухарка,
закономерный грянул термидор,
и бегают клиенты до сих пор
в психушку на задворках зоопарка.

Того, кто машет флагом, как хвостом,
и грезить рад о веке золотом,
кого не убедила канонада,
кто веровал во всю галиматю,
кто жил в аду, считая, что в раю, –
того лечить не выйдет, и не надо.

В стальную грудь стучался депутат,
но был силен проклятый супостат,
и в миг единый кончилась поколка:
перескочив Камер-Коллежский вал,
тамбовский волк в борзятне побывал,
и народился выборзок от волка.

...Мерцают звезды в Пресненском пруду,
и я стою у тигра на виду,
и золотится сказочная шкура:
разделены нетленное и тлен.
Как раз об этом говорит Верлен,
что остальное всё – литература.

ПОВАРСКАЯ МИСТИКА. ЦИТАДЕЛЬ ДВОЙНОЙ ЛАКИРОВКИ

Здесь было триста пятьдесят дворов:
сюда селили царских поваров,
отравят – можно сразу всех повесить.
Здесь, в эти золотые времена,
семей стрелецких было до хрена,
Ааповарских семей едва ли десять.

То зимний гром, то государев суд,
то гнева всенародного сосуд,
гудела слобода, не умолкая,
Здесь было до Кремля подать рукой,
и слобода считалась Поварской,
пока не оказалась воровская.

Здесь украшенью города весьма
способствовало «Горе от ума»,
а как еще врагам покажешь норов?
Теперь к фасаду лепится фасад,
и чуть не два десятка амбасад
хранят покой господ амбасадоров.

Не каждому вот так свезло в Москве:
из трех церквей снесли здесь только две.
Обуглилась последняя просвира,
Но много было тут oprичь того:
хаза бояр известных, Хитрово,
боярыни Морозовой хавира.

Сегодня можно обнаружить тут
словесности изящной институт,
оплот советских пионерских зорек,
он все еще циничен и ретив,
ему плевать, что весь его архив
давно и кисл, и максимально горек.

Близ Кудрина, стрелецкой слободы,
ростовские толстовские сады:
там процветает с рожею бандитской
еще один литературный дом,
Эстезией Петровною блюдом
На Поварской и на Большой Никитской.

Дубовейшая всех дубовых лож,
лгунами недовылганая ложь
икает и рыдает ошалело,
но прочности ее запас не мал,
здесь император ногу поломал,
а лестница при этом уцелела.

Здесь бабушки косили под гетер,
здесь пел Фазиль Абдульч Искандер
блаженство сулгуна и чечила,
кто ел сие, – тот знает и поймет,
но кто здесь пил, – тот пил совсем не мед,
питье любое здесь тогда горчило.

Здесь блохи шли в уверенный галоп,
здесь представал слоном последний клоп,
хорек хотел считаться росомахой,
я состязаться с ними не дерзал,
но мнился мне родным дубовый зал,
что для других служил дубовой плахой.

То мертвый штиль, а то девятый вал,
но были те, кто здесь голосовал,
не дальнорюки и не близорюки:
историки, понятно, промолчат,
но из смолы забвения торчат
все эти слишком поднятые руки.

Здесь длился безусловно неспроста
литературный танец у шеста,
похабщиной начальство развлекая,
про чукчу тут рассказывал казах,
поскольку без повязки на глазах
глуха как пень Фемида Поварская.

...Таков последний музыки причал.
Мочало есть начало всех начал,
хер до колена, море по колено,
и далее рассказывать – на кой?
Здесь нет литературы никакой,
затем, что нет и не было Верлена.

МИСТЕРИЯ ЛИВНЯ

Нет ни слова о них ни в каких фаблио:
не поверит в них ум ни один недалекий:
всей-то жизни полдня им, несчастным и.о.,
им, доверчивым врию родной Самотеки.

Впрочем, если б не дождь, никому никогда
не слышать бы о них даже сплетен на рынке,
этих жутких быличек, о том, как вода
превращается в море над руслом Неглинки.

Поначалу ручей, чуть попозже – река,
этот ливень дорогу спешит обезбредить.
В мутной пене плывет что-то вроде снетка,
что-то вроде ерша, – водопольная нежить.

Хлещет буря, куски облаков полоща,
пляшет с молнией гром, как с сестрицею братец,
не-голавль догоняет совсем-не-леща,
рассекая косяк не-совсем-каракаптиц.

Но плывет мелюзга, убедись да позырь:
упражняется пена в пустом пилотаже,
пробежал три вершка, да и лопнул пузырь,
и со всеми другими история та же.

Но и той, уцелевшей в пути гольтыбе,
что умчалась на юг, весь бульвар измазюкав,
никуда не удастся нырнуть на Трубе, –
там шипит и кипит водовертье у люков.

И нырнувшим приходится быть начеку,
у хозяев Неглинки не празднуют труса:
в темноте предстает чужаку-новичку
низовое болото, трясина, чаруса.

Под землей начинается путь в антими́р:
здесь колодезник в черном безумье хохочет,
здесь балчужник для змей понастроил квартир,
здесь бакалденник зубы щербатые точит.

Только черту едва ли опасен шайтан,
никогда не воюет изнанка с исподом,
всё растут пузыри, всё вбирают метан,
всё гремят на свиданку рвануть с кислородом.

Убирайся с дороги, соплю не топырь,
уползи за Можай от сливного колодца:
по Неглинке плывет исполинский пузырь,
и, похоже, вот-вот под Манежем взорвется.

Только пыжится это чудовище зря,
в небесах на восток уползли диплодоки,
оборвалась короткая жизнь пузыря,
и закончился дождь, и сухи водостоки.

...Водяные о чем-то своем в черневе,
успокоясь немного, бурчат неохоче,
и с трудом засыпают, и в Нижней Москве –
ни рассвета, ни дня, ни заката, ни ночи.

МИСТИКА РЕЧНАЯ ПОДЗЕМНАЯ

Где в трубах мучатся Малашка и Подон,
где рыбе сточный люк, – что человеку плаха,
где, как в концлагере, еще живет планктон,
но не смогли бы жить змея и черепаха,

где клейкая вода в бетонном неглиже
вконец отравлена бензином и соляркой,
где речка Нищенка без всяких Беранже
течет в Копытовку на пару с Пономаркой;

где Карачаровка размыла бережок,
с Кровяной и Лосем сливаясь по привычке,
где Вавилон-ручей и Золотой Рожок
мешаются с водой Ленивки и Чернички,

где близ Хапиловки и Рыбинки-реки
миазмы ползают порой рассвета ранней
и где последние сомы и судаки –
добыча верная цихлидов и пираний,

где царствует фенол, где душит аммиак
безглазых карасей и карпов лупоглазых,
где поздней осенью увидеть можно, как
с трудом ползет ручей в Андреевских заразах, –

там царство серых крыс и дождевых червей,
там мир коллекторов и карцеров тюремных,
и думается так, что лишь одних церквей
в столице более, чем оных рек подземных,

там под Москвой-рекой еще одна река
ползет сквозь известняк и ропщет неустанно,
там привидение касожского царька
танцует в облаках азота и метана.

Блуждающий огонь сквозит из темноты,
на всех поверхностях лежит осадок склизкий,
таращатся во мрак глазастые кроты
и спят до времени слепые василиски.

Здесь обитателям не выставишь кордон,
землетрясением любой отбросит бакен,
дрожит хтонический владыка Посейдон,
и хочет вырваться оголодавший кракен.

Пусть в бездну заглянул, и пусть похолодел,
но безразличен ты подземным чародеям:
там, в магмах у богов без нас хватает дел,
и в глубине земли едва ли до людей им.

...Истаивает жизнь, как черный леденец,
одна лишь темнота течет, не убывая,
и вокруг Ваганькова ползущий Студенец
впадает сам в себя возле кольца трамвая.

Что зло, и что добро? Что снег, что антрацит?
Лишь влага древняя через кротовьи норки
по Таракановке торопится в Коцит,
и по нему скользит к далекой Лихоборке.

МИСТИКА ТАГАНСКАЯ БОЛВАННАЯ

Не морочьте мне голову, будьте добры,
не твердите, что деды мудрее, чем внуки.
От Заяузья и до Таганской горы
дотянула Болвановка тощие руки.

Там с весны до весны и с войны до войны
лет семьсот человечья судьба копошится:
под горою – Котлы, на горе – Таганы,
разложи костерок, и готова ушица.

Хоть о Яузе ходит дурная молва,
но не станет рыбак сожалеть о потерях,
даже если в улове сплошная плотва
и давно позабыто, как выглядит жерех.

...Здесь конями невольники шли в поводу,
но теперь не отыщешь, как долго ни рыскай,
той дороги кривой, что вела на Орду,
и отнюдь не спрямилась, но стала Марксистской.

Персонажа новейший сменял персонаж,
и внимал потрясенный епископ Алексей,
как заезжий с Херсонщины мелкий торгаш
проповедовал мир без боев и аннексий.

...Было в церкви людей будто в бочке сельдей,
а извозчики мрачно ругались вдогонку,
наблюдая, как вверх шестерик лошадей
на Таганку тащил тяжеленную конку.

Бушевали шторма, и сходили с ума,
и гремели грома, и глумилась охранка,
и рыдала сама над собою тюрьма,
и о дальней дороге гадала цыганка.

Здесь хранили муку, здесь лилось серебро,
и висел над заборами дым кочегарен,
и по мере уменья творили добро
неполяк Поляков и Катък-нетатарин.

Тут легенды из каждого камня встают.
Что ни день – то беда, что ни шаг – то утрата.
Тут заснул баташевский расстрельный приют,
вспоминающий дни недострелка Мюрата.

И отсюда бывало добраться легко
до того веселящего душу базара,
где на свинок смотрел краснохвостый жако
и орал на собак гиацинтовый ара.

Тут не надо писать ни статью, ни рассказ,
никакую писать эпопею не надо,
о побоище, шедшем с утра возле касс:
тут потребен Гомер и нужна Илиада.

И чекисты с чертями плясали канкан
от утра до утра, каблуков не жалея,
и таперов меняла киношка «Вулкан»
и при этом совсем не ждала «Галилея».

Привидения бродят в снесенной тюрьме,
в пыльном ветре разносятся крики сорочки,
и все та же Таганка лежит на холме,
на столицу наставя татарские очи.

Небосклон целиком облегла темнота,
лишь мерещится что-то и где-то и как-то,
и печалится принц, поминая шута,
и зевает могильщик из пятого акта.

МИСТИКА ЯУЗЫ

Медлительна, по-старчески мудра,
почти что со времен царя Петра
не годная ни для какого флота,
среди крапивы и борщевика
ворочается Яуза-река,
у древнего Лосинога болота.

Здесь как-то странно все в одно сошлось,
здесь выжить ухитрился даже лось, –
плевал на все вокруг лесной владыка,
как человек, он ко всему привык,
и все равно ему – что моховик,
что мухомор, что даже волчье лыко.

Здесь лось – не только лось, но и ручей,
великая отрада москвичей,
преступная утеха рыболова,
вода еще почти совсем чиста,
покуда у Оленьего моста
не кончится идиллия былого.

На левом берегу полупустом
общедоступный сумасшедший дом
стоит взамен снесенных деревенок,
здесь тоже есть приют для москвича,
и тихо с разрешения врача
гуляет с психопатом психастеник.

Вода течет к Немецкой слободе,
и столько аромата в той воде,
что в ней не опознать речную влагу,
торопится в подарок немчуре
такое несусветное амбре,
что ей бежать захочется в Гаагу.

На берегу солдатская судьба
переставляет койки и гроба,
и триста лет играет в чет и нечет,
чтоб ненароком власть не огорчить,
там лечат то, что можно не лечить,
и лечат то, чего никто не лечит.

Полупрозрачен воздух и угрюм,
и над водой висит такой парфюм,
что вмиг удушит всякого вампира,
и где-то в трубах делает прыжок
людьми забытый Золотой Рожок
под гнетом казаковского ампира.

Однако упомянутый упырь
лет сто назад приперся в монастырь,
решил монахов долго не манежить
и не тянуть с устройством лагерей,
а то, что здесь лежал Рублев Андрей,
нисколько не смущало эту нежить.

Здесь века позапрошлого фантом
висит под Костомаровский мостом,
в убогой нише душу упокоив,
а мир пятнист и тошнотворно пег:
Москва сгружает свой соленый снег
в мистический поток речных помоев.

Ночной кошмар взобрался на престол,
сквозь битумы сочится солидол,
и плещется отравленная рыба,
протухшая с хвоста и с головы,
и рвется в ту артерию Москвы,
что Язу съедает без спасибо.

Пульсирует артерия сия
и тянется в далекие края,
не думает о сроках и пороках,
не размышляет как, зачем, куда
уходит в море волжская вода, –
и ничего не помнит об истоках.

ТРАМВАЙНАЯ МИСТИКА. БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО

Половина подковы, кольцо без конца,
кто заплатит, а кто-то поедет на шару.
От крыльца до крыльца, от дворца до дворца,
от звонка до звонка, от бульвара к бульвару.

Заблудившихся душ круговой полигон,
карусель, и беда, и тоска человечья.
Выползает на мост желто-красный вагон
из далекой окраины Замоскворечья.

Никакой суеты, никаких антраша,
замирая почти у любого квартала,
громыхает вагон, не особо спеша,
и порою звенит, как трамваю пристало.

Этот странный старинный вагон с фонарем
никакого чужого не требует кошта.
Перед ним на одну лишь секунду замрем, –
может, прочь не погонят ни за что ни про что.

По бульварам прозрачный плывет силуэт,
удивляются ясени, шепчутся клены:
он по рельсам идет на рубиновый свет,
и на желтый идет, и идет на зеленый.

Он почти не глядит на стальные пути,
от его тормозов не послышится скрежет,
никого никуда он не хочет везти,
но зато и ничьей головы не отрежет.

Деревянный вагон, опекавший народ,
покровитель толпы, не всегда дружелюбной,
он проносится мимо Мясницких ворот,
чтобы дальше без рельсов катиться до Трубной.

И взлетает опять, как привык испокон,
в полутьме проявляя большую сноровку,
будто снова сухой полоумный закон,
и за выпивкой нужно бежать в «Комаровку».

Полутьма превращается в полную тьму,
а трамвай по бульварам несется в запале,
и в дороге вполне безразлично ему,
что давно уже рельсы и шпалы пропали.

Но эпохи и люди сливаются в нём,
длится дикое празднество вилок и ложек,
возглашается тост под кинжальным огнём,
и вальсируют пары, свисая с подножек.

Там кого-то в князя, а кого-то в расход,
там хвостаты одни, а другие бесхвосты,
день рожденья справляет тринадцатый год,
и готовится к праздникам год девяностый.

Там звучат клавишины под грохот цимбал,
там неистово мечется шарик рулетки,
и помещичья свадьба, и княжеский бал,
и брюнетки, субретки, горжетки, левретки,

Убегает потомок конька-горбунка,
голос прошлого века все глуше и тише,
все прозрачней трамвай и все ближе река,
у которой своих-то проблем выше крыши.

По пунктиру привычных двенадцати звезд,
по всегда одному и тому же маршруту,
он летит на никем не построенный мост,
чтоб возникнуть над Яузой в ту же минуту.

В три-четыре часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в «Комаровку» – из-возничью чайную у Петровских ворот, где в сыром подвале пили водку с прости-

тутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали, нюхали это дьявольское зелье.

Александр Вертинский

У каждого трактира было свое лицо, свои завсегдатаи от купеческого и аристократического Палкина до студенческой «Комаровки» у Петровских ворот.

Константин Паустовский

МИСТИКА НЕГЛИННАЯ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

Где пахнет черною карболкой...

Владислав Ходасевич

Который тут ни мыкайся рапсод, –
не отыскать ни принцев, ни горошин.
Тому назад лет где-то восемьсот
тут был боярин Кучка ужокошен.

Тысячелетний принцип нерушим:
был угол этот лучшего пошиба.
Не верится, что двести с небольшим
минуло лет, как тут ловилась рыба.

Старинный город ржал, как жеребя,
спеша с крестин на свадьбы и поминки,
был перекинут сам через себя
старинный мост над водами Неглинки.

Плещась о стены, здесь под мостовой
червеобразный спрятался отросток.
Тот попросту не виделся с Москвой,
кто не ходил на этот перекресток.

...Здесь кулинарный высился штандарт,
а город ел, как богатырь былинный.
Тут некогда Транкиль Петрович Ярд
для Пушкина готовил суп с малиной.

Окрестность ароматами пьяня,
цвел ресторан, и господа смекали,
что благородней суп из ревеня,
чем лучшие грузинские хинкали.

Сколь многое мерещится в былом!
Василию немало профершпиля,
бездельничал за ужинным столом
поэт у знаменитого Транкиля.

Однако время – деспот и тиран,
и в мире нет истории печальней:
в Петровский парк отъехал ресторан,
а здесь осталось нечто вроде жральни.

Прошло всего-то полтора ста лет.
Плевать бы всем на то, что мир безумен, –
какой сортир тут сделал Моссовет!
Как много поднялось тут бизнесвумен!

Но и сортир забрал проклятый тать!
Легко ль увидеть татя в депутате?
Страна хотела малость пористать,
но с ней никто не пожелал ристати.

У памяти в десятой кладовой
лежат всё те же гнойные веретья,
и крепко пахнет красною Москвой,
любимым ароматом трехсотлетия.

С Неглинки смотрит город-исполин,
понять не может, что тут за держава,
дыша карболкой, каковой Берлин
когда-то встретил пана Владислава.

Отмыли площадь, увезли топор,
и город задремал в самообмане,
и ожидает баснословных пор,
когда кераус кончится в шалмане.

СЕРЫЙ ИЗВОЗЧИК. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

Загадка для мистических умов,
секрет почище Хомяковых Рошек.
До Дмитровки с Петровки пять домов.
Оттуда ночью движется извозчик.

Там, перейдя последнюю межу,
пусть счет годов идет уже на сотни,
чулками давит бедная Жужу
газетчиков у темной подворотни.

Кто здесь гулял, тот сохранил в себе
тот холод, что известен на Валгалле.
Встает извозчик возле ФСБ,
всего за три подъезда до Сан-Галли.

Он появился здесь давным-давно,
являлся и в посты и в сыропусты,
он увозил из тайных казино
любого, кто остался без капусты.

Он прибирал сдаваемую масть,
не трогал ни жандарма, ни фискала.
Его бы не нашла сыскная часть,
да, собственно, она и не искала.

Любой калибер среди ночи мил:
кого найдешь на улице пустынной?
Другой бы тут полтинник заломил,
а он просил всего пятиалтынный.

Кобыла нервно дергала хвостом,
почуявши натянутые вожжи.
Извозчик тихо трогал, а потом –
никто не знает, что бывало позже.

Уж сколько там он тратил на овес,
и представлять сегодня неохота.
Он пассажира, вероятно, вез
в Печатники на Сукино болото.

Года ползли неспешным чередом,
а он, клиентов не привыкший холить,
их отвозил в былое, в Скородом,
иль напрямиком в какую-нибудь голядь.

Спокойна рысь мышастого одра,
и никогда не звякают подковы,
а тот, при ком наган и кобура,
сюда не сядет даже за целковыйй.

Извозчик едет в ледяную тишь,
которую не вычерпать шеломом.
Присмотришься к нему, – и разглядишь
одну ямскую шляпу с переломом.

Он никогда не завершит труды,
одна дорога для дворян и дворни
на страшные Синичкины пруды,
иль попросту в овраг при живодерне.

...Уносятся паучьи тенета,
и понимаешь как-то отрешенно,
что у возницы только пустота
внимательно глядит из капюшона.

Не надобно большого мастерства,
чтоб не оставить ни одной улики,
он сгинет в стену дома двадцать два
при самом первом петушином крике.

В небытие, куда угодно, прочь, –
но все идет одна и та же пьеса,
которую разыгрывает в ночь
Кузнецкий мост над пропастью Гадеса.

МИСТИКА ТВЕРСКОЙ

Ну что ж, помолимся, читатель, – и вперед,
туда, где суета мирская.
Разбег у Иверской стремительно берет
невероятная Тверская.

Дорогою на Тверь разрезана Москва,
и в той дороге меньше мили.
Увидел властелин, что улица крива, –
и мигом улицу спрямили.

Дорога ямщиков, поэтов и царей,
широкий тракт восьми столетий,
Тверская улица, прямая, как хорей,
не самый сложный ритм на свете.

Здесь церкви не глядят с углов или холмов,
и не гремят слова псалтыри.
Здесь перестроены десятка три домов,
и передвинуты четыре¹.

Триумф эклектики, сплошная буря мглой,
мордатый князь на жирной кляче,
модерн, задвинутый подальше с глаз долой,
конструктивизм и бред собачий.

...Шнурки да гвоздики, худые сапоги,
и вдаль, по случаю аврала,
темно-соловые спешили битюги
туда, где что-то догорало.

Менялись жители и гости на Тверской,
и приходили ротозеи
глазеть на новости управы городской, –
на Пушкина и Нирензее.

¹ Домов передвинуто пять, но пятый – на полвека позже.

Бедняга Наше Всё взамен монастыря
стоял, отнюдь не добродушен,
потомков полтора столетья матеря
за то, что сделал Опекушин.

Стараясь выпрыгнуть из бронзовых штанин,
на месте триумфальной арки
профыркать пыжился багдадский дворянин,
что пусть к чертям идут Петрарки.

Благообразный кот при пепельной луне
доныне бродит по карнизу,
пугая каждого, кто видит тень в окне,
и каждого, кто смотрит снизу.

Лгуны и молчуны, шпионы, топтуны,
косоворотки и кафтаны,
златые галуны и рваные штаны,
кафешантаны и пуганы.

То фрак, то вицмундир, то френч, то лапсердак,
обмен сосиски на редиску,
чердак и кавардак, и попросту бардак,
погром, и далее по списку.

Глупцу и мудрецу, бродяге и купцу
в бобровой шубе и в шинели
недолгий путь к концу, к Садовому кольцу,
по отшлифованной панели.

К северо-западу, в летейские края
идут миряне-россияне,
великие князья, чины офицера,
идут дворяне и крестьяне.

Не стоит ничего ни гордость, ни родство,
но одинаково невинны
паломники Тверской дороги, для кого
кончаются сороковины.

СОРОКОВИНЫ. ТРОПАРЬ ИОАННА ВОИНА

Под Малой Бронной, то ли под Большой,
в неисследимой части подземелья,
в идиллии спокойствует душой
москвич до своего шестинеделья.

Тут просто так не вытолкнут во мглу,
тут половой умеет расстараться:
он пригласит к особому столу
рогожского купца-старообрядца.

В Лаврушинском, в старинных Кадашах,
ни рюмки, ни чернушки не понюхав,
уставший размышлять о барышах,
сидит чаеоторговец Остроухов.

У Пушечной, в Звонарской слободе,
свои сороковины отмечая,
Василий Абрикосов при звезде
сидит у девяностой пары чая.

От Божедомки в десяти шагах
сидит какой-то прапорщик казачий,
и ясно, он совсем не при деньгах,
но тут отпустят в долг и без отдачи.

В подвале, что устроил Поляков,
порой, а по субботам постоянно,
не менее как десять стариков
торжественно творят обряд миньяна.

А в кабинете где-то под Щипком,
там, где совсем иная катакомба,
у стойки над французским коньяком,
на морду – точный лейтенант Коломбо.

Понятно, каждый хочет неспроста
перед путем последним глянуть в кружку:
загробный мир Кузнецкого моста
обжорствует на полную катушку.

А если кто-то вовсе на бобах,
так отведут, душевно поговорив,
под Горлов, где такой Ауэрбах, –
что окосел бы Аполлон Григорьев.

Минуту света, провожая в путь,
скорбящим дарит византийский воин
чтоб было что еще припомнить
тем, кто о чем-то вспоминать достоин.

Здесь и князей великих, и сирот,
архонтов разогнав по караулкам,
любовно провожают до ворот
устроенных под Мертвым переулком.

И так от Рождества до Рождества,
верна установлениям царёвым,
блаженствует подземная Москва
под Лиховым, Калашным, Живарёвым.

МИСТИКА ОЛИМПИЙСКАЯ

Надо ль в былые соваться дела?
Хоть и не хочется, – все-таки надо:
слишком уж многое ты сожрала,
анаболичная Олимпиада.

Все повторяется: тучный телец
запросто съеден коровою тощей.
Кажется, будто прошелся свинец
меж Самотёкой и Марьиной Рощей.

Будто прошелся, – и сразу отбой.
Весь газават оказался недолог.
Только фундамент, и то не любой,
здесь полоумный найдет археолог.

Ибо еще не к такому привык
наш современник: не вспомнят потомки
Тузов проезд, Лесопильный тупик
и половину домов Божедомки.

Плакаться поздно, но знаю одно:
нет у судьбы ни кавычек, ни скобок.
То, чего в принципе быть не должно,
с тем, чего нет, существует бок о бок.

Левый ли, правый обрушился бок,
или середка попала в разруху,
весело слопал лису колобок,
хвостиком рыбка убила старуху.

Стал императором Ванька-дурак,
курочкой Рябой заделался страус,
серые волки едят доширак,
заяц на крыше построил пентхаус.

Навь на иллюзию смотрит вприщур,
фата-моргана опасно весома,
в стену гробовую вцепился лемур,
галлюцинация мучит фантома.

Ночь в полнолуние сбледнула с лица,
мчится по улице призрак овчарки,
призрак купчихи и призрак купца
что-то пеняют прозрачной кухарке.

Дворник прозрачный, судьбу костеря,
плачет: ему мертвецы задолжали,
тени лабазника и шинкаря
дремлют, надравшись в незримом кружале.

Только, покуда восход не пунцов,
заполняют все тот же участок
призраки мертвых борцов и пловцов,
тени давно опочивших гимнасток.

Но постепенно алеет восток,
молча калибром грозя трехлинейным,
вслед за хибарками мчится каток,
вперегонки с олимпийским бассейном.

Но не запишешь судьбу в конduit,
взрыв не погасишь струею брендспойта.
Сколько-то здесь стадион постоит, –
да и развалится к маме такой-то.

Света хватило бы малой свечи,
чтобы растаяли тени ночные.
Бедные люди, мои москвичи.
Бедные, бедные все остальные.

GRÜSS AUS MOSKAU¹. ОММАЖ ИВАНУ ШМЕЛЕВУ

Бывое различается с трудом,
истерся почерк, манускрипт зачитан.
Ты спрашиваешь: где стоит твой дом?
Где пожелаешь, – там вот и стоит он.

На ярлыках невнятные слова,
мемуаристы носят воду в сите.
Какой была тогдашняя Москва?
Она была любой, какой хотите.

Да и теперь она хранится там,
сия первопрестольная громада,
распределенная по трем китам,
чьи имена припоминать не надо.

Все те же кринолины и жабо,
все те же осетрина и навага,
и марокен от бывшего Дабо,
и газыри к черкескам от Живаго.

И с аппетитом сказочно в ладу,
для утешенья люда городского
рыбцом, в Охотном, кажется, ряду
воняет от коптильни Баракова.

И гуси, коих именно тогда
считать умели лучше, чем в сберкассе,
которых всё увозят поезда
с Рогожской напрямиком на Фридрихштрассе.

И заставляет лезть к себе в кошель
лакрицы запах или же корицы, –
тот аромат, что парфюмер Мишель
вложить сумел в «Букет императрицы».

¹ Жанр почтовой открытки в начале XX века («Привет из Москвы»).

В тринадцатом, на крайнем рубеже,
он миру дарит сказочную воду,
(но угодит на фабрику ТЭЖЭ,
точней – на «Большевичку» иль «Свободу»).

И сказочный дубининский лосось,
и хариус, красавец в черных пятнах, –
все то, что очень долго довелось
считать набором слов невероятных.

Кто всматривался в суть первоначал,
тот знает, где удача, где невзгода, –
кто в веке двадцать первом отмечал
столетие тринадцатого года.

Держите ухо, граждане, остро,
среди старинных вывесок гуляя,
не верьте в то, что наскребло перо
завравшегося дедушки Гиляя.

Затем, что кто не в меру знаменит,
не заслужил доверья ни на кроху,
затем, что память бережно хранит
святую позапрошлую эпоху.

КРОВАВАЯ ЛУНА

Полностью влаги лишился ручей,
полностью смысла лишилась природа
в сотню – примерно – весенних ночей
точно известно – которого года.

В сырости злобствуя, боги войны
маялись выбором главного бога,
в ящике возле кирпичной стены
гнил недодавленный труп осьминога.

Вот бы не так, вот бы просто царя:
в жалких диктаторах гибли желанья.
К свадьбе широкой дорогу торя,
ядерной шваброй махала маланья.

Шапки ломая, дрожали паны,
с вечера мучаясь в приступах дури,
чтобы в сиянье кровавой луны
взвыли и лопнули струны чонгури.

Белкою время неслось в колесе
под рокотанье толпы бестолковой,
и на Можайском ревели шоссе
танки Таманской гвардейской стрелковой.

Все-то не мог расплеваться режим
с дракой за белое тело княжое,
в дар не свое отдавая чужим,
наскоро хапнувши вовсе чужое.

В школьный учебник упав на века,
спал буревестник, уныло отрезав,
в думах стоял трицератопс чека:
высечь, – иль разом угробить евреев.

В трубах клоаки висел ацетон,
жаждали крысы заветного часа.
В полдень стоял над Москвою Плутон,
в полночь в проулки ползла биомасса.

Из нечистот выплывали гроба,
выли сирены и звякали бубны,
и на Ходынке гремела труба,
и грохотала Ходынка на Трубной.

Полночь рыдала чернильным вином,
намертво тушу страны загарпуня.
В календаре на листке отрывном
значилось: двадцать шестое июня.

Хоть верьте, хоть нет: 26 июня 1953 года – день главной в XX веке «Кровавой луны» – и одновременно день ареста Берии.

ЧЕРНЫЙ МАШИНИСТ

Хоть борись, хоть совсем обойдись без борьбы
и последнюю лошадь отдай коногонам.
Надвигается поезд из темной трубы,
и смыкается тьма за последним вагоном.

Он летит, будто вызов незримым войскам,
будто кобра, качаясь в мучительном танце,
капюшоном скребя по глухим потолкам
на обычную схему не вписанных станций.

Как летучий голландец, немой и слепой,
как фрегат, погасивший огни бортовые,
этот поезд, наполненный темной толпой,
противусолонь топчет пути кольцевые.

То ли тысячу дней, то ли тысячу лет
он ползет, на безглазую нежить похожий,
и в потертую черную робу одет
совершенно седой машинист чернокожий.

Чуть заметное пламя мерцает внутри,
пассажиры молчат, обреченно расслабясь,
по масонскому знаку на каждой двери,
и в оконных просветах дымится канабис.

Бесконечная ночь тяжелее свинца,
и куда непрозрачней надгробного флёра.
А в вагоне качаются три мертвеца, –
престарелый кондуктор и два контролёра.

Этот поезд кружит от начала веков,
ибо полон подарков, никем не просимых,
на вагон там по сорок латышских стрелков
при восьми лошадях и при верных «максимах».

Сквозь туннели ползет, по кривой унося
то, чего никогда не потерпит прямая.
В этом поезде едет пожалуй что вся
так сказать, пятьдесят, извините, восьмая.

В этом поезде в бездну спешат на футбол,
только некому думать сейчас о футболе
в том вагоне, где кровью забрызганный пол
представляет собой Куликовское поле.

Темнота и туман, и колёса стучат,
и струится дымок догорающей травки,
каковую привез из республики Чад
машинист, что пошел в мертвецы на полставки.

Не мечтает страна о царе под горой,
только смотрит, застывши, на черного змея,
и рыдает униженный бог Метрострой,
самого же себя уберечь не умея.

Растворяется мир в конопляном дыму.
Тишина, обступая, грохочет набатом.
И уносится поезд в крошечную тьму,
чтоб пропасть на последнем кольце тридевятом.

МОСКВА АССИРИЙСКАЯ

Печная сажа, пиво и яйцо.
Печальный взгляд и темное лицо.
Работа, будка. Прочее – детали.
Был гуталин отчаянно духмян.
Чистильщиков считали за армян,
но, в общем-то, по глупости считали.

Печально быть сморчком среди груздей:
халдей виновен в том, что он халдей,
в том, что не турок, скажем для примера.
Османы из избы выносят сор:
айсор виновен в том, что он айсор,
и что похож на древнего шумера.

Хочет жизнь – укуренный диджей,
и не поймешь, куда еще хуже:
просвета нет ни на каком этапе,
и комом далеко не первый блин,
и даже как готовить гуталин, –
не сказано в законах Хаммурапи.

Князя шнурков и стелек короли,
копившие копейки и рубли,
годами пробавляясь всухомятку,
имея в перспективе и в виду
надежду на счастливую звезду
и просто на счастливую палатку.

Кто растворяет сажу на спирту,
а кто в нее вливает кислоту,
еще другой рецепт у англосакса,
бура и воск, шеллак и скипидар,
такой вот самодельный Божий дар
и, как ни назови, все та же вакса.

Старик Абрам или старик Априм,
которым оный гуталин варим,
не станет лезть в российские проблемы,
однако же ни за какой посул
он не вернулся бы в родной Мосул,
где вырезали всю семью мослемы.

На левом, ниневийском берегу,
все, что стояло, отдано врагу,
разрушена последняя лачуга,
там, накурившись опия, мослем
расплавил или просто продал шлем
щумерского царя Мескаламдуга.

Для молодежи, может, и смешон
склонившийся над стельками Шимшон,
что трудится и споро, и в охотку,
но мальчик и невинен, и патлат,
однако нынче даже царь Тиглат
держался бы за щетку и бархотку.

Уже без ассирийской бороды
берутся эти парни за труды,
родную речь забывшие подростки,
и ни малейшей ясности в делах,
и вымирают будки на углах,
как вымирает лев галапагосский.

Но рано говорить про эпилог,
пускай в Москве все менее сапог,
но люди – те же божи коровки,
и не хотят скитаться по дворам:
наверное, не зря айсорский храм
поставлен на трагической Дубровке.

Сменился мир, и он опять недобр,
качают годы головами кобр,
секунды превращаются в пехоту,
и вовсе не желает знать народ, –
который там очередной Нимрод
устроил королевскую охоту.

Очередной минует перегон,
в былое отойдет любой Саргон,
любой закон пойдет на самокрутки,
рассказ окончен, занавес упал,
и пьет последний Ашшурбанипал
холодный чай в тени последней будки.

МОСКВА АЦТЕКСКАЯ

Кто и какого нашел шарлатана,
длинного не пожалевши рубля,
и для чего бы кошмар Юкатана
строить почти под стеною Кремля?

Письма воруют в столице ли с почт ли,
то ли обратно на почту несут?
В Теночтитлане для Уицилопочтли
можно ль такое представить на суд?

Мастер тут был чернокож, бледнолиц ли,
только уж точно себе на уме,
жертвы для месяца панкецалицтли,
видно, готовили на Колыме.

Глянем с фасада, посмотрим с изнанки.
С чем этот домик сравнить, например?
Пусть он поменьше, чем Этеменанки,
но понадежней, чем строил шумер.

Важно, что мощно, неважно, что грубо,
смету расходов притом соблюдя,
только не выдал мореного дуба
келарь для давшего дуба вождя.

Не укрощать трудового задора,
в жилах народа отнюдь не кефир!
Вышел приказ: не жалеть лабрадора,
не экономить карельский порфир.

Резал ваятель, вконец перетрусив,
то, что ему заказала Москва,
мучился творческим ужасом Щусев,
глядя во тьму Алевизова рва.

Хоть барракуда пльви, хоть мурена, –
пусть поглядят на военный парад.
Дважды Хеопса и трижды Хефрена
увековечил в Москве зиккурат.

Трубы звучали, гремели рояли,
песни звенели о славной стране,
поочередно с трибуны сияли
трубка, фуражка, усы и пенсне.

Площадь смолкала от края до края,
дыбились глыбами гости трибун,
взглядами пристальными пожирая
на мавзолее стоявший табун.

Только не надо сердить экселенца.
Не затупился у века топор.
Вот и погнал фараон подселенца
спать под соседний кирпичный забор.

Только мелькают кругом камилавки,
к битве не очень-то тянется рать,
если консервов полно на прилавке,
вроде бы очередь можно убрать.

Носится в воздухе галочья стая,
ждет у порога безликий гонец.
Вервие – это веревка простая,
вейся не вейся, а будет конец.

Тянется дым от сгоревшего века,
кончилась осень, настала зима.
Улица, ночь и пейотль для ацтека, –
и от реки восходящая тьма.

ГРАНИТНАЯ МИСТИКА. ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Там, где под князем лошадь-трансвестит
у иностранцев вызывает жалость,
Ильич гранитный тягостно грустит,
что вся его затея облажалась.

На этом месте, памятном весьма,
топорщились, Тверскую испохабив,
пожарная команда и тюрьма,
где года три сидел игрок Алябьев.

И розовому горько Ильичу,
что схлынул ветер, но осталась копоть,
снесли тюрягу ту и каланчу,
и памятники стали наспех шлепать.

Масонист и фасонист, даровит,
но до потери совести пурпуров,
придал вождю психопатичный вид
гурджиевский кузен Сергей Меркуров.

Не гагауз, зато и не хунхуз
тут послужил архитектурным музам, –
но Исаак Аронович Француз,
что не был, разумеется французом.

Ильич поставлен здесь перед войной,
судьбою окаянной не жалеем:
ведь и ему три года свет дневной
Свобода мрачно застила филеем.

С потомками на дружеской ноге,
блистая металлическою рожей,
воздвигся перед ним на битюге
князь, не себя нисколько не похожий.

Но вождь хвосту кобыльему не рад,
ему наскучил в сквере каждый кустик.
Уж лучше б водворили в зоосад
для радости мангустих и лангустих.

Следил, как годы медленно ползут,
смотрел на лошадь и в сомненьи хмыкал,
весьма картинно представляя зуд
под брюхо водворяемых тестикул.

Конягу жаль. Народ упрям как мул:
уж тут бы лучше наточить мачете,
да и порезать всех попов и мулл,
за то, что строят церкви да мечети.

...К столетию прилип солидный гак,
год прилетит, – и уж готов на вылет.
А Ильичу не встать, и все никак
вождя никто от тумбы не отпилит.

Ни на какой, понятно, сабантуй,
что, вероятно, ясно и ребенку,
никто не купит эдакий статуй,
а если купит, – только на щебенку.

Для памятника труден переезд,
и поздно спорить с долей злополучной:
не надо было васнецовский крест
рубить в Кремле рукой собственноручной.

Не так уж это было и давно,
ты не отыщешь в неводе улова.
Неси теперь, Ильич, свое бревно:
оно потяжелей креста любого.

Такие пироги, такой компот,
и, проявляя должную заботу,
твою, взамен едины от суббот,
барон Суббота празднует субботу.

МИСТИКА ВАГОНА-РЕСТОРАНА

Все фигуры стоят не на своих местах <...>

Это совсем другая партия. Это...

Стефан Цвейг. Шахматная новелла

Здесь холодных закусок не меньше пяти
и супов тут не менее двух ежедневно,
и четыре вторых можно тут обрести,
и легко растолстеет любая царевна.

И похоже на полный горячечный бред,
что не надо стесняться поганой привычки,
что спокойно тебе принесут сигарет
и бесплатно дадут драгоценные спички.

У бригады ночной – превосходный улов,
и ни в ком никогда никакого протеста,
хоть всего-то в вагоне двенадцать столов
и за каждым – четыре посадочных места.

И неважно, что цен не бывает в меню,
и волнуются зря заграничные тетки,
что на завтрак приносят одну размазную,
что ни стерляди нет, ни кеты, ни селедки.

И сомнительный блеск в баклажанной икре,
и в графинах сырая вода из колодца,
и когда молока не нашлось для пюре,
то и масла с гарантией в нем не найдется.

Но зато по секретной полночной тропе,
за целковый, полтинник, а то и полушку,
принесут без вопроса в любое купе
поллитровку, а если попросишь, – чекушку.

У кого-то припрятаны чай и лимон,
и буханка всего лишь вчера зачерствела,

и рыдает бариста, ночной ихневмон,
и похоже, что это другая новелла,

Он прикован у стойки, едва ль не распят,
он стоит, обреченные плечи ссутулив,
и молчит ресторан, лишь печально скрипят
сорок восемь навеки оседланных стульев.

Этот сейф на колесах – удар по глазам,
тут становится каждый герой паникером,
и шипит, словно тигр, уссурийский бальзам,
собираясь сцепиться с немецким ликером.

Развалиться не может никак эшелон,
лишь грозит балаганом картин леденящих
этот самый шикарный на свете салон,
этот ржавую плесенью съеденный ящик.

Не вагон уползает – уходят года,
вспоминаясь и реже, и хуже, и меньше.
А в плацкартных, давно не спеша никуда,
сухарями чуть слышно хрустят унтерменши.

Здесь не ад, здесь не рай, не Олимп, не Аид,
не удача матроса, не горе солдата,
то ли поезд спешит, то ли вовсе стоит,
пробираясь откуда-то, как-то, куда-то.

Место возле окна потеплей облюбуй,
и, быть может, услышишь, припавши к стакану,
как свистит паровоз возле станции Буй
на далеком пути от Москвы к Абакану.

МИСТИКА ВАСИЛИЯ ГИЛЯРОВСКОГО. УЛ. МАТРОССКАЯ ТИШИНА, 20

Конечно, не Бисетр и не Бедлам,
зато и христианство, и ислам:
здесь будь здоров молитв навозносили
те, что терзались горем от ума,
и тут контора даже не тюрьма,
а Гиляровский – так совсем Василий¹.

Но прочего отнюдь не будь здоров:
неполных два десятка докторов,
одни в пике, другие в габардине, –
и в душу мысль печально запихай,
что справа морг, а слева вертухай,
и битый купидончик посредине.

Не жизнь и не судьба, а полный швах,
все шельмы, все поражены в правах,
славяне, финны, греки и варяги,
все поровну чего-то лишены
здесь, в тишине матросской тишины,
царящей у больницы и тюрьги.

Отсюда не отпустят в ресторан
и даже могут отобрать коран,
и не дадут справлять курбан-байрама,
не пожелают знать – который Спас,
зато всегда имеется запас
аминазина и дисульфирама.

Однажды появился у ворот
урод, недопророк, недоюрод,
весьма неординарная фигура²,

¹ Василий Гиляровский (1875–1959), один из основателей отечественной психиатрии.

² Иван Яковлевич Корейша.

но не прогонишь, если денег нет,
и прожила больница сорок лет
на гривенник смоленского авгура.

Но дозвенел последний бубенец,
все плакали, когда пришел конец
источнику презренного металла,
он испросил себе на восемь дней,
ухи из восьмерицы окуней, –
и гривенников более не стало.

Здесь нравы исключительно просты:
откормленные кошки и коты
сношаются при всем честном народе,
и аккуратно метит кобелек
старинный деревянный флигелек,
выдавший Бонапарта и Мавроди.

Аккорд финальный всех житейских драм –
краснокирпичный офицерский храм,
где молятся о взрослом и младенце,
шипит на филантропа мизантроп,
и для кого-то служит просто поп,
а для кого – святой отец Деменций.

Кто знает, что преподнесут года?
Но коль идти, то лучше уж сюда,
и пусть пропустят здешние воротца
любого, кто от армии косит,
и в ком душа на волоске висит,
любого, кто рехнется и сопьется.

Меж моргом и тюрьмою мир зажат,
глядят в пространство те, что здесь лежат,
а те, что ходят, – водят хороводы,
на языке уже лежит обол,
и вертухай на вышке дыбит ствол
придурковатой Статуей Свободы.

МИСТИКА ФОНАРНАЯ

Древняя жуть и пора колдовства,
даль непрозрачна, темна и туманна.
Чтобы скорее сгорела Москва,
в ней фонарей понаставила Анна.

Город в объятиях пьяного сна.
Череп луны появляется лысый.
Только кончается час Кабана, –
сразу же час начинается Крысы.

Шорох ли, скрип ли в пространстве пустом, –
стены отвечают эхом взаимным,
но лишь фонарщик с фонарным шестом
страшен бывает в потемках самим нам.

Мало ль подобных страшилищ окрест?
Чем-то возможно порою отвлечь их,
только выходит, что этот не ест
ну ничего, кроме душ человеческих.

Чуешь ли, слышишь ли, видишь ли ты:
невероятная и неживая
темень, что много темней темноты,
ползает, вдребезги ночь разбивая.

Чавкает, тянется всех уволочь
в омут бездонный, к себе на задворки,
в пропасть, где бешено кружится ночь,
поскони царство и царство матёрки.

Кто попадает в ее погребя, –
больше вовеки не выкажет норов.
С ложки фонарщик напоит раба
уксусным соком гнилых мухоморов.

Крыса заскачет, заскачет кабан
в круговороте небесных диковин,
сотней копыт загремит в барабан
дикой охоты чудовищный ковен.

Вспыхнет огонь меж рогами козла,
прямо в зенит фонарем вырастая.
Городу ясно, что этого зла
не уврачует Вальбурга святая.

...Было и сплыло, а нет, так и нет,
помощь спешила, да не подоспела.
То ли в забвение, то ли в рассвет
клонится в северном небе Капелла.

Танец безумия в небе иссяк,
гром утихает, души не колыша,
и дотлевет последний косяк
возле нетронутой плитки гашиша.

МИСТИКА ТРЮИЗМА

Загубленное детство не оправдание для убийства.

Образец трюизма

В мелькании мучительных годин
не выучил сапожник ни один
того, что здесь прочтется, как по книге:
здесь шаркали не ради красоты
ботфорты, мокасины и унты,
и разве что не римские калиги.

Я нынче и представить не могу,
к которому смазному сапогу,
зачем и как сумела воспылаться
такой великой страстью со слезой,
пленившись лигроином и кирзой,
брусчатка опозоренного плаца.

Сюда несли на Вербу образа,
здесь был народ двумя руками «за»,
здесь главковерх мусолил папиросу,
здесь был парад богатства и нужды
и Верхние Торговые Ряды
готовились к торжественному сносу.

...Здесь задали работу мастерам,
и Постник с Бармой выстроили храм,
но царь решил не загружать погоста,
там лишний ни к чему простолюдин:
запишем так, что зодчий был один,
иль просто Постник – или Барма просто.

Здесь про царя выпытывал холоп,
здесь был казнен Никита-остолоп,
боярыня конвойных материла,
и дворянин на плахе сгоряча
способен был ударить палача,
да так, что тот летел через перила.

Умела сдачи дать былая знать,
и можно бы совсем не вспоминать
о том неполноумном Пустосвяте,
но трудно было не разинуть рот
когда первосвященник из ворот
патриархально ехал на осляти.

Здесь утверждались право и статут,
и не иначе, как конкретно тут
история противилась науке,
здесь плотник в битву шел на столяра,
и князю вот такого осетра
сулил Кузьма Захарьев-Сухорукий.

Здесь копошился мелочный развал:
кто чем хотел, тот тем и торговал,
от сбитня до старопечатных книжек
и, облажавшись, Маленький Капрал
домой как раз отсюда удирал
в пока что не бунтующий Парижик.

Сподобился народ в недобрый год,
соорудить порфиновый комод:
заказчик сыт, подрядчик при наваре.
Туда вселили труп вечноживой,
и лет примерно сто уже конвой
блюдет сей нечестивый реликварий.

Лет семьдесят копали землю тут,
и рос не то погост, не то покут,
закончившийся оперою мыльной,
умолкли залпы, оборвался стук,
и нынче тут лежит двенадцать штук
апостолов идеи невсесильной.

Здесь слишком много разного всего,
но пусть на Пасху, пусть на Рождество
хоть чем-нибудь, а будет сердце радо,

и не бетон, а крымский долерит
с Москвою пусть еще поговорит,
и этот разговор важней парада.

...Да только суета и неуют,
весь день по голове куранты бьют,
с трудом скрипят истории колёса,
и ветер века душу леденит,
и тупо упирается в зенит
над площадью висящий знак вопроса.

МИСТИКА ПОКРОВСКИХ ВОРОТ

Гром все ближе. Двенадцать ударов подряд.
Собирается ливень: видать, по заказу.
«День, хороший для смерти», – порой говорят.
«День, хороший для жизни», – не слышал ни разу.

Через десять минут будет полный улёт.
Поспешим в ресторан, где, с трудом скособочась,
над перилами мрачный Гамбринус блюёт
и прудам воздаёт величайшую почесть.

Я от жизни покоя клочок оторву,
в темный угол подальше к стене отодвинусь,
ибо самое время забыть про Москву,
ибо самое время заказывать гиннес.

...Здесь весьма неприятно воняла вода,
это очень обидело нюх Алексашки,
и светлейший приперся на берег пруда,
и название сменил, как меняют рубашки.

Неохота от кружки идти в слободу,
дайте повод разок похвалить пивовара.
Никуда из кафешки под дождь не пойду,
разве мысленно выйду на угол бульвара.

Ну, а мысленно – что ж, постоим, господа,
поглядим и поймем, содрогаясь немножко:
дом шестнадцать-пятнадцать пред нами, куда
опасается слишком спешить неотложка.

Впрочем, очень полезно сюда подойти.
Путь, быть может, тяжел, но уж точно не длинен:
рядом высится, метрах всего в двадцати,
дом пятнадцать-четыре, тот самый, Маринин.

Здесь у жизни и смерти неравный обмен,
и в отчаянье снова, и снова, и снова
в документы заносят врачи «оэсэн»,
не проехав еще полпути до больного.

То ли в этом причина, а то ли исход.
Всё, что только могли, москвичи просмотрели:
то ли гроб расписной, то ли синий комод
кто-то рядом воздвиг по наброску Растрелли.

Как держава легко улетела в трубу!
Сгнили ветхие доски, слезалась перина.
Четверть тысячи лет в этом синем гробу
дожидалась Москва, что вернется Марина.

Тут захочешь понять, и не сможешь, увы.
Потемнело в глазах: ну и что это было?
И у пятого всадника нет головы,
и скелет у него, а совсем не кобыла.

Сон рассудка не надо мести из избы.
И того уж довольно, что мечется морок,
и на небе сплетается символ судьбы,
состоящий из трех неприятных шестерок.

Даже руку поднять не успеешь к челу, –
только вскрикнешь, и тут же завалишься на бок.
Сомневаться не надо на этом углу –
хватит – или не хватит в России Елабуг.

МИСТИКА МАРОСЕЙКИ

– А взагалі, – питає, – Росію визнаєш? – В етнографічних, – каже, – межах. – В яких? – Од вулиці Горького до Покровки. А Маросейка – то вже Україна.

Остан Вишня. Самостійна дівка

Как помирить со стрекозой шмеля?
Как перемножить ноль на два нуля?
Историю попробуй-ка, просей-ка.
Где нет двора, – там точно нет кола.
В Хохловском переулке – ни хохла:
совсем обесхохлела Маросейка.

Судьбою сбережен и утаен
почти не изувеченный район,
крещен водой московского ушатца,
хотя и тут порядочно снесли
и храмов, и подворий москали,
и в целом грех над этим потешаться.

Здесь от советских допотопных лет
остался запах киевских котлет:
душа омыта нежным испареньем
той лавки концентратов пищевых,
что в перепутьях памяти кривых
Москву питает киевским вареньем.

Считается, Мазепа здесь бывал,
мечтал про государственный штурвал:
мол, для России вовсе не холоп он,
но комсомол не потерпел мазеп,
а комсомольцев слопал Менатеп,
и сам теперь вполне успешно слопан.

Переругались злато и булат,
домовладелец местный был хохлат,
пусть не Мазепа, все одно мазепчат:

столетия медлительно трусят,
а дом стоит лет триста пятьдесят
и еле слышно по-хохлатски шепчет.

Взорвался исторический Майдан,
и потерял доверие Богдан,
и отбыл отдыхать к себе на ранчо
побежкой исключительно борзой,
а дружба удалилась в мезозой
и ест на ланч огрызок помаранча.

Здесь жил француз в двенадцатом году
и по дворам в горячке и в бреду
слоних ловил зеленых и медведиц,
а над Москвою плыл великий стон,
но ни один хохловский автохтон
не дал схватить себя за оселедец.

Народ в церквях стоит у алтарей,
и к синагоге шествует еврей, –
у города на все готова ксива,
и так и ждешь: какой-нибудь пацан
построит тут мечеть или дацан,
и жить не запретишь ему красиво.

Святой Георгий, право, укокошь
несчастных кайфоловов и наркош,
а то гляди, как мучатся страдальцы,
гляди, как их накрыл девятый вал,
гляди, как их, сирот, обворовал,
проклятый век, плутище семипальцый.

Стал сухарем неосвященный хлеб,
сменился век, и медленно окреп,
и переростком сделался подросток,

и битва завершается вничью,
и обрубают улицу сию
армянский и германский перекресток.

Но, сколько чертов повар ни кухарь,
авось доестся каменный сухарь,
и докипит заваренная каша,
авось не станет бабочка червём,
а то, что до того не доживём,
оно – проблема, но уже не наша.

Медитативной, долгой и тупой,
крапивою заросшею тропой
скользила мысль, и вот доускользала:
и оборвешь плетение словес,
увидев над собой не свод небес,
а дебаркадер Брянского вокзала.

МИСТИКА ГИПСОВАЯ

Но лежат, притаившись, гипсовые.

Александр Галич

В шутку, не в шутку, давай на минутку
вспомним о том, что в былое ушло.
Мальчик, зачем ты задрал эту дудку?
Девушка, как же ты держишь весло?

Где она, девушек славных эскадра,
нынче найти хоть одну нелегко, –
ту, что без трусиков, скульптора Шадра,
ту, что в подштанниках, у Иодко!

Вспомни, взгляни: за щербатой беседкой,
молодцевато спортивен и юн,
машет бетонный подросток ракеткой
и с полотенчиком входит в гальяон.

Символ великий с империей слипся,
как со свиньей ненаглядной кабан.
Без алебастра, цемента и гипса
мальчик не смог бы лупить в барабан.

Ты не какой-нибудь там шаромыжник,
все же ответь мне, товарищ и брат:
с целью какой ты вцепился в булыжник,
если его не поднимет домкрат?

Уж не троцкист ли приполз густопсовый
нас уязвить, и теперь неспроста
голубь, такой из себя пикассовый,
к курочке Рябе летит без хвоста?

Встретишь прутов арматурных десятков
и размышлять начинаешь тайком:
то ли гусыня со стадом гусят,
то ли пятнадцать республик рядком.

Только внезапно становится жарко:
глянь, – и увидишь о позднем часу,
как безголовая тетка-дойрка
капиталистам готовит косу.

Им не сойдут издевательства даром,
им заготовили кучу хвороб
мощный охранник с ружьем и Мухтаром,
и при тяжелом серпе хлебобоб.

Пусть по сараям лежащие слепки
не сохранили голов на плечах, –
но сохранили чугунные кепки
и золотые сердца при мечях.

...Только куда-то всё это девалось
в тысяча невероятном году.
Резво умчалось на мраморный фаллос,
в пятиконечную целя звезду.

Где орхидея, – там будет и шпорец,
тут и опасностей всех в аккурат, –
честный, как гривна, коррупциеборец,
а не сигнальщик с линкора «Марат».

Спер миллиард, – так сиди и не хвастай,
ибо тенями стоят за спиной
лысый, усастый, бровастый, очкастый, –
все из коллекции, в общем, одной.

Видимо, кто-то серьезно ошибся,
просто не ведая наверняка,
что никакого болвана из гипса
сделать не сможет никто на века.

Вот и мечтать остается походу,
чтобы, уже не касаясь весла,
девушка все-таки прыгнула в воду
и никогда из нее не всплыла.

ДВА КОЧЕГАРА

...свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: а что вы тут делаете, добрые люди?

Николай Гоголь. Сорочинская ярмарка

В андреевской бронзе, в великой тоске,
печально сидеть воронуше.
Никитским бульваром, спускаясь к реке,
плывут полумертвые души.

Как с площади ты угодил в этот двор, –
спросил бы любой с непривычки.
Тут логика та, что уж если ты хвор, –
тоскуй в монастырской больничке.

Легко обучить беспородных собак,
что есть у кормления график.
Усастый сказал, уминая табак:
«Убрать или выбросить нафиг».

Попробуй приказ не исполнить такой:
глядишь, – и потопнет гондолка.
Пришлось этот памятник спрятать в Донской,
но, к счастью, совсем ненадолго.

Возник через год юбилейный момент,
а Гоголь уж больно прославлен.
На месте на том же другой монумент
советскою властью поставлен.

Однако и прежний нашли пьедестал, –
бывает ли сказка блаженней?
От прежнего места тот памятник встал
за сотни четыре сажений.

Немало в столице наломано дров,
как, впрочем, повсюду в России.

Пора, наконец, помянуть скульпторóв,
узнать, что за птицы такие.

Андреев, особо души не тягча,
к работе вставал спозаранок,
на метры погонные гнал Ильича,
а также скульптуры вакханок.

Второму – и славы досталось вдвойне,
он стал знаменит и возвышен.
Он скульптором Томским считался в стране,
а в паспорте значился – Гришин.

Коль бросить таланты двоих на весы,
то выйдет вполне одномастно,
ведь оба – прекрасно лепили усы
и лысину – тоже прекрасно.

Вот так и кончается вся недолга,
пред нами прекрасная пара:
попали в историю два сапога,
бессмертные два кочегара.

...Но чем же дополним мы действие сие?
Мы явим векам панораму,
где в каждом окне по печальной свинье
взирает на данную драму.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. ЯМСКОЕ ПОЛЕ

Золотая заклепка на Крымском мосту.
Номер семьдесят девять: запомнено в школе.
Эту вещь драгоценностью числят в быту,
неким желтым металлом – в любом протоколе.

Участковый писать протоколы устал,
понятые затихли, как бошки коровки.
Чем бы желтый металл через сутки ни стал,
но хозяин отправится спать на Петровке.

На кобыле кривой не объехать Москву,
у обеих весьма на душе хреновато,
лишь выходят щипать золотую траву
на Ямские поля золотые телята.

Минеральной водою наполнен ручей,
все журчит и журчит, огорчая гадалок,
потому как лежит в кошельках москвичей
разве только помятый бумажный аналог.

На такое роптать не приходится нам,
а не то обдерут и последние шкуры,
вот и смотрим, как плавно летят в Суринам
драгоценные яйца несущие куры.

Перелетам подобным – века и века
эти птички с собой, сторонясь волокиты,
унесли золотые мешки Колчака
и партийное золото деда Никиты.

Ты, архангел, доделал бы дело свое,
а не то уж на нас и не глянет икона:
и выходит, что зря золотое копьё
ты сломал о язык золотого дракона.

Облетает с ветвей золотая листва,
в золотистом осеннем дыму приувянув,
а кайманы плывут на свои острова,
ибо мир как богов почитает кайманов.

Мы-то знаем, – ничем не отсрочат беду
ни полтинник, ни злот, ни юань, ни сантимик,
вот и нечего ждать, что однажды в чаду
что-то сварит в реторте безумный алхимик.

Так что, друг, никого не зови к топору,
и не плачь крокодиллом о бедных и сирых,
а спокойно лети в золотую дыру,
где темно, как в любых привлекательных дырах.

МИСТИКА ВРЕМЕНИ И ГЕОМЕТРИИ

Линеен мир, все прочее дискретно.
Найдешь ли что в подобном абсолюте?
Не ошибись, что можно, что запрещено,
не то поедешь на блины к Малюте.

Но все же, спящей ласточки бесшумней,
взгляни в потемки, выйдя на задворок,
в распахнутый шагни интерколумний,
в клубящийся и непрозрачный морок.

Вот ты шагнул, и грянул гром органный,
во тьме рванула световая бомба,
и крест и полумесяц ятаганный
внезапно появились в центре ромба.

Попридержи хулу и междометье,
и не держи себя за беллетриста.
Здесь двести лет проходит за столетье,
а иногда проходит даже триста.

Здесь кобольды странною завладели,
здесь подняли у Вия оба века.
Здесь миги превращаются в недели,
чтоб тут же превратиться в четверть века.

Пытается толпа глухонемая
заткнуть дыру в заржавленном заплоте,
и тяжело дышат воины Мамаю
по горло в солидоловом болоте.

Толпа зверей выносятся из цирка,
гремит над синагогой «Варшавянка»,
гордится младшим Гитлером Бутырка,
грозит зубами старшего Лубянка.

Персоны эти жутко невезучи,
они для прочих – знак весьма тревожный.
...И мечутся растерянные тучи,
и черный крест гремит о нож сапожный.

И ни конца не видно, ни антракта,
и все мертво, как содранная шкура.
День завтрашний из бездны тессеракта
с сомнением смотрит в глубину силура.

Лемуры в ряд по красным башням сели,
и ничего не сделать вышибалам,
и лихо свищет дьявол с карусели,
и наконец-то правит здешним балом.

Торчат пенсне над темными очками,
сливаются в убийственную фугу,
а время то ли движется рывками,
а то ли вовсе пятится по кругу.

Оно скулит и прячется в книжонки,
дает пространству вечную отмашку,
и просто не желает напряженки,
и просится на отдых в каталажку.

Хайнц (Генрих) Гитлер (1920 – 1942) – племянник Адольфа Гитлера, сын Алоиса Гитлера-младшего. 10 января 1942 года Хайнц Гитлер попал в плен, умер в Бутырке.

На 2009 год челюсти Адольфа Гитлера хранились в архиве ФСБ.

СЕРЕДИНА ВЕКА.

1950

Вспомни великие годы свободы,
царство покуда не севших мужчин.
Вдвое и втрое картофелеводы
провозглашали великий почин.

Вспомни кварталы, недели, декады
длинных газет, сарафанной тоски,
флагов, что цвет изменяли с досады,
или герба, что терял колоски.

Дни обреченно скрываемой злобы,
сниженных цен, коммунальной грызни,
дни, когда с гордостью шли хлопкоробы
в мутном стакане топить трудодни,

дни без финала и даже без старта,
львов цирковых и некормленных псов,
дни, когда было до пятого марта
шесть, или семь, или восемь часов.

Ужаса, что хоть когда-то, да спекся,
ибо не смог устоять на кону,
Чейна великого, славного Стокса,
спасших буквально случайно страну.

...Да, но с любовью не всех провожают,
ибо уверены граждане в том:
зря никого никогда не сажают, –
шибче молчи и накройся хвостом.

Только с проклятым вопросом не сладишь:
что ж мемуаров, дружок, не строчишь?
Шибче молчишь, значит, шибче и сядешь,
ибо ты слишком уж громко молчишь.

Многая дума живет в нелюдимах,
но не прогневай безжалостных прях.
Глупо кричать на скамье подсудимых,
глупо молчать при закрытых дверях.

Тут не спасешь ни себя, ни святыни,
ибо не сможешь услышать в ответ
гаснущий крик вопиющих в пустыне,
где ни людишек, ни воздуха нет.

Так что не надо валяться в падучей,
жеребий, выходит, заранее лёг,
вот она, капсула ртути гремучей:
шнур догорит, и ударит боёк.

МИСТИКА ЛУБЯНСКАЯ

Угрюмо глядя в сторону Кремля,
с трудом тупою мыслью шевеля,
минувшие года припоминая,
копя тоску, бессилие и гнев,
сто двадцать лет стоит, залубенев,
известная избушка лубяная.

Здесь были хлад, и глад, и черный мор,
и медный бунт, и салтычихин двор,
о мостовую звякала подкова,
и жил французский мастер-постижёр,
и оглашалась чавканьем обжор
извозчичья харчевня Гусенкова.

Усадьбу продал гравер-холостяк,
и сквозь ее разрушенный костяк
мерещатся туманные картины,
где копошатся воробьи в овсе,
где слезы льет маэстро Фуркасе
о парике, слетевшем с гильотины.

...Коняги грустно шли на водопой,
и ваньки матерились всей толпой
под звон нетерпеливого трамвая,
здесь жизнь летела вдаль на всех парах,
и по стране распространяла страх
огромная Россия страховая.

Здесь чуть не всю былую жизнь смели,
здесь множились расстрельные ноли:
дрожите, фрицы, трепещите, янки,
и здесь в тридцать четвертом снесена
была Китайгородская стена,
во славу торжествующей Лубянки.

Фаянс побит, и заодно фарфор,
стоит циклопом красный светофор,
и длится ночь, от ужаса седая,
и, всех иных родителей лютей,
папаша Кронос жрет родных детей,
чужою детворою заеда.

...Здесь в Детский мир спешил Охотный ряд,
и много лет во славу октябрят
служились фантастические требы,
но очень точно помнил белый свет,
что ни детей, ни мира в мире нет,
а есть лишь Комитет Гламурной Гебы.

Сырой горчицей выкрашенный дом
внимательными стражами блюдом,
и не пустует местная кутузка,
да ладно бы, что вечно жизнь горчит:
бутылку удалили, но торчит
на клумбе круглой горькая закуска.

Здесь тишина во внутренней тюрьме,
и век двадцатый в inferнальной тьме
кривляется над миской с жидкой кашей,
и комиссарчик с бородой козла,
как символ побеждающего зла,
глядит во мрак над каждою парашей.

Здесь жизнь обсидианово черна,
здесь в узел завязались времена,
здесь никуда не деться от дилеммы:
до Красной – меньше восьмисот шагов,
но много больше девяти кругов
потусторонней солнечной системы.

Начала нет, и не грядет финал,
и трибунал идет под трибунал,
и снова повторяется орбита,
и смотрят следаки и фраера,
как их глотает черная дыра,
что ими же самими и пробита.

МАРЬИНА РОЩА

В той Роще Марьиной, где люди так просты,
и где любая вещь – товар на бестоварье,
мир коммуналок был оплотом нищеты,
что вряд ли думала об этой самой Марье.

Но были времена, когда молодой Услад,
здесь дурью маялся, рыдая и страдая,
той Марье посвятил полтысячи баллад
близ исполинских стен ужасного Рогдая.

Да, Марью погубил могучий остолоп,
кто были перед ним Чурило и Мудрило?
Но волк его пожрал, а следом он утоп,
сентиментальность тут зело передурила.

Не то Илья ходил на Марью с топором,
не то она сама крошила хулиганов,
но точно говорят, что здесь царем Петром
прощенник пойман был, известный князь Лобанов.

Приноровлялся здесь грабеж ко грабежу,
и проползала жизнь отменно неуклюже,
но, глядячи в века, я в целом так сужу,
что было гадостно, но быть могло и хуже.

То вовсе ничего, а то как снежный ком,
то хоронили здесь, а то лупили в бубен,
особо не таясь, в притоне воровском
французские духи мастырил некий Шубин.

Кинотеатр «Амфир» и церковь за мостом,
кончался день любой попойкой регулярной,
и на продажу здесь году в сорок шестом
лепили пироги с начинкою кошмарной.

Фокстрот на косточках, безудержный гоп-стоп,
торговые ряды, снесенные в итоге,
аптека и фонарь, и сотни три хрущоб,
пивнушка в двух шагах от старой синагоги.

Сюда стекался люд со всех концов страны,
и «кошка черная», и доктора в галошах,
Малевич, Мандельштам, и две моих жены,
и множество других людей весьма хороших.

Не то что хоровод – скорей дивертисмент,
зятя и шурины, и девери, и тещи,
творцы невольные пленительных легенд
той рощи Марьиной, в которой люди проще.

АНИСЬИНА ЛАВРУХА¹

Как сердце молодо под ветхою одежей!
Сколь обольстительно сие противоречье!
Со стороны Кремля взгляни на Юг, прохожий,
там, за Москвой-рекой, лежит Замоскворечье.

Эдем купечества и для воров приманка,
край миллионщиков, неспешное довольство;
два мира сплавила Большая Якиманка –
усадьбу Мальцевых и франкское посольство.

В старинных Кадашах с великою любовью,
кирпичному даря вниманье колориту,
владыка приравнял к торговому сословью
литературную советскую элиту.

О дом семнадцатый напротив Третьяковки!
Советский аромат, отнюдь не хризантемий:
и стирки тяжкий дух, и запахи готовки;
дом славных стукачей и нобелевских премий.

Был чист парадный вход, а черного не нюхай, –
дом все же не рокфор, а где вопросы к сыру?
Сей дом любой жилец именовал Лаврухой,
платя за телефон, за свет и за квартиру.

Здесь жил Осаф Каган, известный как Латунский,
звездой озарен «Гудка» и «Центрифуги»:
кто ехал на коне, кто ползал по-пластунски,
но каждый тут имел особые заслуги.

Кто душу продавал, кто призывал ифрита,
а кто-то власть считал своей коровой дойной,
одна лишь на метле нагая Маргарита
летала ночью здесь, взяв молоток отбойный.

¹ Анисья Матвеевна Лаврушина, купеческая вдова (конец XVIII века), чье имя носит переулок.

Но бить по клавишам – несложная работа,
куда сложнее, когда идет огонь кинжальный,
рождалось и рвалось немислимое что-то:
рояльная скрижаль, не то рояль скрижальный.

Тут что ни мемуар, то сразу морда крысыя.
Неужто это все? При этом, тем не мене,
будь с благодарностью помянута Анисья,
чье имя, видимо, не подлежит замене.

От славы тех времен звенит лишь отголосок,
весь миновавший век на задний план оттиснут.
Здесь повод есть для ста мемориальных досок,
но, видимо, они на стенах тут не виснут.

Приполз грядущий век, безжалостный лазутчик.
Обрушилась на все великая усталость.
Нет ни писателей, ни внуков их, ни внучек,
и смысла вечность то, что ей не причиталось.

МИСТИКА МУСОРНАЯ. ФРИГАНСКИЙ НОКТЮРН. АРЧИМБОЛЬДЕСК

...я увидел, как в зеркале, мир и себя,
и другое, другое, другое.

Владимир Набоков. Слава

Скоро будет двенадцать, над свалкою мрак.
Зажигаем фонарики смело.
Между двух партбилетов лежит доширак
и авоська с огромным помело.

Там лежат кокколобы, но ты не рискуй, –
лучше трогать такое не надо.
Хорошо бы немного найти маракуй,
и еще поищи авокадо.

...Там рабочие судьбы решает партком,
там великий почин в коллективе,
канталупа с изрядно побитым бочком,
упаковка сациви и киви.

Там борьба за рекордно высокий надой,
за сестерции и за оболы,
там логично соседствует с красной звездой
пятизвездный разрез карамболы.

Там лежит скорлупа страусиных яиц
и слеза замполита скупая,
три куска комсомола, сказавшего «цыц»,
и довольно гнилая папайя.

Там пиры Валтасара для вшивых дворняг,
два десятка цунами с блинами,
дирижабль «Альбатрос» и матрос Железняк
и победа, что будет за нами.

Там навалом лежат трудодни и труды,
небо в самую мелкую клетку,
боевые пятнадцать столов без нужды
и в три года даешь пятилетку.

Короли, и капуста, и новый успех,
и багеты для главных портретов,
наша цель коммунизм, пролетарии всех,
мандарины и крылья советов.

Там сверх плана даем, там бездельник не ест,
чемпион, окруженный почетом,
не рабы и не мы, и семнадцатый съезд,
и еще там, еще там, еще там.

Антраша, пируэт, фуэте, экарте,
в гараже драгоценная волга,
все, чего не распишешь в меню и в мечте,
все, о чем говорили так долго.

Обозначен единожды выбранный путь,
и не надо излишних эмоций:
ты обиженной мордой судьбу не паскудь
и несчастные карты не коцай.

Ни к чему уходить ни в запой, ни в загул,
будем рады и тем, чем богаты,
и помойка пуста, и устал караул:
по домам, господа демократы.

АПОФЕОЗ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Хуже нас никого нет.

Михаил Пришвин. Дневник

Спецхран, спецшкола, спецпаек, спецназ.
Нет никого на свете хуже нас.
Как не сказать спасибо Голивуду?
Империя выращивает гриб
среди меланхолических Кариб,
богоспасаемых по воле вуду.

Все – чередом, все с болью, все с трудом:
сплошной дурдом, Содом и Нородом,
опять из пятниц сделана неделя.
Запахнет мир проказой и чумой,
когда в Москву однофамилец мой¹
на самолете вытащит Фиделя.

Тотализатор – двести к одному,
и никому еще не по уму
постигнуть, что уже закрыта касса,
но президент доверится судьбе,
и приговор подпишет сам себе,
и скоро доберется до Техаса.

То Чан Кай-ши, а то Мао Цзе-дун,
на колдуна взъярившийся колдун,
отказ стрелять и выстрел без приказа,
и тяжело держаться молодцом
стране с нечеловеческим лицом,
упрятанным в нутро противогАЗа.

Кого, кому, за что, когда и где,
не то Пен Дэхуай, не то Джу Дэ,
никто не разглядит через охрану,

¹ А. К. Витковский (1923–1994).

сей индивид живет как неликвид, –
и никого в Европе не дивит
тиран, к тирану едущий в Тирану.

И снова меч ломается о щит,
и вновь железный занавес трещит,
и бесполезны голубые каски,
и не спасает ни один кордон,
и в Швеции клокочет Тихий Дон,
и выстрелы гремят в Новочеркасске.

Недобрый дух над городом висит,
и с Карлова моста глядит гусит,
как пенится отравленная брага,
никто еще не думает пока,
что старые долги за Колчака
несчастливая выплачивает Прага.

...Попробуй нынче замани людей
в великий лабиринт очередей,
где выяснялось через полквартила,
что кончились яйцо и апельсин,
но водка есть, и хлеб и керосин,
и, как ни странно, этого хватало.

И даже вспоминать не тяжело,
тот мир, где в две руки – одно кило,
и все равно – хоть масла, хоть повидла,
тот мир очередюги за вином,
тот мир, где пачка чая со слонем
свидетельством была, что ты – не быдло.

Мы этот мир узнали не из книг.
Пора поставить точку, и дневник
пора закрыть, о том не сожалея,
что кое-как допраздновали мы
спецкарнавал на шконках спецтюрьмы,
не дожидаясь эры Водолея.

АПОФЕОЗ СЕМИДЕСЯТЫХ

Тридцать два миллиона коротких секунд,
тридцать два круговых навигаторских ветра,
на два года за доллар и на три за фунт,
нищета и восторг драгоценного ретро.

Одинаковый цвет у добра и у зла,
одинаковый блеск у булата и злата,
и не надо роптать, что зарплата мала –
с девяти до шести – и в кармане зарплата.

Небольшой гандикап и большой компромисс,
сухари для ромштекса, и дрожжи для кекса,
времена лотерей и овировских виз,
и эпоха почти безопасного секса.

То футбол, то хоккей на траве и на льду,
карантинные меры на случай холеры,
Корвалан, Пиночет, Хомейни, Помпиду,
«Аполлон», Аресибо и красные кхмеры.

И все старше команда хмырей-упырей,
и все больше мурашек, бегущих по коже,
и все более дорог арабу еврей,
и еврею араб с каждым днем все дороже.

В заповедном лесу заблудился трамвай.
В Катманду и в Кабуле трещит мостовая.
Президент Уругвая сбежал в Парагвай
и прямую никак не вывозит кривая.

В телевизоре мрак, и в газете кошмар,
юбилейные праздники мертвого дома,
прилетел Муаммар, улетел Муаммар,
и фантома трясет от другого фантома.

И угодно хрычам, чтоб опять Ильичам
доставались два первых партийных билета,
и глушилкам внимает страна по ночам,
и «Березка» сулит рукава от жилета.

И все дальше рассвет, и все ближе погром,
и дочитан псалом, и побита посуда,
и голландский гамбит, и стокгольмский синдром,
и Алиса в стране без единого чуда.

И уже наложила эпоха в штаны,
и по свету шатается призрак незрячий,
и мечтает, что бочка холодной войны
закипит наконец-то войною горячей.

**НИКОЛАЙ ПАВЛЕНКО.
УДАРНИК СТРОЙКИ. 1955**

На войне только дурню нужна похвальба.
Ради некоей, вовсе не призрачной власти,
в горностаевый жир закатала судьба
эти страсти-мордасти строительной части.

Избежав уж совсем откровенных силков,
технологии дела освоив неслабо,
не желая сидеть ради трех колосков,
паренек из Твери превратился в прораба.

На войне пригодятся и шило и гвоздь,
все, что выделяют людям суровые боги,
хоть железобетон, хоть слоновую кость
нужно как-то всобачить в постройку дороги.

И кому возле фронта нужна канитель?
Не рискуя попасть ни в тюрьму, ни в немилость,
процветает и трудится наша артель,
ибо строит мосты, как другим и не снилось.

Тут уж можно отрезать немалый лоскут
и на каждом углу разместить барельефик:
а чего б не работать, коль деньги текут
даже если и тратить их негде и нефиг.

В перспективе общенья с родным МГБ,
если хочешь, проверь правоту постулата,
что на выбор сегодня даются тебе
пуля в лоб – или очень большая зарплата.

Ты в грядущее верной дорогой хромай!
Постепенно сжимается темное царство,
расщепляется атом и близится май,
и цветет государство внутри государства.

В нем спокойная жизнь и открытый кредит,
не совсем грандотель, но зато не клоповник,
и никто в подполковниках тут не сидит,
потому как давно уже цельный полковник.

Ни к чему, у начальства создав интерес,
от палящих лучей укрываться ветвями:
на тебя благосклонно взирает с небес
кишиневское солнце с большими бровями.

Лишь следи, чтобы шли аккуратнo дела,
и не жди, что начальство устроит колядки,
но, коль взятка окажется слишком мала,
на тебя настучат даже вовсе без взятки.

И уж тут прокурор-то и станет бордов,
и начнется немалая буря в стакане,
потому как неполные десять годов
ты державу в грядущее вел на аркане.

Отвратителен сей несмываемый грех,
ты вплотную дошел до судьбы неизбежной.
Но уж то хорошо, что стреляют не всех,
но уж то хорошо, что не жгут на Манежной.

Вот и образ последний из мрака возник,
смерть куражится, голые десны оскалая,
перед ней изгибается слабый тростник,
и летит в бесполезную бездну Паскаля.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ

Долгожданные дни Земляного Быка.
Недоверчивый Койпер открыл Нериду.
Лепешинская пляшет в Кремле гопака.
Будапешт раздавил ядовитую гниду.

Разделили Берлин – ну и дело с концом.
Генерал Абакумов пока что при деле.
На Таймыре уран называют свинцом.
Неизвестно за что пострадал Мурадели.

Говорят, что опять в Коста-Рике война.
Во Вьетнаме война, в Сомали и в Непале.
Дешевают мука и конфеты «Весна»,
но при этом они из продажи пропали.

Нганасаны и чукчи оленей пасут.
Сочиняет Лаврентий расстрельные списки.
Самосуд над оркестром творит самосуд.
Дорожают ковры, дешевают сосиски.

И в руинах живет перекатная голь,
и в палате сыпняк, и брюшной в коридоре,
и не хочет сдаваться великий де Голль,
и обрушился главный собор в Эквадоре.

Не желают цыгане стоять у станков.
Не желают налоги платить молдаване.
И опять на трибуне сплошной Маленков.
И опять на экране сплошной Геловани.

И все так же рахат, и все так же лукум,
и все тот же чечен, и все та же чеченка,
и все так же танцует Тамара Ханум,
и все тот же платочек терзает Шульженко.

Засвистел крысолов в жестяную дуду,
заиграла коза на любимом баяне.
И завьли погибшие души в аду,
и зачали меня в Гудауте по пьяни.

И страна ожидает снижения цен,
и проводит сама же себя на мякине,
и летит погибающий мир в плейстоцен,
роговицу спасая от пепла Бикини.

АПОФЕОЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Сей символ уничтоженья,
Белый череп гробовой.

А. Н. Майков. Магдалина

Над Лихоборкой высящийся бред,
стотысячеметровый лазарет,
вместилище отчаянья и злости,
шизофрении тридцать третий вал:
кого бы от чего уврачевал
биохазард, стоящий на погосте?

Вздымающийся мусорной горой,
торжественный советский недострой,
срамной стеклобетонный параноик,
в котором, зазывая храбрецов,
стоят тринадцать сотен мертвецов
и стерегут тринадцать сотен коек.

Надеется созвездие Дельфин,
что в этом котелке бурлит морфин,
и разъяренно Волк небесный воет,
от ломки стервенея и дрожа,
уверенный, что там, внизу, ганджа,
или другой какой каннабиноид.

Жираф, Стрелец, Возничий и Тукан
уж если не на шприц, то на стакан
хотят потратить голубые грóши,
надеются на кайф и на экстаз,
но здесь метан, но здесь горчичный газ, –
не лучшая находка для наркоши.

...Кипела стройка в тот далекий час,
когда страна готовила для нас
наручники, решетки и удавки,

рубли перемножались на ноли,
надежды и претензии росли,
и становились голыми прилавки.

Слабела власть, и мучилась в парше,
и расплзались плесенью в душе
бессмысленные горечь и обида,
и часто ленинградец и москвич,
идя сдавать анализы на ВИЧ,
держал в кармане дозу цианида.

Ужаснее, чем огненный дракон
обрушился полусухой закон,
похоронил мечту о бутерброде,
и благодатью, посланной с небес,
бокал с одеколоном «Русский лес»
вполне серьезно числился в народе.

О, торжество индийского кино,
о, славные пшено и домино,
счастливая советская рутина,
когда под новый год в любой семье
бурлила жизнь в салате «Оливье»
и в разведенном водкой «Буратино».

Никто не знал: кого куда пошлют,
в Сибирь или на станцию «Салют»,
и осторожно думать начинаю:
пожалуй, вправду виноват застой,
что в Эрмитаже серной кислотой
балтийский патриот облил «Данаю».

Не позабыть той сказочной поры,
когда гурьбой пошли в тартарары
и семилетний план, и кукуруза,

когда любой бывал и глух, и нем,
внимая, как хоралу, Вoney M.
и Челентано пополам с Карузо.

Опять дурит империя ребят,
и миллионы стариков скорбят
о том, что Феликс убран с пьедестала,
и горько плачет русская душа
о порции пюре и гуляша,
которых нынче нюхать бы не стала.

И в дамках царь, и в дворниках нацмен,
и никаких на свете перемен,
томленье духа, увяданье плоти,
и все никак больницу не снесут,
и похоронит только Страшный суд
утопию, утопшую в болоте.

МОСКВА ЦЫГАНСКАЯ

Колесо говорит, что оно колесо.
Если сломано, – брось, потому как не жалко.
По-русийски – зачем, по-цыгански – палсо:
на подобный вопрос не ответит гадалка.

И куда они шли, и откуда пришли?
Улетают века, как по ветру полова.
Притащились они из валашской земли
крепостными хористами графа Орлова.

Но едва ль не тоскует душа на цепи,
да и сердце покою нисколько не радо.
Что привычней цыгану: скитаться в степи
или петь в «Мавритании» и в «Эльдорадо»?

Только, гордость порою в рукав записав,
ты посмотришь в отчаянье в омут разверстый,
и, с тоскою подумавши «мерав те хав»¹,
невзначай для гадже запоешь «шел мэ версты».

...Не страшует Россия от вечных невзгод,
окажись ты хоть знатной, хоть подлой породы.
Наплевать было им на семнадцатый год,
но ничуть не плевать на тридцатые годы.

Тех, которых в Москву притащил Соколов,
поприжала держава в правах и привычках:
мужикам разрешили луженья котлов,
запретили гадалкам гадать в электричках.

В Уголке у цыган не слышать скрипачей;
пороастает бывшее соленою коркой.
Позабыли о радости черных очей
две Грузинки с Медынкою и Живодеркой.

¹ Хочу есть (цыг).

Если отдано всё, что получишь взамен?
То, что дьяволу отдано, – нужно ли Богу?
И цыганам оставили только «Ромен»,
как евреям – всего лишь одну синагогу.

И кибитка, и сердце сгорели дотла,
две гитары печально подводят итоги,
«Шел мэ версты» допеты, тропа довела
до десятой версты Ярославской дороги.

Плюнь державе в глаза – ей что Божья роса,
улетает она, не следя за орбитой,
и не знает, что табор ушел в небеса,
и не слышно аккорда гитары разбитой.

МОСКВА ВИНТАЖНАЯ. БЛОШИНЫЙ РЫНОК

Кочующее царство барахла,
приют китайца, турка и хохла,
кому капуста, а кому морковка.
Здесь никого не выгонят взащей,
коты ни крыс не ловят, ни мышей,
и ржавчиной покрылась мышеловка.

Не стоит здесь подковывать блоху,
отнюдь не надо объяснять лоху,
что кармазин дороже драдедама,
и даже первый парень на селе
не должен понимать, что на столе
не туз червей, а пиковая дама.

Второго и десятого числа
весь день торчит девица без весла
и ждет не то рублей, не то дублонов,
копаются десятки москалей
среди ее убогих штабелей
и верят – тут Малевич и Филонов.

За нею ждут судьбы в одном ряду
тезаурусы хинди и урду,
велосипеда гоночного остов,
неведомых записок том шестой,
аквариум без рыбки золотой,
без макроподов и вуалехвостов

Толкучий рынок, вечный вернисаж,
и не поймешь, где ретро, где винтаж,
где лучше: в кресле или на диване;
давай не привередничай, мон шер,
купи себе декантер и торшер –
и вышей за здоровье дяди Вани.

Воспоминанья старых Казанов,
коробка орденов и семь слонов,
Тиль Уленшпигель парой к Дон-Кихоту,
стрелялка кольта – грозный дар небес,
и монтекристо, и смуглянка бесс, –
то, с чем никто не ходит на охоту.

История творит шемякин суд:
раскупят все, что только принесут,
все спицы от пропавшей колесницы,
весь ум глупца, всю совесть подлеца,
и дырку от сатурнова кольца,
и суп харчо из минус единицы.

Бессмыслица, абсурд, галиматья,
мир забытья и мир небытия,
империя без скипетра и трона,
струящихся веков холодный душ,
развал умов и барахолка душ,
ресепшен перед пристанью Харона.

Подходит ночь, прилавки все бедней,
в сокровищнице духов и теней
не отыскалась золотая жила,
и круглый год над грустным барахлом
гремит сто восемнадцатый псалом
и отпевает все, что отслужило.

МОСКВА АРМЯНСКАЯ

Мыслящая саламандра – человек – угадывает погоду завтрашнего дня, – лишь бы самому определить свою расцветку.

Осип Мандельштам. Путешествие в Армению

Забрали всё, и ничего взамен, –
«ушкуйники пограбили армен».
Привычная в любом столетье драма.
Всего-то лет шестьсот тому назад
был опечален новостью посад:
сгорел лабаз армянина Аврама.

И, как на это дело ни смотри,
но если бы не Израэл Ори
и не его визит к царю Петруше,
не знаю кто вступился бы за вас,
когда константинопольский кавас
намылился ходить по ваши души.

Царь, только что взобравшийся на трон,
имел врагов чуть не с восьми сторон,
от страхоморд осатанел крысиных,
прикинул он, что вовсе не грозит
России армянин-монофизит,
и разрешил селиться на Грузинах.

Царь рассудил, что гадов и крысят
он изведет годов за пятьдесят,
скатает шлык и мать Кузьмы покажет,
и тут не будут лишними друзья,
особенно когда друзья – князья,
а там – как выйдет, и как фишка ляжет.

В итоге фишка все-таки легла:
наладились какие-то дела,
то с пробуксовкой, то с пол-оборота,

с подачи мудрых дедов и отцов,
и постепенно, и в конце концов,
но где-то как-то получилось что-то.

Совсем не бог тачает сапоги,
но пригодилось «боже помоги»,
кошачья речь, тягучее сопрано,
и остальной рабочий инвентарь,
и к делу приспособил чеботарь
лекала Арташеса и Тиграна.

Пристроился сапожник-чародей
на улицу глядеть и на людей,
не из дворца, скорее из каморы,
зато теперь не будет в барышах
очередной нахальный падишах:
не тянет Тегеран на Мецаморы.

История не кончилась добром.
Про то, как утомителен погром,
рассказывал визирь шестой супруге.
Но будь-ка добр, историк, не бреши
про нимб души казненного паши:
его душа давно в девятом круге.

За влажный блеск суворовских куртин,
за розовый армянский травертин,
да и за то, что уцелела глыба,
за каждую копейку и дублон
Олимпиаде, так сказать, поклон,
сокольничему Трифону спасибо.

Лет девятьсот в пути преодолев,
мчит на багряном фоне белый лев,
бежит с полотен дальше на полотна,

и возит с Арарата виноград
совсем не исторический Баграт,
а тот Баграт, что из Арагацотна.

И все-таки глаза на миг зажмурь, –
и вновь увидишь глину и лазурь:
там в холоде кончается нирвана,
там кошенилью темной опоён
тот снег, что видел разве что Вийон,
тот самый трехаршинный снег Севана.

Теплом последним воздух обогрет,
а звонница глядит на минарет,
спокойно и без всякого укора,
и по реке на юг ползут года,
и лучше чужакам не лезть туда,
где мыслящая дремлет мантикора.

МОСКВА ГРУЗИНСКАЯ

Тут народностей сотня, а, может, и две:
иногда будто на смех, порой будто на спор,
и за тысячу лет накопилось в Москве
офигенное множество разных диаспор.

Путь истории был омерзительно прям,
параллель не желала служить вертикали,
и пришлось поселиться грузинским царям
в той стране, где никто не слышал о хинкали.

То ль на счастье, а то ли, скорей, на беду,
неудобный подарок Москва получила:
водворился царевич в Охотном ряду,
но преставился ранее папы Арчила.

Вряд ли надо те годы добром поминать,
но, хлебнувши однажды османского лиха,
преспокойно могла карталинская знать
созерцать, как струится река Кабаниха.

Пусть в столице звучала грузинская речь,
но всерьез утверждал многомудрый Языков:
заграницею может Москва пренебречь
и не надо стране чужеземных языков.

Только этим не надо путать москаля,
снег хулить прошлогодний и дождик вчерашний,
триста лет благородные башни Кремля
не мешали дивиться на сванские башни.

Ведь Москва постояльцу подставит плечо,
не жалея последних штанов и камзола,
и на праздники станет готовить харчо,
и газету читать под названием «Брдзола».

...Над священным Байкалом свистит баргузин,
в вековую тайгу убегают монахи.
На Москве воцарился чудесный грузин
и заставил Лубянку готовить чанахи.

И пожар бушевал, и ярился потоп,
абсолютный бардак на земле и на небе,
вот и нет оснований для супр и хехроб,
и за ними приходится ехать в Сванеби.

Опустели марани, отставлен стакан,
и кунаки пасут на далеком Кавказе
четырёх лебедей, что станцуют канкан,
сообщая стране о чуме и проказе.

Нет дороги в страну золотого руна,
пусть живет, как живет, и гордится удачей,
и не надо роптать, что допита до дна
бесполезная чаша с горчайшею чачей.

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ. 1960-Е

Тряситесь, Морская и Старый Арбат,
назло окаянным тихоням:
гремит над странюю великий набат –
догоним, блин, и перегоним.

У наглой Америки грудь колесом,
и золотом блещут султаны;
мы запад затошим советским овсом
и морем советской сметаны.

Мы сэндвич английским дадим господам,
Египту – дадим пирамиду;
дорогою верной идет драдедам
на смену проклятому твиду.

К обгону готовится русский герой:
дрожи, кто еще не угроблен!
Мы запад закормим своей могоарой –
и это проделать легко, блин.

Легко обратить на позор англичан
умеет московский политик
и стомиллионный капустный кочан,
и многие тысячи гитик.

Мы вас закатаем в цемент и бетон,
и если уж хочешь, эскьюзми,
мы быстро покажем тебе, Вашингтон,
мамашу бессмертного Кузмы.

А то, что в Союзе видать без очков,
так понял бы кто посторонний,
что восемь голяшек и пять пяточков
у жирных советских хавроний.

Но лаптем по тумбе стучи не стучи,
а за день не вырастет травка,
газетная утка – еще не харчи,
а щебет с трибуны – не хавка.

И Сирин – совсем не всегда Алконост,
и сырость не то же, что морось,
собака, догнавшая собственный хвост,
еще не вполне Уроборос.

И надо ль по кухням шептаться тайком
что нет у державы сарделек,
что деньги идут не на хлеб с молоком,
а только в карманы фиделек.

Короче, кого тут и кто устрошил?
Собакам ли лаять на палки?
И точно ли то, что отныне решил
Рокфеллер играть в догонялки?

...Рассвет не приходит, петух не кричит,
созвездья не внемлют друг другу,
и ветер молчит, и бессмысленно мчит
по кругу, по кругу, по кругу.

ЮРИЙ МИРОЛЮБОВ.
ВЕЛЕСОВА КНИГА. ДОЩЬКИ СУДЬБЫ. 1959

Когда в минувшее глядишь издалека,
о память древняя, сколь грозно ты пророчишь!
Был день: Ялуторовск оставили войска
и отступили в край таинственных урочищ.

Там не мечтал никто играть в крикет и гольф,
лишь капелька тепла бойцу нужна в походе.
С отрядом сквозь тайгу шагал полковник Вольф,
о сыне думая, прославленном Володе.

И посчастливилось в немислимом пути,
у выжженной тропы в заброшенных дубровах
курное, древнее имение найти
князей Марининых, а может быть – Донцовых.

Бой с комиссарами. Холодные ветра.
Кругом – немирные якуты да эвенки.
И вот тяжелым сном забылись юнкера,
зачевавшие в дворянской пятистенке.

«Сколь горькая судьба досталась в жизни нам!
Распутин, Милюков, и что ни шаг, то промах».
Полковник с горечью глядел по сторонам,
блуждая по торцам в разграбленных хоромах.

Фарфором на войне едва ли дорожат.
О смилуйся, Харон, реки подземной возчик!
Полковник осознал, что перед ним лежат
примерно пятьдесят протославянских дощек.

Полковник только раз на них во тьме взглянул
и осознал: долой минутные обиды,
придется отступить в Сайгон или Сеул,
спасая письма арийской Атлантиды.

Окончена война: не спи, не отдыхай,
на комиссарские посулы уповая.
Полковник, пред тобой – далекий путь в Шанхай,
и дальше, к берегам золотого Парагвая.

От смерти Вольф бывал почти на волосок,
он тайну б не продал за тридцать три миллиона,
хотя показывал все пятьдесят досок
российским казакам в тавернах Асунсьона.

Есть мнение, что смерть отрадна на миру.
Завербовался Вольф, надел мундир и хаки,
и через две зимы исчез в горах Перу,
а доски – сгнули в бездонной Титикаке.

Затеряны следы среди чилийских гор.
Но, за язычество священное ответчик,
сумел восстановить по памяти Егор
все тексты липовых утерянных дощечек.

На этнографию восстал девятый вал:
там руна каждая бесспорно говорила,
что тексты тех досок жрецам продиктовал
протославянский бог, известный как Ядрила.

Он был грознее всех известных нам богов,
Он предкам запретил справлять матриархаты;
этруски русские ходили на врагов
и хетты смелые обороняли хаты.

И вои-русичи, боев не сторонясь,
проклятый Салидон крушили не затем ли,
чтоб мог торжествовать в веках великий князь
всея целинныя и залежныя земли.

Был на его щите славянский носорог,
а по бокам к нему драконов припаяли,
а был еще Триглав, а был еще Сварог,
а также Правь и Навь, моченные в Каяле.

Славяне-арии не поклонялись злу
и не желали знать об иудейском фарсе,
зане у них Стонхендж на каждом был углу,
и при любом из них имелись патриарсы.

Зовем в свидетели славянских бонобо,
что надо подлинной считать любую руну,
бо тот не патриот, не россиянин бо,
тот, кто не молится Триглаву и Перуну.

Но тем, кто молится, – для тех во всем фавор,
они собратьями любимы и хвалимы,
а с роднотатцами короткий разговор –
пусть убираются в свои Ерусалимы.

Нальем стаканы мы, разломим огурец
и будем процветать все боле год от года.
Вам подтвердит легко любой славянский жрец:
чем более богов – тем более дохода.

АНАСТАС МИКОЯН. КОТЛета ЗА ШЕсть КОПееК

Не надо ездить на равнины Аргентины!
Мы сами видели ужасные картины,
того, как мафия террором наслаждалась:
нашла механика и отрядила в Даллас.

Не так уж сложно было выследить пижона, –
и на привозе застрелили дядю Джона.
И очень скоро, – это ясно и ребенку, –
в Москву любезную послали похоронку.

А кто ж за стерлядью нырять не хочет в тони?
А кто ж не хочет погулять на Арлингтоне?
Как знатока забоя живности на мясо,
послали в Штаты Микояна Анастаса.

Он там бывал уже. Предположить рискую:
в тридцать шестом узнал про булку городскую,
он путешествовал родной стране на благо
и майонез купил на выставке в Чикаго.

Ему случалось ошибаться очень редко,
ему понравилась дешевая котлетка,
но вот с шампанским пролетел он дюже круто,
не оценил товарищ Сталин марку брюта.

Не оставаться же наркому непощенным?
Не поскользнулся он на молоке сгущенном,
хотя и жаль: страна валютой заплатила,
на кока-колу денег просто не хватило.

Был Певзнер вызван для научного подхода.
В мученьях творческих прошли три долгих года.
И завертелась катавасия по новой
в известной книжице о вкусной и здоровой.

О прочем стоит рассказать уже без понта.
Он добывал харчи где только мог для фронта,
и не торгуясь наливал, сказать по чести,
сто грамм наркомовских, а иногда и двести.

Был Анастас лицом страны, ее кумиром,
он угощал народ немислимым пломбиром,
и выручала нас не столько этикетка,
но то, что шесть копеек стоила котлетка.

Не изменялся главный принцип Микояна:
не лезть в политику уж так особо рьяно,
и не преследовать уж так особо круто
тех, кто решался соблюдать закон кашрута.

Шутом гороховым полвека проработав,
он персонажем был бессчетов анекдотов.
Болтали сплетники о короле бобовом,
который Кеннеди видал в гробу дубовом.

Путь в голодание был властью твердо задан,
она дышала не на суп, скорей на ладан,
и отошла в века, откушав напоследки
той знаменитой микояновской котлетки.

...Пора провизии купить на главном рынке,
пора устроить благодарные поминки,
свечу затеплить, постоять при аналое,
молясь о ней, навеки канувшей в былое.

ПРЕЗИДЕНТ-ИМПЕРАТОР
ЖАН-БЕДЕЛЬ БОКАССА. АРТЕК. 1973
(КРЫМСКАЯ МЕДИТАЦИЯ)

Кому таторы, а кому ляторы.

Борис Пильняк

– Quel est le goût de la chair humaine?

– Goût spécifiquement humain¹.

Иди Амин Дада. Из последнего интервью

Тех бокров, у которых шизоидный бред,
куздра склонна курдючить особенно штеко.
В пионеры вступил президент-людоед
в духе лагерных правил поселка Артека.

Президент, что понятно, большой подхалим,
хоть желает, чтоб мы намотал тюрбаны.
Мы немного вниманья ему уделим,
а потом пусть грохочет в свои барабаны.

...Крымский август. Примерно четыре часа.
Затяжное течение мыслей небыстрых.
Окосевший от сытной еды Бокасса
размышляет о съеденных за год министрах.

В кабинете империи – сущий бардак.
Пусть-ка повар к обеду премьера зарубит.
Хорошо бы на ужин подать Аю-Даг.
Медвежатину в Африке, впрочем, не любят.

Закусивши простым министерским филе
и премьерскую печень под соусом словач,
он решает, что здесь из начальства в Кремле
получиться должно сотни две эскалопов.

¹ – Какой вкус у человеческого мяса?

– Исключительно человеческий.

Или Амин Дада.

Жаль, среди подчиненных полнейший бордель.
Хочет каждый баран показаться овечкой.
Отдыхает Артек. И велит Жан-Бедель:
пусть пожарят премьера с лимоном и гречкой.

Надо свой заповедник устроить в Крыму.
Императору это вполне по карману.
Человек – это нечто такое, к чему
подходить с уважением надо гурману.

Тут гуляет на каждом шагу бастурма –
не сравнить с отощавшим от страха премьером.
Только пусть аккуратно составят корма,
только водки пускай не дают пионерам.

...Он считается другом в советском Кремле.
И Жискар его тоже не числит поганым.
Он не самый плохой человек на земле.
Поглядишь на него, да и станешь веганом.

Мы на северный полюс рванем напрямки.
Мы прощаемся, мсье. До свиданья, короче.
Надвигается вечер. Шкворчат шашлыки
и кострами взвиваются синие ночи.

ПОЛКОВНИК МУАММАР КАДДАФИ. БЕДУИНЫ В КРЕМЛЕ. 1976

Вот что спрошу: справедливо ли, отец великий, то, что в Четьи-Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и «любезно ее лобызаше», и долго шел, неся ее в руках, и «любезно ее лобызаше». Справедливо это или нет, отцы честные?

Федор Достоевский. Братья Карамазовы

Исполнилось ему тридцать четыре,
он с гордостью взирал с любой банкноты,
поэмы сочиняли о батыре,
но больше сочиняли анекдоты.

Он был великим рыцарем удачи,
хотя смотрелся тварью из кошмара.
Кто знает, как, но так или иначе,
в Россию затащили Муаммара.

Не то чтоб Муаммару приказали,
но не минуешь президентской чаши:
полдня торчать в Георгиевском зале,
генсека прелюбезно лобызаше.

Генсека принял он за человека,
за танки был готов платить бензином.
Покуда он окучивал генсека,
жена его пошла по магазинам.

Подумала и приказала кратко,
чтоб сообщил дрожащий переводчик:
мол, этих шуб давайте два десятка,
а также этих камушков лоточек.

А Муаммар завел большие связи,
берег общенародное здоровье,

летая из Москвы домой в Бенгази,
а из Бенгази снова в Подмосковье.

Его манеры не опишет классик!
Пришлось почет оказывать арапу:
а он, мерзавец, прилетит на часик
и требует генсека прямо к трапу.

Но принято завидовать издревле
тем, у кого своих умов палаты,
тем, у кого бензин воды дешевле,
тем, у кого и вовсе нет квартплаты.

Страна соседям сильно досадила.
Надумалось омару и кальмару
позвать к себе на помощь крокодила
и вместе дать по шапке Муаммару.

Страна решила, слыша вой шакала,
что у зверушек – сказочная сила,
недолго от добра добра искала –
и получила все, чего просила.

Страна опять похожа на клоповник,
дымится и почти уже не дышит.
В своем раю печалится полковник,
никто и ничего ему не пишет.

Считается, что Муаммар Каддафи был в СССР три раза: в 1976, 1981 и 1985 годах. Однако он побывал здесь и еще раз. В 1978 году прилетел на своем самолете ночью во Внуково и потребовал к трапу «своего брата Брежнева». Узнав, что генсек сможет принять его только завтра, неожиданно развернулся, вырулил на взлетку и улетел.

КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕРЕУЛОК. ОКОЛО 1975

Памяти Александра Евдокимова («Клыка»)

Творишь добро – ну и твори добро.
У каждого под мышкой – «Монсоро»,
последний писк среды литературной,
и это весь товар – поди не спать:
у каждого под мышкой «Сорок пять» –
шедевр культурный и макулатурный.

Чем не годящ такой ассортимент?
Бери, не то в момент нагрянет мент,
и надо ли бравировать отвагой?
Не стоит лезть в разинутую пасть,
и может в непонятицу попасть
холодник, что с Лолитой, что с Живагой.

Продрогнешь, у кафешки поторча,
в портфеле – три-четыре кирпича,
но если что толкнешь библиоману, –
то хватит на тарелку макарон.
Росли в цене Брокгауз и Эфрон
и были большинству не по карману.

В мозгах у половины – темнота,
мечта – продать десятку за полста,
а завтра – снова, послезавтра снова,
пускай образования нема,
по вечен спрос на старшего Дюма,
и никогда не меньше четвертного.

Когда торгуешь – не гони коней,
товар тем драгоценней, чем темней,
пусть знатоки нередко и сквалыги,
но кто платить не хочет, сразу брысь,
и супер часто может обойтись
куда дороже вожденной книги.

Не станет спорить умный человек,
он знает ледерин и баладек,
каптал и балакрон он знает тоже,
и знает, продавец ты или шваль,
и в переулке встретится едва ль
таинственный Булгаков чуть не в коже.

Забудет ли печальная братва
божественные странные слова:
БП, ЛП, СП, ну и так дале,
и в прошлое, души не веселя,
умчались те бывлые Пикуля,
что нам подохнуть с голоду не дали.

В былое посмотри, Кузнецкий мост,
ты радости и бедности форпост,
о будущем не думает элита.
...Еще и мысли у народа нет,
что превратит проклятый интернет
все эту радость в горы копролита.

Нейдут ни из ума, ни из души
печальные немые торгаши,
мир полиэтилена и шпагата,
не па де патинер, но па де грас,
солонуватый хлеб, которым нас
тогда кормила щедрая Агата.

А что еще припомнить москвичу?
Я все сказал, о прочем промолчу.
История вот-вот опустит полог,
потух огонь, и вытащена сеть,
но остается в воздухе висеть
неповторимый запах книжных полок.

МИСТИКА ОБЩЕГО ДЕЛА. СКОРБЯЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 1978

До Бутырской заставы – едва ли верста,
и к тюрьме – прямая дорожка.
И печальна история тут, и проста,
и пуста, как гнилая картошка.

Не получится выяснить – как и когда
обернулся землю священной
беспольный пустырь, где в былые года
подвизался Василий Блаженный.

За дорогой – глубокий подвал под тюрьмой,
где, в преддверье труда палачева,
неудачей терзаясь, далекой зимой
тосковала душа Пугачева.

Сколько лет ни прошло бы с болотного дня,
но особенной тайны не выдашь
заявив, что никак превратиться в ягня
не сумеет шакал-перекидыш.

Не попал под амнистию чертов смутьян,
не сбежал супостат черепахин.
Между тем возле башни, где гнил Емельян,
поселился десяток монахинь.

Монастырь – благочестия мощный форпост,
потому, безусловно, логично,
что у храма обычно бывает погост,
и его завели, – как обычно.

...Обо многом в истории этой – молчок,
не будите медведя в берлоге.
Никому не заметный почти, старичок
тридцать лет составлял каталоги.

Старичок и не думал роптать на судьбу,
но серьезно испытывал горе,
что со смертью никто не встает на борьбу,
а ведь смерть – лишь подобие хвори.

Если брошена в тело душа, как в тюрьму, –
то довольно страдания множить.
Если грех искуплен, – то и смерть ни к чему,
вот и надо ее уничтожить.

Осознал ли он сердцем иль понял умом
то, что плоть воскресима земная,
только умер старик на десятке восьмом,
больше прочих о будущем зная.

Пусть могила – не очень значительный след,
но воскреснуть уж больно непросто,
если камня над нею надгробного нет,
да и вовсе не стало погоста.

Не хватало корове седла для тепла,
и она таковое надела,
а вот это предвидеть никак не могла
философия общего дела.

Остаются в активе сплошные нули,
а найдется ли что-то другое,
не далось бы понять Сальвадору Дали,
и в бреде не придумалось Гойе.

Рассыпается смысл сочетанья планет,
в вечность едет одна лишь улита.
Потому и с вопросом – воскреснуть иль нет,
подождем до конца неолита.

Скорбященский монастырь воспринимался современниками как новый центр Православной церкви: иногда его даже сравнивали с Троице-Сергиевой лаврой. Но после 1917 г. его история была прервана. В течение XX в. монастырь, по-

следний храм которого был закрыт в 1929 г., постепенно разрушался: сначала не стало церкви Всех скорбящих радость, затем в 1960-е гг. снесены храмы Тихвинской иконы Божией Матери и Трёх Святителей. В 1978-м настала очередь и церкви Архангела Рафаила. Таким образом начисто было разрушено кладбище монастыря, лишь некоторые захоронения были перенесены на другое место (например, прах Плевако) да уцелела часовня инокини Рафаилы. В частности, были утрачены места захоронений философа Николая Федорова, дрессировщика Анатолия Дурова, историка Дмитрия Иловайского.

МИХАИЛ АДАМОВИЧ.
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. 1979

На рижском заводе парнишка пахал,
как было предписано свыше.
Другой бы от этой работы вздыхал,
но вздохи никак не для Миши.

Рабочих призвал в РКК военком,
о родине что-то чирикнул,
и сделался Миша латышским стрелком
и в сторону мрачно хихикнул.

Ревела Россия, как пьяный бугай,
а Миша ловил обормота,
и это был тот генерал Улагай,
с которого списан Чарнота.

Страна обменяла червонцы на хлеб,
в довольстве любой человек,
а Миша не хочет ни булку, ни НЭП,
он нынче великий разведчик.

Он быстро в Париже возвел цитадель,
используя общий упадок,
и стал в цитадели работать бордель,
и был в том борделе порядок.

Да только поди соблюди политес
с проклятой советской элитой, –
сказали ему, что в Париже исчез
писатель один знаменитый.

В Париже везде Михаил побывал,
притоны и рынки просеяв,
и вот он вошел к негритянкам в подвал, –
сидел там нетрезвый Фадеев.

И Миша сказал роковое: «К ноге!»
И вот, без единого стона,
под плач негритянок певец Удэге
был прочь увезен из притона.

Гремит у Парижа немецкий металл,
девицы дрожат по салонам,
и Миша в Советский Союз умотал:
в Европе запахло паленым.

Нужды в Адамовиче более нет,
такие у нас не в почете!
Пришел Судоплатов к нему в кабинет,
а Миши нема на работе.

Устроил Лаврентий большой ататуй,
поступка отнюдь не продумав,
а Мишу поди-ка еще арестуй, –
не стал рисковать Абакумов.

А Миша, поверьте, не тот человек,
что грезит о пытках тюремных,
он нынче в Ташкенте главнейший узбек,
девиц дрессировщик гаремных.

В угольном ушке не поместится кит,
в него не войдет динотерий,
а Миша пройдет через десять Никит
и двадцать Лаврентиев Берий.

Воспеть Адамовича – высшая честь!
Пусть воют от горя шакалы.
Пройти через жизнь и ни разу не сесть, –
подыдем за это бокалы!

МИСТИКА ВЕТОШНОГО РЯДА

На Красной площади всего круглей земля...

Осип Манделштам

Где вещество из антивещества
творила разношерстная братва,
и пепел падал с неба вместо снега,
хлебать толпа ходила киселя
по площади, где плоская земля
прогнулась, как бездонная омега.

Тянулась жизнь от горя до беды,
но Верхние Торговые ряды
еще не знали ни шипов, ни терний,
не знали, что падет небесный кров,
и сгинут у могилы юнкеров
все девяносто семь былых губерний.

Не ведали они наверняка,
что съеден хлеб и кончилась мука,
прогоркло масло и вино прокисло,
да и представить-то могли навряд,
в какой безумный выстроятся ряд
истории магические числа.

Сквозь трехлинейку век маршировал
в ощерившийся вечностью подвал,
еще пустым казавшийся намедни,
но здесь, презрев стущающийся мрак,
еще могла потратить кое-как
империя империап последний.

Она спала, считая, что не спит,
мог предложить советский общепит
салатца, или, скажем, винегретца,
кто покупал тут чай, кто молоко,
кто портсигар, кто галстук ар-деко,
кто просто приходил сюда погреться.

И не хотелось видеть никому,
что государство в собственном доме
отъелось, но отнюдь не присмирело,
сограждане ворочались во сне,
и зорко с первой линии в пенсне
тарасились на них глаза мингрела.

Считали здесь, на прошлое плюя,
двуглавого орла за воробья,
но разрядить не торопились пушку,
здесь, наспех сочинив аппендицит,
партийцы проводили за Коцит
вождя невожденную подружку.

Шибало черным порохом в ноздрю.
Пожалуй, не мерещилось царю,
что станет грязной тряпкою порфира,
что выбьется страна из колеи,
что здесь поселят двадцать две семьи
в квартиры без воды и без сортира.

...Ветошный ряд стоит во всей красе,
блестя девятой спицей в колесе,
но к прежним темам сердце охладело,
давно душа закрыта на учет,
и никого сегодня не влечет
заветный мир двухсотого отдела.

Allons enfants!.. Точнее, шах и мат.
Переплелись в единый аромат
духи «Шанель» и запах меркаптана.
Былое и грядущее в дыму,
и ожидать рассвета ни к чему,
и ни к чему встречаться у фонтана.

ГЛЕБ НОСОВСКИЙ.
ПОЛНАЯ ХРЕНОЛОГИЯ. 1981

Стоял июль, а может – март...
Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт
Переходил границу.

Владимир Высоцкий.

В урановом версальском руднике
мрут сенегальцы, будто в сыпняке,
но император примирен с потерей,
и долгие кончаются труды
по тайной дистилляции воды,
таящей восхитительный дейтерий.

В Пале-Рояле славный Шарль Кулон
спокойно подбирает эталон,
он знает: чем металлы флогистонней,
тем ранее, впервые на земле,
накопит знаменитый Бертоле
для бомбы изумительный плутоний.

...Когда, придя из Африки, брюмер
сверг Монтесуму и других химер,
освободив версальские боскеты,
на всю страну объявлен был аврал:
сказал ученым маленький капрал,
что Франции нужны свои ракеты.

Ученые снискали похвалы,
солдаты заготовили жезлы,
упаковали таковые в ранцы,
а Фултон к Монтенотте на парад
привел четыре установки «Град»,
и мелко задрожали иностранцы.

И маршалы присягу принесли,
для них по кружкам вспенилось сабли,
притом с изрядной порцией зубровки.
Тут император выронил платок:
рванули эскадрильи на восток,
ковровые веда бомбардировки.

Кутузов тут на глаз один ослеп,
решил, что горек бородинский хлеб,
да только это горесть небольшая, –
а император, парень боевой,
солдатам выдал знак бородовой,
носить брады в России разрешая.

Не думал Бонапарт об барахле,
когда сидел в дымящемся Кремле
и поджидал приезда бомбовоза,
но вздрогнул, будто пойманный сазан,
узнав о том, что некий партизан,
спер атомную бомбу из обоза.

А витязи российские в Фили
принять решенье важное пришли,
и приказал Кутузову Суворов,
поскольку главным был по старшинству,
трофей законный отвезти в Москву,
чтоб там его рвануть без разговоров.

Денис Давыдов выполнил приказ.
Захватчики храпели в этот час,
все той же опьяненные зубровкой,
но озарились ужасом поля,
но затряслась российская земля,
но страшный шар взорвался над Покровкой.

И дрогнули штыки и кивера,
шептались унтера и повара
о страшном дополнительном светиле, –

и задали большого драпака
несолоно хлебавшие войска,
что острым шилом патоки хватили.

И все пошло законной чередой:
союз России с Золотой Ордой
империю поставил на колени,
терпенье у Европы истекло,
и боинг, разогнавшись в Фонтенбло,
отправил Бонапарта к тете Лене.

...Как объяснить, что глупый Скалигер,
не знал, что *à la guerre comme à la guerre*
и как поймали Бормана в Уганде,
и знал ли, что Конфуций был дебил,
и Рабинович гидру истребил,
и Ганди доверялся пропаганде?

Какой был замечательный пахан
правитель Аргентины, Чингисхан,
съедавший на пиру по два тапира,
что изобрел Бетховен самовар,
что был агентом Рейха Боливар,
что мы Шапиро знаем как Шекспира?

Историку, поди, неумоготу
читать, как вел к Парижу хан Бату
древлянина, полаба и дулеба,
но нет конца, и, логике назло,
течет рекой широкою бабло
в карманы Анатолия и Глеба.

Без каши кислых щей профессора
на этом деле съели осетра:
в «Дом Периньон» налив корчагу квасу,
и вовсе не желает знать народ,
что из дерьма не сделать бутерброд
и ни к чему завидовать Мидасу.

**ОЛЬГА БИЧ.
СТАРУХА-ОЦЕНЩИЦА. 1983**

Вечность, давай, сочини заголовок!
Эта персона – не просто жульё.
Ей ли червонцев не знать и подковок?
Кто в Ленинграде счастливей нее?

Пуфик в углу, на окошке столетник,
в прошлом единственный спрятан изьян, –
батя-сенатор, надворный советник,
черная кость из безвестных крестьян.

Годы советские скучно понуры,
серы, бедны и бессмысленны, но
в душу хранителя слепков скульптуры
время ссыпало горох и пшено.

Бродят доселе неясные толки,
правда ли очень была тяжела
служба оценщицы на барахолке, –
или довольно непыльной была.

Разве не славно служить в Эрмитаже,
сильные страсти в душе затая,
аукционщицей на распродаже
книг, и картин, да и просто рыжья.

В царских карманах – широкие дырки,
но не для всяких кремлевских цыган.
Ящик для краденной всей ювелирки
сделал умелец по имени Ган.

В этом раскладе никто не в накладе,
и потому-то в уютном доме
о трехсотлети и о блокаде
нынче и помнить уже ни к чему.

Брошечка, брошечка, крошка-матрешка,
сытая старость, полнейшая дичь,
скрытная стерва, злоецащая кошка,
Ольга Ивановна, бабушка Бич.

Мрачно над Смольным полощется тряпка,
все неприятности чует нутром
бабка-процентщица, вечная бабка,
вот и ходи на нее с топором.

Ладно, что все упокоимся в мире,
но несомненно грядет торжество.
Бабке всего девяносто четыре,
до реституций – всего ничего.

Но огорченье ее судомойке,
жаль, дожила до прощального дня:
Чичиков весело скачет на тройке,
бабушку в вечность несет шестерня.

Жизни подобной, понятно, не жалко,
но и задобрить не выйдет судью.
Похоронила тебя коммуналка
и поделила жилплощадь твою.

Нынче никто не заходится в плаче,
лишь у соседей нема терпежу, –
бабушка, словом, реквизиат ин паче,
и ничего сверх того не скажу.

МИСТИКА НАЗВАНИЙ. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТРЮИЗМ

Чуть не девять столетий – кобыле под хвост.
Ничего-то из них не запомнил народец.
Говорят мусульмане, что выстроить мост –
это даже достойней, чем вырыть колодец.

Не опишешь словами родные места.
Сохранились одни имена по старинке.
На Кузнецком мосту – никакого моста,
под Неглинную спрятаны воды Неглинки.

В Петербурге вопроса подобного нет,
разводные мосты – это жизни основа.
А Москва на такой пожалела монет,
ни единого нет у Москвы разводного.

Пусть для гордости повод найти мудрено,
на чужих только зубы презрительно скалим,
нам Петровка с Ордынкой успели давно
надоесть гиляровским колёром локалем.

Здесь Великий, Петровский, Рождественский пост
не спеша проводила череда поколений,
через Устьинский, Глебовский, Свибловский мост,
Госпитальный, Горбатый, Матросский, Олений.

...Здесь доселе присутствует магия слов,
москвичу – что ни имя, то звон колокольный:
Пушкарев, Селивёрстов, Звонарский, Фролов,
Варсонофьевский, Выползов, Орликов, Вспольный.

Не боясь полицейских, бродяг и воров,
до сих пор дожидаются прежних хозяев
Ащеулов, Девяткин, Гранатный, Бобров,
Протопоповский, Лялин, Дурасовский, Даев.

Но доказывать глупо, что деготь – не мед,
и что лазить не надо в церковную кружку.
Кто родился не здесь, – ничего не поймет,
лишь оплатит своим пирогом за ватрушку.

Я стою и в текущую воду плюю,
ну и ладно, что сердце покрыла короста:
не хочу и не буду в родимом краю
выбирать ни моста, ни креста, ни погоста.

АЛЕКСЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ. ФЮРЕР БОДАТЫЙ

Вижу сон: фарисей наловил карасей,
и потопал к своей благоверной,
Ты вставай, Алексей, и хоть что-нибудь сей:
не сиди над убогой каверной.

Скоро будет сезон: прилетит амазон,
прилетят и прибрежник, и хрущик,
так что полный резон сесть на свежий газон
и припомнить, – кто лошадь, кто грузчик.

Соловей на дубу раздувает губу,
добровольно народы пугая.
Не ропщи на судьбу, а купи марабу
иль какого еще попугая.

Пусть не дали клико, не кипит молоко,
и развылись масоны-койоты,
потому так легко ты с надежным жако
прибежишь прямиком в патриоты.

Шествуй верной тропой, посети водопой,
струн не рви и не мучай гитару,
лишних песен не пой, но болтать пред толпой
пригласи говорливого ару.

Есть в России нора у любого бобра,
что мацою не может не хрупать.
У него менора – вот и взяться пора
и серьезно мерзавца пощупать.

Жизнь еще впереди! Ты пока пощади
эти пейсы на мерзостном хайле,
тихо ты посиди, спрячь обиды в груди,
и пока не кричи про зиг-хайли.

...Не оставить следов стоит многих трудов,
да и дом твой – отнюдь не хорома,
вот уж сколько годов не пивал ты медов,
стал ты враг парагвайского рома.

Только ты, крокодил, за собой наследил,
дობодался, умелец, до драки,
всех вокруг возбудил, и друзей посадил,
но остался в манишке и фраке.

...Налетает хандра и висит, как чадра,
и в салюте застыла горилла,
и опять, как вчера, валит дым от костра,
и на небе нетрезвый Ядрила.

Там языческий храм, посвященный пирам,
там огонь, и пивцо, и жаркое,
там старинный ашрам, там лафа поварам:
мы-то знаем, что это такое.

Там сортир-конура, над которым ветра
развевают навес маркизетный,
это ваша дыра, господа фюрера, –
извините за образ клозетный.

АНАСТАСИЯ ЦЕДЕНБАЛ-ФИЛАТОВА.
1988

Многое есть в государстве Рассея,
не огорчайся и не свирепей,
Анастасеюшка, Анастасея,
Настя, Настасья монгольских степей.

Если садишься ты в русские сани,
то нипочем тебе наши снега.
Многое выучил при Чойбалсане
юный талантливый намын-дарга.

При эспонтоне и при протазане
лодки не нужно, не надо весла.
До Улан-Батора ты из Рязани
посуху, как по воде, доплыла.

Дивна, верблюдица, благоуханна,
в чистом порыве народной души
возле вокзала страна Чингисхана
преподнесла тебе блюдо лапши.

Из коммуналки в дворцовые выси
шла ты с огнем в комсомольской груди:
тем, кто воспитан на буйном кумысе,
Мао Цзэдун не годится в вожди.

От корабля до роскошного бала
ты под фанфары дошла напрямиком.
Первую леди, жену Цеденбала,
не пригласишь поработать в горком.

Мало ли в прошлом накоплено хлама?
Просто забудь и туда не смотри.
Выбился несостоявшийся лама
с легкостью в первые секретари.

...Только законченные психопаты
в собственном доме воруют добро,
и на субботники, взявши лопаты,
шло и не спорило политбюро.

Вышколен партией, великолепен,
пусть и любивший нырнуть за кусты,
был тебе предан Сашура Шелепин,
с коим налево не бегала ты.

Годы тянулись сплошным воскресеньем,
лишь иногда, посмотрев на снежок,
утречком ты вспоминала осенним
сказочный город, родной Сапожок.

Не покупается дружба вулкана
пламенной речью и звоном монет.
Горькое горе на донце стакана,
вот и выходит – там истины нет.

Злая судьба возносила, сшибала,
пела хорал, объявляла аврал.
Хавком одним твоего Цеденбала
слопал Великий Народный Хурал.

Русской ли женщине, плечи сутуля,
не воспротивиться этим боям?
Настюшка-Настя, Настёха, Настуля,
мужа не выдала хищным друзьям.

...Бесится ветер в бессмысленной злобе,
не успокоится, – и не мечтай.
Время ползет через пыльную Гоби
к северо-западу, прочь, за Алтай.

Годы летят, размывая масштабы,
больше никто не уверен ни в чем.
Вот и легенда – в раю Амиабы,
вот и пропала с последним лучом.

МОСКВА ОРДЫНСКАЯ

У француза кюре, у туркмена мулла,
у еврея шофар, у шотландца – волынка,
а Россия со всех, что могла, собрала,
и ушла на Орду золотая Ордынка.

Там не то чтобы ад, там не то чтобы рай,
и не то чтоб сокровищ великие груды:
там для хана звучат то кубыз, то курай,
а у хана гарем, а у хана верблюды.

Там не видят врага в москале и хохле,
там немножко всего, что бывает на свете,
но мулла никогда не читает муле,
но мачете никто не таскает в мечети.

Может, там и не звали врага к очагу,
лишь везли, чтоб Москва пребывала в покое,
из России – деньгу, а в Россию – тамгу,
и дешевле войны обходилось такое.

Кабы разум проснулся у русских владык,
и не происки ляха и козни варяга, –
вместо Третьего Рима Второй Ханбалык
получиться бы мог без большого напряжения.

Здесь татарин с немалым бывал барышом,
и бывал толмачом в окружении царском,
строил все что хотел на Татарском Большом,
и молился Аллаху на Малом Татарском.

...Тут бы надо подумать, притом головой,
закоулки души аккуратно облазав:
неужели бы месяц висел над Москвой,
каб не пять ежедневных татарских намазов?

Осознать не сумел знаменитый грузин,
как полезно детей подвергать обрезанию, –
а ведь некогда верил мурза Карамзин,
что не надо собачиться с гордой Казанью.

Знаменита Москва поминанием мам,
позовешь их разок, – и решатся проблемы:
был ты дворник сегодня, а завтра – имам,
а захочешь, так вовсе подашься в улемы.

В завершение, читатель, дадим резюме:
грянет колокол главный над славной царь-пушкой:
царь обязан сидеть, но в зеленой чалме,
да и трон ни к чему, обойдется подушкой.

Обождем, пронесется годов четвертак,
и без лишних усилий решатся задачи,
и решатся они непременно вот так,
потому как никак невозможно иначе.

Если кто-то проснется, – его не буди,
кто удачу поймает, – не будет в накладе,
тот, кто сзади бежит, – не бежит впереди,
где никак не бывает плетущихся сзади.

Кто вовек не грешил, – тот не знает греха,
эта истина всюду подобна алмазу,
хороша она тем, что ничуть не плоха,
осознайте ее, – и готовьтесь к намазу.

МОСКВА НЕТОЛЕРАНТНАЯ

Стрела дрожит и рвется с тетивы.
Короткое: «иду с косой на вы!», –
бежит на чемоданах по наклейкам.
Гремит сплошное «горе москалям!».
Но прежде, чем «алейкум-ас-салям»,
должно же прозвучать «салям-алейкум».

Какой надзорщик и какой эдил
за этою толпой не уследил,
которым был обманут хитрым трюком,
что завалился, как к себе домой,
бакинский комиссар двадцать восьмой
с калашниковым, шашкой и урюком?

...Он огорчен, что нынче на Руси
еще не каждый выучил фарси,
не отличит халяля от харама,
и уж совсем ему не вмоготу
что здесь ни на урду, ни на пушту
не говорят до наглости упрямо.

Здесь плохо то, что ни единый банк
не примет деньги за обычный танк,
да и базуку продадут едва ли,
и счастья своего абориген
не понимает, ибо гексоген
держать не хочет у себя в подвале.

Ужасно то, что здесь не каждый рад
признать великий русский эмират,
и что обычный поп и даже лама
ни Колеса Закона, ни креста
не выбросят, и даже их уста
не выговорят формулу ислама.

И то уж хорошо, что горожан
отлично соблазняет баклажан,
и рядом помидор блестит вдобавок,
и что теплеет русская душа,
когда айва, хурма и черемша
сияют, попадая на прилавок.

Что здесь хозяин распахнул избу,
и сам к себе провел шайтан-арбу,
и круглый год не падают продажи,
что очень ценят здесь люля-кебаб,
что это край вполне доступных баб,
и столько их, что слишком много даже.

Но плохо то, что на любой гектар
приходится по тысяче татар,
которых с места просто так не сдвинешь,
что каждый тут себя начальством мнит,
и нагло говорит, что он суннит,
и там, где старт, выходит, там и финиш.

Да тут еще к тому же и башкир
то мастер, то профессор, то банкир,
нахально жрет харам в любом трактире,
скелеты держит в запертом шкафу
и не желает сваливать в Уфу,
а пляшет и играет на думбыре.

Не помнит места недостойный раб.
Как могут нигериец и араб
сносить недобролюбие режима?
Рассудка нет в урусах и хохлах.
Как терпит эту публику Аллах, –
воистину уму непостижимо.

Встает рассвет, истаивает мгла,
мелькают чайки, галки, сокола,
не отличишь орла от херувима,
допит нарзан, доеден пармезан,
и вот уже разносится азан
без коего Москва непредставима.

В запасе порох, пули и картечь,
занесены калашников и меч,
и покарать готовы святотатца,
да сгинет тот, кто злобу затаил,
да защищает ангел Джебраил
того, кто здесь решил обосноваться.

ЛЕВ ТЕРМЕН.
НОКТЮРН. 1989

Ветер шумит над осенним погостом,
Кунцево сникло, продрогло насквозь.
Не завершилось в году девяностом
то, что в двадцатом году началось.

Стоит ли гневаться на грубиянов,
жизнь оказалась добра к старику:
ведь попросил сам товарищ Ульянов
колокол мощный приделать к замку.

Кто бы заданьем таким не увлекся?
Вслушайся, как задушевно светлы
тихо плывущие от терменвокса
дивные звуки поющей пилы.

Кто бы такого ослушался зова,
вот и тебе приказала нужда
бегать в Нью-Йорк от бича циркового,
чтоб через тюрьмы тянуть провода.

Впрочем, ничем не помочь заключенным.
Сели так сели, а ты-то при чем?
Ты, не считавший Эйнштейна ученым,
все-таки числил его скрипачом.

Схемы охранные с нежностью вспомни,
горькую славу с бедой пополам.
Надо ли было за годы инсомний
только и выслужить русский бедлам?

Лагерных толком не выучив хворей,
выяснил, что невозможно отгрести
от акустических лабораторий,
коих у Воланда не перечесть.

Мастер булгаковский, бедный барашек,
лямку тянул ты, судьбу не виня,
не терменвокс долетал до шарашек,
но беззаботной толпы болтовня.

Дурень, что сам на себя набалакал,
встретить не скоро сумеет родню.
Принципов нет у некормленных дракул,
однообразно у дракул меню.

Высохло горло, и пусто в бутылке,
и коммуналку терпеть не впервой.
Мощь и величие в каждой глушилке,
длится божественный реквием твой.

Истинный гений ли, гроб ли поваплен,
то ли приволие, то ли арест.
Тросточкой вертит Шарло, Чарли Чаплин,
это его приглашающий жест.

Звездная вымерла нынче плеяда,
вот и уходит за нею во мглу
нищий механик шестого разряда,
не приглашаемый властью к столу.

Все холоднее осенние ночи,
Кунцево дремлет, кругом ни души,
и утихает твое сотто воче
в тягостной послесоветской тиши.

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ИЛЬИН. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕРАТОР. 1990

Был велик этот дом, и весьма бестолков,
благородная помесь психушки с пивнушкой,
это был натуральный корабль дураков
и капкан, что старался казаться кормушкой.

Кобелей инструктажем терзали скопцы,
предлагая писать про родные осины,
ибо с неба не льются в тарелки супцы,
и не будет за так никакой лососины.

Было много работников в этой избе,
из конторы глубоких бурящихся скважин,
и писатель-фантаст, пострадавший в ГБ,
был сюда в кабинет прямиком пересажен.

Он, за дело берясь, зазубрил алфавит,
ибо все-таки значился первою скрипкой
для народца, что делал писательский вид,
кто и в кресле сидел, и закусывал рыбкой.

Он почти не глядел ни в досье, ни в счета,
и не верил почти никогда в докладные,
но очки его, два амбразурных щита,
в коридорах сверкали, как луны двойные.

Все понятно стране про суму и тюрьму,
да и мышкам немало известно про кошек.
В сорок третьем не дали погоны ему:
не дают эту вещь в кабинет без окошек.

Видно, жил он, в душе отпечаток храня
круглосуточно светлой каморки, в которой
девять лет просидел без очков и ремня
под землей, позабытый любимой конторой.

На писательской кухне он был главарем,
пассируя, туша, фаршируя, шпигуя.
Нам хотелось, чтоб стал он, к примеру, царем
на планете с волшебным названием Гуйя.

Мы с восторгом ему бы купили билет,
невзирая на нищие наши доходы,
чтоб на пыльных тропинках далеких планет
проводил он счастливые долгие годы.

Знал он цены любых человеческих душ
знал, где нужен карась, где предписана щука,
что такое татбир, что такое кидуш,
и болеет ли теща соседского внука.

Все беднее в избе становился буфет,
все короче по дачам пилили обрезы,
все быстрее летел за лафетом лафет
и все громче скрипели у власти протезы.

Одряхлел исполин, и засох вазелин,
забодать пастуха умудрилась отара,
и собрался писать мемуары Ильин,
наперед не прикинув размер гонорара.

Отплясал, отсидел, отлежал, отвставал,
отработал свое во втором эшелоне,
так что в дело сгодился простой самосвал
и на нем сэкономили даже полоний.

Отрыдался Шопен, оборвался мотив,
и кончается жизнь его полною лажей,
над Хованской трубой небеса закоптив
не прошедшей цензуру писательской сажей.

ГДЕТЫЧАПАЙ. ИГРА В ДЕВЯТКУ. 1991

В жизни даже дня не проработав,
заедавая беса беленой,
жили-были восемь идиотов,
управлявших глупою страной.

Опасаясь за горшки и блюда,
за бабло, лежащее у жен,
думали, что можно не рехнуться,
если лезть под банкой на рожон.

Будто борщ, от злости закипая,
меж собою выбрали хурал,
посмотрели фильму про Чапая,
переплыть рискнувшего Урал.

Сочинили кучу тайных планов,
чтобы кодлу всю на сто веков
разогнать при помощи бакланов
при посредстве множества крючков.

Матадоры гибнут на корриде,
истина на этот счет одна:
драться неудобно в пьяном виде
и совсем негоже с бодуна.

Видно, этим доблестным ковбоям
вовремя не втолковал отец,
чтоб они сжевали перед боем
хоть один соленый огурец.

Слишком поздно или слишком рано,
но решил копать, так уж копай.
И забормотал с телеэкрана
славный богатырь Гдетычапай.

Высохло с водярою ведро,
кончилось бедою хвостовство.
Из восьмерки выпала восьмерка,
и остались семь без одного.

Надо ль было танцевать вприсядку?
Объясни, любезный, черт возьми,
для чего тебе игра в девятку,
если тоже сядешь при восьми?

Не хотят крутиться карусели,
где-то что-то бродит по стране.
Два десятка персонажей сели
отдыхать в матросской тишине.

Граждане, не хлопайте в отпад вы,
правосудье – гибкий институт,
даже мнений Резника и Падвы
судьи в приговоре не учтут.

Счастья не сулит несчастный случай,
неудобно ездить на ежах,
не бывает победивших путчей,
и не побеждают в мятежах.

И опять идет все та же драка,
и валяет вечность дурака,
и висит привычный дух барака
в воздухе родного бардака.

**ВИКТОР ЛУИ.
КОЛОБОК. 1992**

Век двадцатый, секретов своих не таи
и ухмылку не прячь в бакенбарде:
нынче Виктор Луи начищает кии,
в холуях состоя при бильярде.

Он поплавал в ладьях, посидел на скамьях
и не будет томиться впустую,
или в дальних краях прозябать в холуях, –
он рыбешку поймал золотую.

Пользы нет никакой в изучении книг,
польза есть только в лагерном чтиве,
и тебе пригодится турецкий язык,
и не только тебе, в перспективе.

Пусть история выступит в роли судьи,
и над фактами чуть пошаманит.
На козла отпущенья не тянет Луи,
но на что-то другое потянет.

Слопать бублик на завтрак, – в порядке вещей.
Съеден бублик, – но светится дырка.
Ты карьеру начни, дрессируя хрущей:
пусть танцуют под куполом цирка!

Ты в себе укроти неумный задор,
но при этом отнюдь не печалься,
не чекань луидор, а возьми помидор, –
из него будет славная сальса.

Не бывало такого вовек на Руси,
и она удивленьем объята:
жизнь куда как прекрасна, туси не туси,
для того, кто зачислен в луюта.

Коль, а Коль, Сев, а Сев, Паш, а Паш, Вань, а Вань!
И приходится мчаться пострелу
хоть в Париж, хоть в Каир, хоть в Тайбэй на Тайвань
по челночному важному делу.

...Для чего дорожить подыхающим псом?
Тут державе никак не до секса:
весь набор хромосом полетит колесом,
если надо, чтоб род не пресекался.

Слишком много печалей лежит позади,
и накладок немало в работе.
Так что просто сиди, никого не суди,
ибо даже суды – на учете.

Лёнь, а Лёнь, Федь, а Федь, Кость, а Кость, Петь, а Петь,
шестеренки убоги и ржавы,
паровоз не летит, и никак не успеть
на поминки великой державы.

Для нее бесполезен возвышенный слог,
всё повыдохлось, в самом-то деле,
и давно уже век подписал некролог
мастерам мексиканской дуэли.

Только сплетни смакует тупая толпа,
выбирая детали послаще,
и неверная в даль убегает тропа,
обрываясь в осиновой чаще.

ПОТОМОК. 1992

Москвичи выходили на крепостные стены и крайне оскорбляли татар непристойным поведением – они показывали им свои половые органы. Татар это ужасно возмутило.

*Лев Гумилев. Из интервью журналу
«Наш современник», 1991*

«Цветаева была женой Гумилева, потому хорошо и идет: мы на его книжках про пассионарию в прошлом году та-а-акие бабки наварили!»

Разговор книжников у м. Краснопресненская, 1993.

Вы, граждане трактиров и чайхан,
вы, недовразумленные народы,
скажите, кто как не татарский хан
России подарил бурдюк свободы?

Зачем, Россия, ропщешь на судьбу,
зачем ты, волосатых лап не вымыв,
стремишь свою убогую арбу
в Казань, Альметьевск или же Касимов?

Татарам ли назваться татарвой?
Пассионарность не дается даром.
Чумой, холерой, язвой моровой
грозит неуважение к татарам.

За то, что грянул над землей дугар
и справился с тевтонской синагогой, –
кого благодарить, как не татар,
Московии положено убогой?

Какой шаман России дал фирман?
А заодно – проведать бы не худо:
лиман, туман, саман, карман, дурман,
шашлык, башлык, ярлык, балык, – откуда?

Когда бы не Батый и не Орда,
что войско опрокинули кабанье,
Россию погубили бы нужда
и под тевтонским игом прозябанье.

Не избежать бы ей коварных лап.
И представлять ужасно жребий дедов
в стране жидомасонствующих пап,
славянофобов и татароедов.

Не избежать бы клацанья зубов
победоносно шествующих ратей,
что превратили б весь Восток в рабов
синедрионов и европократий.

Однако враг позора не избег,
толпой бежали в жалкие улусы
Махмед-Булак, Мамай-беклярибек
и остальные антидревнерусы.

Каким бы стал великий град Итиль,
какие бы взметнулись ураганы,
когда страну не сдали бы в утиль
те коганы, что проползли в каганы?

Татарник расцветет в десятках стран,
одержит верх татарская харизма,
сойдутся протатарии всех стран,
чтоб испытать оргазм панмонголизма.

Россия спрячет орган половой,
узнает мощь смолы и скипидара,
и в полный рост над павшею Москвой
встатарствует татарская татара.

**ВИКТОР ИВАНОВИЧ ИЛЬИН.
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ. 1992**

Сабли и стрелы, мечи и декокты, –
для покушений отличная снасть.
Виктор Иванович, хренов стрелок ты,
в нужную бровь не сумевший попасть.

Ты, материмый и в бога и в душу,
Кремль посчитал за театр-варьете.
Раз уж стрелял ты, так взял бы «катюшу»,
а не какой-то убогий ТТ.

Ибо безграмотность невыносима:
что ж ты такое оружие берешь?
Нет ничего благородней «максима»,
да и «калашников» тоже хорош.

Ты сочинил презабавную штуку:
ладил дубину, точил ятаган.
Выбери ты боевую базуку, –
мы бы ни в жисть не полезли в Афган.

...Если решился – не надо таланта:
выстрел один – и айда в пантеон;
ты, лейтенант при погонах сержанта,
смуглый, цыганистый хамелеон.

Выпоен влагою, в ступе толченной,
нищий питомец убогих светил,
гордо носивший кликуху «копченый»,
ибо немало по жизни коптил.

Видно, наслушался всякого вздора,
целился плохо, и не потому ль
только всего и угробил шофера
выстрел единый в одиннадцать пуль.

Старого нынче не сыщешь закала,
видно, и ты небольшой грамотей.
...Долго милиция в мыле искала
братьев, сторонников прочих путей.

И написал ты: мол, так-то и так-то,
загодя выстроить надо редут:
право на дело святое теракта
пусть в конституции людям дадут.

Долгие годы прошли в одиночке,
сдохла невеста, но выжил жених;
прежние жабы упрыгали с кочки,
новые жабы пришли вместо них.

Тут не потребуешь высшую меру,
лезть на рожон прокурор не готов,
и заплатили долги офицеру
по бюллетеню за двадцать годов.

Так что поднимем задравные тосты:
прятать себя обожди в нафталин,
все же какую-то пользу принес ты,
своеобразный философ Ильин.

Если с большой содержательной речью
выступит кто-то – на случай такой,
оберегая судьбу человечью,
верный «макаров» держи под рукой.

ЯНКЕЛЬ ЧЕРНЯК.
ВОСЕМНАДЦАТОЕ МГНОВЕНИЕ. 1995

На бессмертие планов, бедняга, не строй,
если жил, из истории выпав.
Перед нами весьма знаменитый герой
и десятки его прототипов.

Вместо фактов – убогое «точка-тире»
и убогий котел чечевицы.
Он родился в прекрасной австрийской дыре.
Называлась она – Черновицы.

Ну никак не потомок румынских бояр,
и не отпрыск какой-нибудь знати.
Был ребенок по матери чистый мадьяр
и еврей натуральный по бате.

Был известен тот город Европе не всей,
только не был отнюдь захолустьем.
Но не надо дразнить патриотов-гусей:
лучше мы эти факты пропустим.

Буковинцы – едва ли родня киевлян,
как снаряды – не родичи ядрам.
Мог ли знать наш герой, что Ефим Копелян
наплетет, оставаясь за кадром?

Быть разведчиком – это не грядку полоть:
это дело пристало мужчине.
Не могла содрогнуться арийская плоть –
по вполне объективной причине.

Он вполне убежденно считал за дворняг
всех поляков и всех австрияков,
на Советы работавший Янкель Черняк,
не Иван, и не Ян, и не Яков.

И напала страна чуваков и чувих
на державу чувырл и чувырлиц.
И притопал туда на своих на двоих
не Черняк, а нордический Штирлиц.

Догорел фейерверк, отсырел динамит,
отомстили дубины дубинам.
Как-то вышло, что этот чернявый семит
оказался арийским блондином.

Крючковатая тень над заветным досье
всю войну провисела воронья,
ибо надобно ведать московской свинье
все, что знает в Берлине хавронья.

И понятно, что ежели вождь бестолков,
очень скоро грядет катастрофа.
Вот и гавкнулась вовсе страна чуваков:
и судьба не закажет спин-оффа.

Как-то к жизни внезапно пропал аппетит,
прилипает артерия к вене.
Ахиллес не бежит, и стрела не летит,
и не будет дальнейших мгновений.

На снегах прошлогодних ломается наст,
истончается звук камертона,
а зачем он звучал, – объяснения не даст
ни одна из апорий Зенона.

Янкель Пинхусович Черняк был резидентом Главного разведуправления (ГРУ) генерального штаба Красной армии. Он один сделал для Победы столько, сколько не смогли сделать все советские шпионы, весь Коминтерн со своими агентами. <...> Черняк настолько был засекречен, что когда с 1969 начал получать мизерную пенсию, не осталось ни одной его фотографии: облик разведчика (шпиона) становится известным только в двух случаях – если он провалился или его предали, либо после смерти. Их даже хоронят под чужими фамилиями. Примем за основу тот облик Штирлица, который был талантливо сыгран Вячеславом Тихоновым. <...> У него не было ни воинского звания, ни наград, ни даже при-

личной пенсии в старости. Поэтому после долгих лет странствий по миру он вынужден был работать переводчиком, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Жил он в однокомнатной квартире далеко от центра Москвы и на работу ездил на метро. <...> Но в 1995 году о Черняке вспомнили и в честь 50-летия Победы присвоили звание Героя России. Это произошло в феврале, когда он лежал в районной больнице Москвы. Ян Черняк так и не узнал о столь высокой чести, ибо умер, не приходя в сознание. <...> На похоронах генерал армии Колесников заявил журналистам, что Янкель Пинхусович Черняк и был тем самым легендарным Максимом Исаевым, то бишь Штирлицем, о котором был создан фильм «Семнадцать мгновений весны»

Владимир Левин

МИСТИКА ТРЁХВОКЗАЛЬНАЯ

Отсюда три железных рукава
в три направленья бросила Москва
и в рельсы переплавилa орала.
Величественна площадь Каланча:
сюда века плеснули первача
и опустили на нее забрало.

Оригинален человеческий ум:
пришли сюда Гаврила и Наум
и отдали царя на растерзанье,
перепугали деток и внучат,
и вот теперь над площадью торчат
две звездочки и птичка из Казани.

Здесь город с содроганьем вспоминал,
как некогда рвануло арсенал,
и как, по европейскому примеру,
для изысканья правд или неправд
в Нью-Йорк мотались Мельников и Крафт
российскому на пользу шмен-де-феру.

На юг, на север, северо-восток
история течет, как кипяток,
и корчит идиотские гримасы,
и точно так же на любой перрон
со всех столичных четырех сторон
стекаются сюда людские массы.

Сюда идет, судьбе наперерез,
старинный паровоз разряда «эс»,
и для прокорма черного народа,
как лошади идут на водопой,
идут посылки с гречневой крупой, –
припасы восемнадцатого года.

Здесь говорят о близости войны,
когда при свете пепельной луны
взирает потрясенная столица,
как из стены выходит старикан
но не затем, чтоб выпросить стакан,
а чтобы трижды здесь перекреститься.

Здесь каждый может преклонить чело:
по мелочи насобирав бабло,
приют находят местные скитальцы:
боекомплект заправивши в нутро,
лежат в обнимку с лестницей метро
московские бомжи-троевокзальцы.

Привычно смотрит здесь великий град,
как от востока прется азиат:
здесь места нет ни римлянам, ни грекам,
зато здесь край непуганых татар,
и виснет православный перегар
над каждым шашлыком и чебуреком.

Совсем не до Садового кольца,
а до запруды возле Ольховца
ведут пути от моря и пустыни,
и сколько ты Европу ни хвали,
однако Рим не посреди земли,
зато Москва уж точно посередине.

Над миром простирая три луча,
здесь Каланча стоит, как каланча,
здесь, в ожиданье века золотого,
всей ойкумене объявив бойкот,
страна перешагнула через год
двухтысячный от Рождества Христова.

ЛИРИКА САВЕЛОВО-ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ

Сестре Елене (Сергеевой)

Кто-то слово сказал и пример показал,
но весьма неутешными были итоги.
И стоит глухоманный Бутырский вокзал
при забытой людьми и удачей дороге.

До Савелова грустный единственный путь,
нет, пожалуй, вокзала в Москве неудобней:
чуть в Останкине примешь мерзавчик на грудь,
чуть закроешь глаза, – и проснешься под Лобней.

Кто приедет сюда, – попадет в переплет:
что ни час, тут кошмар пролетает крылатый.
Коль услышал бы граф хоть один самолет, –
он бы ту Шереметьевку отдал с доплатой.

Всем сестрам по серьгам, если хватит серег,
коль не хватит парчи, так довольно и шелка.
Девятнадцатый век ничего не сберег
из того, что стояло тут прежде посёлка.

Может, просто земля тут стояла пуста,
и на ней ничего не имелось такого,
хоть о том, какова в сем краю лепота,
император услышал от князя Хилкова.

Заболоченный лес, безалаберный парк,
и осколки тригоринских битых бутылок,
и винтаж с барахолки на станции Марк,
и фарфор, провозимый в Москву из Вербилкок.

Ранней осенью лес и багрян, и охрян,
что-то вроде курорта, хотя без комфорта:
драгоценные сотки советских дворян,
благородного звания, но третьего сорта.

Соловьи на рассвете, простор голубой,
огурцы, кабачки, патиссоны, шпинаты, –
словом, дача как дача, не хуже любой,
пусть никак не Абрамцево и не Пенаты.

...Пожелтел и надорван сезонный билет,
на душе не печаль, а сомнение и смута,
это кануло в прошлую тысячу лет,
хоть еще вспоминается что-то кому-то.

Ни к чему эти мысли, тревога и грусть,
керосинки, лукошки, подставки и блюда,
если кануло все, так, наверное, пусть
уж забылось бы, если не может вернуться.

В чем-то сердце расчет, в чем-то сердце полет,
в чем-то лошади ржанье и песнь атаманья:
как подумать, так сразу к любому придет
пониманье, что нет на земле пониманья.

Небосвод звездопадом осенним прошит,
и мерзавчик в кармане всегда безотказен,
и по тракту незримая тройка летит,
удаляясь в почти затонувший Калязин.

ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ УХОДИТ ПРОЧЬ. ТРЕТИЙ ОММАЖ ИВАНУ ГОЛЛЮ

И положи тму закров Свой, окрест Его селе-
ние Его, темна вода во облацех воздушных.

Псалом 17

Отринув нищету судьбы прямолинейной,
не в силах отличить хлыстов от христиан,
от неизвестно чьей земли к земле ничейной
бесцельною тропой уходит Иоанн,

прочь от пустых лугов к лугам, где нет отавы,
от сгинувших миров спеша к антимирам,
от речки без моста к реке без переправы,
от безвершинных гор к исчезнувшим горам.

Где великана нет, там нет и лилипута.
Где направлений нет, там вовсе нет дорог.
Прочь от гостиницы, где нет ему приюта,
туда, где и совсем не пустят на порог.

Зеноновой стрелой, догнавшей черепаху,
от боли головной забывши про мигрень,
надвинув на глаза незримую папаху,
с умом безумствует в бездневие и в день.

Судья неправедный, благой болезнетворец,
улавливатель душ над пропастью во ржи,
кочевник городской, живущий в топях горец
и христианнейший турецкий бостанджи.

О новый Иоанн из новых Безземельных,
пытающийся пасть, дабы умчаться ввысь,
туда, где плоскости миров непараллельных
пересекаются, чтоб снова разойтись.

Царь чернолапотный в обновках магазинных,
корове хлыновской архангельский лосось,
язык без Киева среди садов бузинных,
великий как-нибудь, авось через небось.

Блуждающий ларец офенского товара,
где гроздь московских слез спустил в буру жених,
где дули тульские дают без самовара,
но пьют во здравие челябинских Гугних.

Тот вятский наугад, что хлеб жует, бушуя,
тот остров Голодай, где сто несытых ртов,
тот бес, которого сдала в солдаты Шуя,
тот черт, что лез в Ростов, да смылся от крестов.

Туристу праздному стоять ли на приколе,
и для безродного – так важно ли родство?
Без приглашения явился ниотколе,
и, не простясь, ушел. Зачем и для чего?

Никем не знаемый от века и вовеки,
неужто ты и есть начало и конец?
Ты на бесхлебье ли последний хлеб в сусеке
и на бессолицу последний солонец?

...И вновь длинна тропа, и вьется, как ехидна,
и вновь грядущих бед не разглядеть в былом.
Все то, что позади, – и пусто, и безвидно,
все то, что впереди, – семнадцатый псалом.

КОДА

Галерея почти безымянных портретов:
кто писал их? Пожалуй, проблему замнем.
Даже автору этот предмет фиолетов,
и обычно не хочется думать о нем.

Точно битая в сотне сражений фаланга,
безнадежно о горькой судьбе вопия,
проплывают экраном, как тени ваянга,
характерники, воины, дурни, князья.

Если вдуматься, это как раки в запруде:
если руку не сунешь, – так нет ничего.
Утонувшие в вечности мелкие люди,
те, которых повсюду всегда большинство.

Вознося и клеймя, расстригая и схимя,
не особо поймешь, – кто дурак, кто умен.
От одних остается невнятное имя,
у других и совсем не отыщешь имен.

Разбираться во всем бесполезно и втуне.
Что попало берешь – слишком выбор велик.
Так непросто взглядеться на старой парсуне
в чей-то темный, подернутый патиной лик.

Кто скрывался в скиту, кто скитался по шлюхам,
и у каждого некий великий секрет, –
набредешь на пергамент с отрезанным ухом
и за краешек тянешь героя на свет.

Выступает из сумрака кто-то и некто,
и пытается жить, как комар в янтаре,
изрыгая неясный поток диалекта,
для которого слов не найти словаре.

Поначалу он кажется выползком вражьем,
и едва ли окажется другом потом,
вот и возишься с каждым таким персонажем,
сквозь века продираясь в тумане густом.

Лечь обратно никто не желает в могилу,
им плевать, что не годен из них ни один.
Ни к чему сочинять про Андрея Кобылу.
Он и так безнадежный Ходжа Насреддин.

Чем-то каждого в прошлом судьба запятнала,
и за слабость не гневайся, Боже, на ны:
много книг составлять, – не дождешься финала,
да и лишние буквы для зренья вредны.

Имена про запас остаются в тетради,
на подрамниках чисто, и рамы пусты, –
но не так уж и мало висит в анфиладе,
и не зряшно художник потратил холсты.

И не надо стремиться уйти поскорее,
даже если осмотр невзначай утомил,
потому как последним в своей галерее
остается *Витковский Евгений-Камилл*.

«ВОТ КАКАЯ СТРАННАЯ ЭПОХА...»

– Что вот такое «рифма»?

– Рюмка водки с куском селедки, барин.
Сию-минуту-с.

Реплики в трактире

Послушай, Барток, что ты сочинил?..

Наталья Горбаневская

Вот и у меня самого вопрос: *как* я это сочинил. Притом всего за три года.

Ответов немного.

Во-первых: не знаю.

Во-вторых: лет сорок пять тому назад мне стало скучно на историческом факультете Московского университета и я ушел (представьте сами ту историю, что там была за история, если лучше всех читал академик Рыбаков, экс-кьюзми). Но должно же что-то было остаться от моих занятий! Притом занятий историей России, поскольку, сочиняя стихи по-русски, о чем-то другом все равно ничего интересного не напишешь.

В-третьих: это касается формы. Сорок пять лет я профессионально переводил стихи и ничего своего не писал, десяток стихотворений почти не в счет. В масштабе собственных потребностей полностью владея русской поэтической техникой, я переживал, что более чем половиной возможностей русского языка не имею права пользоваться, – да хоть той же составной рифмой, сколь угодно глубокой, к примеру. Но это уже в сторону. Короче, захотелось сказать то, чего в переводе не скажешь, сколько ни ищи себе нужный оригинал.

В четвертых: это не книга стихов. Это все-таки роман в новеллах, и только новеллы – в стихах.

Ну, и... нумерацию опустим.

Придумался жанр, шедший, конечно, от сонета (тезис – анти-тезис – синтез – пуант). Но содержание не ложилось в 14 строк, а рвать сюжет на циклы в большинстве случаев оказалось невозможно. Как результат – сложилось нечто вроде баллады со стержнем, построенным вокруг человека, события, легенды. Чтобы создать нечто единое, пришлось отказаться от многих украшений вроде дактиличе-

ской рифмы и дольника, пользоваться лишь пятью традиционными размерами в пределах длины строки от 9 до 12 слогов, лишь изредка составляя строфы из строк разной длины. Ритмов строфообразующих где-то всего с десятков. Стих подсох, зато появилась возможность сильно обогатить его аллитерацией и редкой рифмой с опорными согласными, – неотвязная французская традиция Сумарокова и Хераскова отравила меня и никогда не отпустит. Этим, собственно, вопрос формы исчерпался.

Сюжетом книги стала Россия от примерно 1500 года, от постройки Спасской башни, и до миллениума 2000 года, которому я сам был свидетелем и который в самом деле разломил эпоху, подарив интернет и мобильный телефон. Если кто не заметил, то очень многие культовые русские поэты умерли именно в его канун или сразу после; ничего особо значительного пока не видать, но всё значительное разглядит некое уже после-следующее поколение, если найдется, что разглядывать. За пятьсот лет в России набралось всего столько, что сюжетов – чудовищный избыток, и главная проблема – это не повториться, ибо жизнь повторяет себя постоянно.

Конечно, наша история изрядно напоминает знаменитый «манускрипт Войнич»: ясно, что не подделка, примерно видно о чем, – но зачем было для кого-то шифровать медицинский справочник? Напротив, откровенная подделка вроде «Велесовой книги» смешна, да вот только не смеется никто. И такого полно.

Здесь нет ни великих людей, ни тех, кто слишком уж на виду. Нет царей, за сомнительным исключением Лжедмитрия, про которого пришлось писать потому, что без него в большом цикле о Смутном времени ничего было бы нельзя понять. Нет Степанов Разиных, Пугачевых и Болотниковых, про которых и без меня все написали. Напротив, великий полководец князь Юрий Барятинский, российский Красс со своим Спартаком, – есть: именно он прихлопнул Разина, и именно его Россия вот уже который век в упор не видит. Здесь нет писателей, а уж если есть, то Салтыков-Щедрин играет в карты, Толстой пашет на рысаках, Чехова пародийно хоронят, Маяковский о дирижабле тоскует. Цветаева только и помянута по поводу мистического угла на Покровке, – или знаменитой опечатки. Кстати, несчастный провокатор Всеволод Костомаров вообще мог бы ничего не писать, кроме текста к Шуберту, чтобы попасть в эту книгу. Дмитриев-Мамонов и Фортунатов – писатели разве что условно. Из живописцев присутствуют Иван Мясоедов, но больше как фаль-

шивомонетчик, и Кандинский как житель Одессы, которую он терпеть не мог. Композиторов у меня нет по причине дурного знания предмета, о скульптуре ничего, кроме анекдота, я сочинить не могу, а много анекдотов рассказывать скучно. Зато любимой моей темой стали авантюристы, аферисты, разведчики, предатели с обеих сторон, даже и палачи: это профессии сюжетно богатые, здесь повороты в судьбах часто неожиданны, словом, тут есть о чем рассказать.

Городские легенды, в первую очередь легенды Москвы, моего родного города, легенды величественного Белого моря, стали для меня глотком воздуха еще и потому, что, как оказалось, легендарииум этих мест не составлен даже на любительском уровне, хотя обычно сюда приплетают Цветаеву и Окуджаву. Но по-любому: произнесите слова «Исаакий», «Фонтанка», «Тучков», «Эртелев», «Сенная», «Оккервиль», – стихи у вас готовы, с Урюпинском не спутаете. Между тем в словах «Кокуй», «Нищенка», «Пятницкая», «Селезневка», «Пустая», «Мертвый» вы рискуете даже не понять, о чем идет речь. Уж разве начну перечислять реалии из осточертевшей подлинным москвичам цензурной и насквозь советской книги Гиляровского, где не столько уж много искажений, сколько уж совсем мало фактов. Кто не верит, сравните с тем, что писал о Москве Шмелев, да лучше и вообще обращайтесь к источникам, благо они нынче в большинстве своем доступны. Дяде Гиляю просто не разрешили бы в СССР писать хоть что-то доброе о прежней жизни: у него купцы бьют зеркала и попадают к «Яру», но никак не покупают Ван Гога, не строят больниц для рабочих и железные дороги, которым и нынче, полтора века спустя, замены нет. Не забыть извиниться: до 1917 года Гиляровский писал и много, и интересно.

О Москве я написал очень много, и это понятно почему, – я ее знаю. Часть легенд о ней использована подлинная, часть мною же сочинена, – да и надо заметить, что Град в заглавии книги – это по большей части Москва и есть, хотя название, конечно, шире. При попытке писать о Питере, об Одессе, о Белом море я все-таки ограничен в темах, – я не «тамошний». Жизнь носила меня по городам, но серьезное впечатление произвел только один.

Еще одно: моя Россия – это Российская империя со своими святыми и со своими Иудами. Со своими цыганами, немцами, китайцами и креолами. Кстати, и со своими далеко вне России оказавшимися авантюристами, вроде Судзиловского и Фоссе, – даром что один белорус, другой немец. Из людей, собственно к России мало при-

частных, интересны те, у кого в судьбе она все-таки оказалась заметным эпизодом – как у Казановы, Мюнхгаузена, Ломброзо, Роршаха.

Наверное, надо было сопроводить все это куда более развернутым комментарием. Кое-где, когда людей я выловил из истории практически вовсе неизвестных, вроде Алексея Лодьмы или Осипа Черного, так и сделано.

И еще вот что: помимо не очень известных людей и не самых громких событий, мне казалась важной материальная культура России. «Домострой», кулинарные книги Герасима Степанова и Елены Молоховец (так же, как и глупый пасквиль на нее, созданный Арсением Тарковским, о котором мне бы и в голову писать не пришлось, кабы не этот пасквиль), тони мастера икряного промысла Ивана Варвация и гарнитуры мебельщика Генриха Гамбса, русский чай, крымское шампанское, армянский коньяк, караимские папиросы, французско-русская парфюмерия, – люди, стоявшие у истоков возникновения всего этого, – кстати, многое из задуманного так и осталось не воплощено, не хватило сил и времени написать про основателя «гжельского производства» Ивана Гребенщикова, про ситцевого короля Василия Прохорова, про переплетчика Леонида Симонова, – словом, перечислять устану. И, разумеется, драгоценны для меня были истории, которые не назовешь иначе как анекдотом – «Пароход “Самарканд”», «Фоменко», «Генерал Харьков», но таких, жаль, много не наберешь. Непросто было найти и русскую «Оперу нищих», и «Соловьиный сад» 1840-х годов, – правда, эти сюжеты я искал прицельно: был уверен, что они где-то есть.

В книге есть несколько личностей-сюжетов, по именам не названных. К примеру, в стихотворении «Никита Давыдов» – «сколь Гришка ни хорош, а все одно не то». Это Григорий Никитич Вяткин, младший оружейник, преемник Давыдова. О нем бы тоже надо писать отдельно, но не рискнул. В «Елене Молоховец» помянут «пятнадцати столов решительный адепт» – это т.н. «великий ученый», Мануил Исаакович Певзнер, диетолог, то ли спасший миллионы людей своими диетами, то ли столько же угробивший. И так далее.

Отдельный сюжет – архитекторы: люди, которым в России везло как-то больше других, от Антонио Солари до Олтаржевского и Иофана. Люди неравных дарований – но и невероятных судеб, невероятных свершений и планов, лопнувших как мыльный пузырь. О них можно бы писать еще много и долго, да все равно книга и при таких объемах очень и очень тесна. Другой сюжет – медики, те же Бомелий,

Санчес, Цеге фон Мантейфель. Историков тоже несколько есть, и некоторые по имени не названы, хотя, надеюсь, распознаются.

Поэтический инструментарий сложившегося жанра потребовал известных издержек, в частности, неумеренно использования вводных (экспозиционных) слов, иногда – повтора рифм, а также прилагательного «последний» – в ряде случаев единственного, которым можно закончить стихотворение. Если кто знает, чем еще можно завершить человеческую жизнь или легенду, – я с интересом слушаю...

Есть и то соображение, что в целом виде все эти четверть тысячи стихотворений – уже не только стихи. Да, уже говорил: это главы единого романа в новеллах. Наверное, мне уже и не вспомнить всего, что стоит за каждым словом, но заверяю: что-то стоит, для фантазии существуют другие жанры.

Что написал, то написал.

Еще и последний вопрос:

Зачем я это сочинил?

Вот на этот вопрос у меня ответ есть.

Мне хочется, чтобы от меня что-то осталось. Это Россия, историю которой в биографиях малозаметных людей и в плохо известных событиях я попробовал записать. На 500 лет, которые хотелось охватить, можно было написать и тысячу стихотворений и куда больше: двух одинаковых судеб нет.

Так что ступай, книга. Живи для других.

*Евгений Витковский.
2015–2018*

СОДЕРЖАНИЕ

УВЕРТЮРА	5
Иоанн Безземельный входит в Россию. Оммаж Ивану Голлю	7
Петр Фрязин. Спасская башня. Конец света. 1492.....	9
Князь Семен Курбский. Пустозёрск. 1499	11
Хозя Кокос. Дипломат. 1501	13
Иван Телепнев-Овчина-Оболенский. Отец вероятный. 1539.....	16
Князь Андрей Михайлович Шуйский. Честокол. Склочник. 1543... 18	
Протопоп Сильвестр. Домострой. 1560.....	20
Наставление Анфиму. 1565	22
Карстен Роде. Государев пират. 1570	23
Генрих Штаден. Опричник. 1572	25
Михаил Воротынский. Взятие Казани. Спасение Москвы. 1573.....	28
Якоб Ульфелдт. Горе-дипломат. 1578	30
Элизеус Бомелий. Жертва искусства. 1579	32
Джером Горсей. Яхонты русского царя. 1584	34
Джайлс Флетчер. Поэт обиженный, 1588.....	37
Князь Афанасий Нагой. Дед лжедвоюродный. 1591	39
Филарет в Сийском монастыре. 1601	42
Димитрий Кесарь. Трагикомедия. 1606	45
Лжедимитрий XVIII.....	48
Станислав Немоевский. Русская тошнилровка. 1606.....	50
Ганс Борк. Рыцарь-неваляшка. 1610	53
Капитан Жак Маржерет. Гугенот московский. 1611.....	55
Конрад Буссов. Наемник. 1612.....	58
Исаак Масса. Промемория Морицу Оранскому. 1614	60
Федот Котов. Хожение. 1624	63
Яков Хрипунов. Три пуда одекуя. 1630	65
Петр Бекетов. Основание Якутска. 1636.....	68
Деорса-Юрий Лермонт. Смоленск. 1633.....	70
Дружина Огарков. Наглость второе счастье. 1635.....	72
Иван Грамотин. Колесо Фортуны. 1638.....	74
Посник Иванов прозвищем Ленин. Ясачник. 1638.....	77
Адам Олеарий. Русь беспричинная. Синдром Стендаля. 1647	79
Боярин Борис Морозов. Соляной бунт. 1648.....	81

Тимофей Анкудинов. Попрыгун. 1654.....	83
Князь Алексей Трубецкой. Опись казны патриарха Никона. 1658 .	86
Никита Давыдов. Царское зерсало. 1662	88
Григорий Котошихин. Стокгольмский скелет. 1667	90
Гетман Петро Суховий. Ашпат-мурза. 1669	92
Соколиная охота. 1670	94
Парфений Тоболин. Сокольник. 1670	96
Князь Юрий Барятинский. Бог войны. 1671	99
Юрий Крижанич в Тобольске. 1672	101
Царица Наталья. 1672	103
Атаман Иван Сирко. Характерник. 1680.....	105
Патриарх Никон. Которость. Толгский монастырь. 1681	107
Алексей Лодьма. Стрелец. Пустозёрск. 1682.....	109
Петр Хмелев. Албазинский острог. Треклятая челюсть. 1690	111
Стольник Петр Толстой. Мальта. 1698	113
Франц Лефорт. Gavotte macabre. 1699	115
Самый короткий год. Первое сентября. 1699	117
Мазепа в Бендерах. 1709	119
Игнат Некрасов. Заветы. 1710.....	121
Ефим Никонов. Потаенное судно. 1721	123
Иван Посошков. Устройство многокобзовитое. 1724.....	126
Монах Неофит. Поморские ответы. 1725.....	128
Василий Корчмин. Огнемет. 1729.....	130
Барон Василий Поспелов. 1730	132
Ян Лакоста. 1740	134
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. 1744	136
Джакомо Казанова в России. 1766.....	138
Готтлоб Курт Генрих Тотлебен. 1773	140
Денис Фонвизин. Бриллиант Сен-Жермена. 1778	142
Григорий Теплов. Канатоходец. 1779	145
Федор Васильев. Григорий Потемкин. Отцы народов. 1782.....	149
Антонио Санчес. 1782	152
Петер Симон Паллас в Крыму. 1794	154
Андрей Болотов. Памятник претекших времен. 1796	157
Саввишна. Мария Перекусихина. Наперсница. 1796.....	159
Зимний путь.....	161
Прасол на Мезени.....	163
Бральщик на Северном	165
Тюлений канон.....	167

Сёмга.....	169
Афанасьев день.....	171
Иван Старостин. Груманлан. 1826	173
Самсон Суханов. Ростры на Груманте. 1840	175
Яков Санников. Земля Обручева. 1810.....	177
Петр Находкин. Городская голова. 1812.....	179
Антипатр Баранов. Креольская рапсодия. 1822	182
Алексей Мусин-Пушкин. 1817	185
Мистика Донского монастыря. Русский Спун-Ривер. Оммаж Эдгару Ли Мастерсу	187
Иван Варваций. Икра зернистая белужья отмётная. 1817	190
Жанна де ла Мотт. Миледи. 1826.....	193
Генрих Гамбс. Стиль Жакоб. 1831.....	196
Василий Огонь-Догановский. Стос. 1838.....	198
Михаил Магницкий. Жидобор. 1844	200
Степан Михайлов. Соловьиный сад. 1846.....	202
Граф Януарий Толстой. 1846	204
Герасим Степанов. Канцумей. 1851	206
Яков-Шемас Уэйли-Вилье. Английская набережная, 74. 1854.....	208
Мистика Сухаревская и Басманная	211
Странники в ночи	213
Отец Матфей Константиновский. Анаксиос. 1857	215
Две Макарьевны. 1860.....	217
Граф Матвей Дмитриев-Мамонов. Жизнь в огне. 1863	219
Струфиан. 1864.....	222
Василий Стариков. Академический класс. 1863	224
Всеволод Костомаров. Форель. 1865	226
Отто Линдгольм. Русский Моби Дик. 1866	228
Братья Верещагины. Два апофеоза. 1869	231
Петр Кириллов. Около 1870	233
Арсений Белокрысенко. Крестный отец. 1870.....	235
Михаил Евграфович и Елизавета Аполлоновна. Петербург. 1877. 237	
Пароход «Самарканд». 1881	240
Михаил Чайковский. Мехмед Садык-Паша. 1886.....	242
Карл Фоссе. Желтугинская республика. 1886	244
Николай Ашинов. Новая Москва. 1889	247
Сергей Мосин. Трехлинейка. 1891.....	249
Осип Черный. Трехполушковая опера. 1892	251
Барон Гораций Гинцбург. Кошер ле-песах. 1892.....	253

Москва иудейская.....	255
Чезаре Ломброзо в Ясной Поляне. 1898.....	258
Москва бутафорская.....	260
Василий Кандинский в Одессе 1901.....	262
Гаврила Солодовников. Храпайдол. 1901.....	264
Вольдемар Витковский. Игра в фантики. 1901.....	267
Николай Судзиловский. Алоха оэ. 1902.....	269
Вернер Цеге фон Мантейфель. Пуля в сердце. 1903.....	271
Александр Тальма. Сахалин. Жаркое по-достоевски. 1903.....	273
Marche funèbre. Вагон для устриц. 1904.....	276
Евгений Максимов. Трансвааль. Шахэ. 1904.....	279
Николай Тифонтай. Вальс шинуазри. 1910.....	281
Мистика дома Бисмарка. Английская набережная.....	283
Мистика петербургского ваянга. Русский лунфардо.....	285
Лирика двух столиц.....	287
Мистика коммунальной квартиры. Московский лунфардо.....	289
Москва-Вавилон.....	292
Мистика Арбата. Номер 14.....	294
Мистика изразцовая образцовая. Дом Игумнова.....	296
Михаил-Вильфрид Войнич. Манускрипт. 1912.....	299
Александр Трофимов. Купание красного коня. 1912.....	301
Николай Алексеев, брат Константина. Мистика скотобойни. 1914.....	303
Герман Роршах. Десятиклетка. 1914.....	306
Москва немецкая.....	308
Москва полоумная. Май 1915.....	311
Лев Голицын. Новый Свет. 1916.....	313
Максим Ковалевский. Чайка. 1916.....	315
Альфонс Ралле. Запахи Москвы. 1929.....	317
Илья Пигит. Дукат. 1916.....	319
Николай Шустов. Рябиновая на коньяке. 1917.....	321
Bellum omnium contra omnes. 1918.....	323
Иоанн Безземельный ищет горчицу. Второй оммаж Ивану Голлю.....	325
Россия в помое. Опечатка. 1918.....	327
Великий князь Николай Константинович. Ташкент. 1918.....	329
Виктор Ардашев. Екатеринбург. 1918.....	331
Иван Манасевич-Мануйлов. 1918.....	333
Елена Молоховец. Картофельный салат. 1918.....	335

Филиппика.....	337
Пря донская всевеликая.....	339
Генерал Харьков. 1919.....	341
Павел Штернберг. Краткий курс баллистической астрономии. 1917.....	343
Робин Кот. Бессарабская fuga. 1920.....	345
Павел Макаров. Адъютант. 1920.....	347
Гиперболоид инженера Шухова. Шаболовка. 1922.....	349
Александра Коллонтай. стакан воды. 1922.....	351
Ольга фон Штейн. Сказка о старухе без старика. 1924.....	353
Сидней Рейли. Квикстеп. 1925.....	355
Аркадий Кошко. Следствие идет. 1926.....	357
Нобелевская премия. Краткий курс истории ВЧК. 1926.....	359
Леонид Красин. Электронарком. 1926.....	362
Нафталий Френкель. Брызги шампанского. 1926.....	364
Борис Фортунатов. Аскания-Нова. 1928.....	366
Умберто Нобиле. Ни креста, ни шампанского. 1928.....	368
Ле Корбюзье. Resupina non olet. 1929.....	371
Феликс Любчинский. Каменец-Подольский. Соловки. 1931.....	373
Анатолий Луначарский. Академик. 1933.....	375
Москва слободская мещанская.....	377
Иуда Кошман. Краснодарский чай. 1935.....	380
Михаил Левенсон. Торгсин. Три расстрела. 1938.....	382
Карл Густав Эмиль Маннергейм. 1940.....	384
Иосиф Славкин. Обезьяна вождя. 1940.....	386
Бобруйское гоневе. Оммаж Эфраиму Севеле.	388
Каро Алабян. Пентакль краснознаменный. 1940.....	390
Борис Иофан. Воздушный замок. 1941.....	392
Мистика Черторыйская и Пречистенская.....	394
Aqua gravius quam sanguine.....	397
Барбаросса.....	399
Геворк Вартамян. Длинный прыжок. 1943.....	401
Поли Адлер. Мадам навсегда. 1943.....	404
Генрих Люшков. Японский бог. Драповая рапсодия. 1945.....	407
Апофеоз репарации. 1948.....	410
Генерал Борис Смысловский. Вадуц. 1947.....	412
Иван Мясоедов. Фальшивая купюра.	414
Мистика речного трамвая.....	416
Вячеслав Олтаржевский. ВДНХ. 1948.....	419

Отто Константин Готлиб фон Курзелль. Бухенвальд. 1951	421
Николай Морозов. Очень долгая жизнь	423
Фоменко	425
Апофеоз конспирологии. Чайник Рассела	427
Мистика Борисовских прудов	429
Мистика Пресни	431
Поварская мистика. Цитадель двойной лакировки	434
Мистерия ливня	437
Мистика речная подземная	439
Мистика Таганская болванная	441
Мистика Яузы	443
Трамвайная мистика. Бульварное кольцо	446
Мистика Неглинная. Кузнецкий мост	449
Серый извозчик. Кузнецкий мост	451
Мистика Тверской	453
Сороковины. Тропарь Иоанна Воина	455
Мистика олимпийская	457
Grüss aus Moskau. Оммаж Ивану Шмелеву	459
Кровавая луна	461
Черный машинист	463
Москва ассирийская	465
Москва ацтекская	468
Гранитная мистика. Тверская площадь	470
Мистика вагона-ресторана	472
Мистика Василия Гиляровского. Ул. Матросская тишина, 20	474
Мистика фонарная	476
Мистика трюизма	478
Мистика Покровских ворот	481
Мистика Маросейки	483
Мистика гипсовая	486
Два кочегара	488
Золотой запас. Ямское поле	490
Мистика времени и геометрии	492
Середина века. 1950	494
Мистика Лубянская	496
Марьяна Роща	499
Анисьина Лавруха	501
Мистика мусорная. Фриганский ноктюрн. Арчимбольдеск	503
Апофеоз шестидесятых	505

Апофеоз семидесятых	507
Николай Павленко. Ударник стройки. 1955.....	509
День рождения вождя	511
Апофеоз восьмидесятых	513
Москва цыганская	516
Москва винтажная. Bloшиный рынок	518
Москва армянская	520
Москва грузинская	523
Догоним и перегоним. 1960-е.....	525
Юрий Миролюбов. Велесова книга. Дошки судьбы. 1959.....	527
Анастас Микоян. Котлета за шесть копеек.....	530
Президент-император Жан-Бедель Бокасса. Артек. 1973	532
Полковник Муаммар Каддафи. Бедуины в кремле. 1976	534
Камергерский переулоч. Около 1975	536
Мистика общего дела. Скорбященский монастырь. 1978.....	538
Михаил Адамович. Подвиг разведчика. 1979.....	541
Мистика Ветошного ряда	543
Глеб Носовский. Полная хронология. 1981.....	545
Ольга Бич. Старуха-оценщица. 1983	548
Мистика названий. Патриотический трюизм	550
Алексей Добровольский. Фюрер бодатый.....	552
Анастасия Цеденбал-Филатова. 1988	554
Москва Ордынская	556
Москва нетолерантная.....	558
Лев Термен. Ноктюрн. 1989.....	561
Виктор Николаевич Ильин. Генерал-лейтенатор. 1990	563
Гдетычапай. Игра в девятку. 1991	565
Виктор Луи. Колобок. 1992	567
Потомок. 1992	569
Виктор Иванович Ильин. Больничный лист. 1992	571
Янкель Черняк. Восемнадцатое мгновение. 1995	573
Мистика трёхвокзальная	576
Лирика Савелово-Шереметьевская	578
Иоанн Безземельный уходит прочь. Третий оммаж Ивану Голлю	580
Кода.....	582
«Вот такая странная эпоха...».....	584

Евгений Владимирович Витковский

Град безначальный
1500–2000

Эпический цикл

Редактор *О. Кольцова*
Корректор *Н. Федотова*

Подписано в печать 25.09.18. Формат 60x90/16
Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 37.25

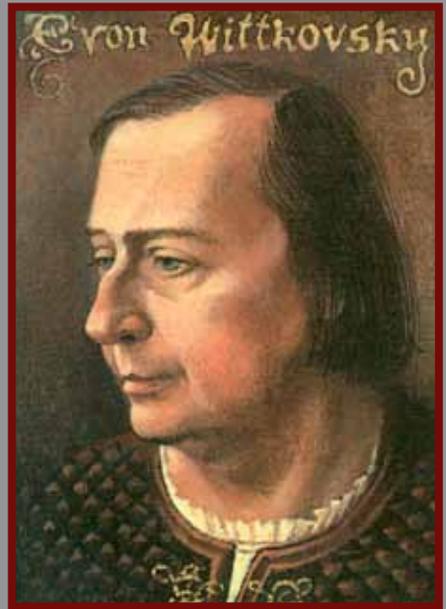
Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>
E-mail: info@vodoleybooks.ru

Отпечатано: АО «Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 (499) 322-38-30

16+



9 785917 163431 9



До недавнего времени Евгений Витковский (р. 1950) был известен читателям почти исключительно как поэт-переводчик и писатель-фантаст. Лишь в 2016 вышел первый сборник его стихотворений «Сад Эрмитаж».

Новая книга – «Град безначальный» – поэтический роман в новеллах, написанных в жанре баллады-биографии. 500 лет российской истории раскрываются на 600 страницах этой небывалой книги в 250 сюжетах – портретах, историях, зарисовках, событиях, запечатленных в редкостных, безупречных стихах. По широте исторического охвата, числу сюжетных и временных измерений («плоскостей» или «парусов», по выражению Хлебникова) книга Е. Витковского в сущности перерастает роман, обретая черты нового эпоса. Для его создания в полной мере оказалась задействована палитра возможностей автора – писателя, поэта, переводчика, искусствоведа и, наконец, просто знатока истории, мифологии, нравов старой Москвы, – настоящего «московского наблюдателя» – обитателя Садового кольца.

